

ISSN 0132-0637

Октябрь

1997

5

Октябрь

5 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1997

МАЙ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Илья ФАЛИКОВ. Трилистник жесткой воды. Ближнеисторический роман	3
Светлана АКСЕНОВА. На том берегу... Стихи	70
Григорий ПЕТРОВ. Два рассказа	72
Константин ВАНШЕНКИН. Сквозь этот дом... Из книги «Волнистое стекло». Стихи	93
Григорий КАНОВИЧ. Парк забытых евреев. Роман. Окончание	96
Послесловие. Беседа с Григорием Кановичем	146
Григорий МАРК. И проступает след... Стихи	148

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

И. Б. ЛЕВИН. Гражданское общество и Россия	149
Г. ПОМЕРАНЦ. Между бедностью и богатством	164

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Иван ОСИПОВ.
Разъяснение на части. Критический гиньоль 168

Алексей ПУРИН.
Утраченные аллюзии 176

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Малахитовая шкатулка 182

Отклик

на книгу С. МИТЧЕМА и Д. МЮЛЛЕРА «Командиры
Третьего рейха» (Генрих Лятиев, Николай Раманичев) 189

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать
по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 31.03.97. Подписано к печати 16.04.97. Формат 70x108^{1/8}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.—отт. 17,50. Учетно—изд. л. 21,61.

Тираж 10 310 экз. Заказ № 1451. Цена 14 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1794 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64,

214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел

поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Илья ФАЛИКОВ

Трилистник жесткой воды

БЛИЖНЕИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

ОТ АВТОРА. Сюжет и действующие лица вымышлены. Прошу не искать аналогий и прототипов.

ЛИСТ ПЕРВЫЙ / ЛИСТ ВТОРОЙ

— Есть у вас дядя?

— Есть.

— Князь?

— Что мы, татары, что ли?

Из полузабытого литературного произведения

I

В зеленом дворике, а лучше сказать — скверике, выгуливал собаку Евгений Николаевич Князев, человек сорока лет. Над Москвой стояло летнее солнце восемьдесят шестого года. Было утро. Пошел август, а вместе с ним отпускное время Князева. Его познабливало, и это было почти беспочвенно: уже полгода Князев был насухо трезв. Правда, вчера — на ходу, в коридорных недрах своего ведомства — он столкнулся со старым товарищем, и тот что-то наступательно-добродушно предлагал ему, но Князев слушал вполуха, и они расстались.

Старого товарища Князева звали Валерий Сергеевич Соболев. Он жил в Одессе. Впрочем, жил он там условно, поскольку в основном пребывал в морях, будучи капитаном пассажирского судна «Федор Достоевский». Корешевали они еще с той давней поры, когда юный Женя в поисках жизненного дела пару лет своей молодой жизни отдал обучению в одесской мореходке, курсантом которой был и Валерка Соболев. Женя совершенно добровольно не доучился, ушел из мореходки сам — он скучал в море. Он осознал свою морскую скуку на первой же практике, обойдя лучшие порты Южной Европы. Ему там было неинтересно. Более того, он испытал нечто вроде презрения к цивилизованной экзотике прославленного материка, ему показалось милее провести молодость на тех камнях, на которых он вырос, — на московских, и он вернулся в Москву.

Жизнь его в ту пору круто повернуло. Отца, малозаметного драматурга, уже давно не было в живых, вдвоствующая мать зарабатывала на жизнь шитьем шляпок, но связи ее в театральных кругах еще не совсем потерялись, и Женя был устроен в театральный вуз по соседству с родительским домом. Этот вуз он закончил. Ни актером, ни режиссером не стал, слыл как бы театральным критиком — и действительно был им, но печатался редко. Больше он был почетным гражданином кулис. Ему было подробно известно все московское закулирье, вечера он проводил в ресторане ВТО, утрами находил себя в постелях инженерушек второго разбора. Бог дал ему высокий рост, синий взор и русые ку-

дри. Кроме того, мягкую натуру, и лицо его было длинным, но мягко очерченным. Крупный рот ему достался от матери, а вот все остальное, кажется, от отца. Нет, на образ отца, запечатленный в разговорах старших, Женя не тянул: тот был большой бонвиван, светский человек, закадычный друг всех знаменитостей.

Однако театральная молодость Князева давно прошла, и теперь он был в какой-то мере начальником Соболева. По большому счету начальничество его было липовым, и все-таки именно он, Князев, являлся чиновником Министерства морского флота и в этом качестве косвенно курировал Черноморское пароходство. По женитьбе ему пришлось искать себя в разных структурах, и десять лет он прослужил в цензурном ведомстве, пока не прокололся на либеральной слепоте, разрешив к печати какую-то неподобающую литературу. Его вынудили уволиться из Главлита, но старые связи покойного тестя, собственные знакомства, покладистый нрав, необходимость кормить семью — все это вдруг обернулось его устройством в Минморфлот, где он достаточно быстро сел за стол не то чтобы очень важный, но приличный и хороших размеров. Море по-прежнему его почти отвращало. Моряков же он любил. Они были, слава Богу, лишены дешевого актерства и служебного двуличия. Что касается министерских интриг, строительства карьеры, искреннего чиновничества и прочего — тут он мог дать фору любому из новых сослуживцев: Мог, но не очень хотел, и это ему помогало.

О чем же они вчера говорили? Князев долго думал над этим вопросом на заре, лежа в кухне на тахте, на которую он добровольно сослал себя уже весьма давно. Часов в восемь прогремел телефон, белешущий на пестром линолеуме пола около ножки тахты, — черный шнур вился по паркету прихожей из гостиной на кухню, как удавка. Князев подскочил, сорвал трубку. Говорил Соболев:

— Ну, что ты решил?

Князев хотел собраться с мыслями — не получилось, он спросил откровенно:

— Старик, будь любезен напомнить мне, что я должен решить.

— Ты должен сказать мне, пойдешь ли ты со мной в море на период отпуска.

Князев озадаченно помолчал.

— Дай погулять с собакой. Звякни через час. Лады?

Глядя на скачущую у круглой цветочной клумбы Ласку, Князев пытался теперь прояснить ситуацию. Ну да, они вчера говорили с Соболевым о его отпуске, точнее, о том, что никаких планов на отпуск у него нет, и — да, конечно же, — Соболев предложил сесть на «Достоевский» и покружить по Средиземноморью.

— Чтоб ты понял наконец, какую глупость сморозил, бросив мореходку, — сказал Соболев.

Идея в тот момент показалась интересной, Князев на какой-то миг даже ощутил себя стоящим на вершине Везувия. Сейчас он находился намного ниже, в лучшем случае у подножия вулкана, под глухой стеной московского дома, где он прожил свои последние пятнадцать лет. Это был уважаемый дом, высокий и узкий, облицованный по фасаду от цоколя доверху светлой керамической плиткой. Впритык к нему высилось той же высоты здание крупного гуманитарного издательства, в подвалах и на мансардах которого обретались художники. Свой будущий дом Евгений знал с детства, потому что вырос рядом, в соседнем переулке. С детства же он знал и свою жену, девочку из хорошей семьи: ее папа возглавлял что-то тяжелопромышленное, его должны были возить на черной «Волге», номер которой начинался с нолей, и каждое утро она подъезжала к подъезду, но нужды в ней не было: министерство Ингиного отца находилось тут же, через дорогу, и он, конечно, шел на своих двоих, а машина следовала за ним. Мама Инги профессорствовала в консерватории, там-то Инга и получила образование, закончив курс по классу фортепиано, но исполнительницей не стала, уйдя в музыковедение.

Их брачный союз был предопределен. Одни и те же пути-дорожки вели их через музыкальную школу, расположенную, кстати, под боком, и через просто школу, а затем после его двухлетнего черноморского отсутствия они не могли разминуться ни в театрах, ни на вернисажах, ни в общих компаниях. Ее родители умерли внезапно, враз и неожиданно, и Женя из-под крыла матери просто-напросто перешел жить в соседний дом, по существу, не меняя места жительства.

Переменил он — фамилию, взяв женину: своя отдавала чудовищной лите-ратурщиной.

Квартира Инги отличалась от материнской значительно. Из двух материнских каморочных комнатук Женя был вброшен судьбой в немереное пространство четырех комнат с высоченными потолками, на которые он поутру по-сматривал с тоской, когда ему было трудно оторвать от подушки затылок, окаменевший со вчерашнего. Два первых года он вообще путался в домах, возвращаясь с каких-нибудь посиделок.

Поначалу им было хорошо, весело и хмельно. В их хоробах толпились друзья. Когда появилась дочь Дашка, Евгению пришлось пойти в цензурное ведомство. Жена пошла по стопам матери, вела курс в консерватории.

Чиновничья жизнь Евгения состояла из того, что днем он стоял на страже государственных тайн и идейной чистоты, а вечера проводил все в том же ресторане ВТО. После вылета из Главлита и с устройством в Минморфлоте пере-менилось и место его вечеров — возник «Якорь». Дочь росла и вот уже почти выросла: ей шел тринадцатый год. Инга до сорока лет говорила о погубленной молодости, а в сорок запела о климаксе. Их три души существовали врозь. Мать Евгения давно умерла, это случилось с ней в ванне, где тело ее лежало неделю, пока домой не заглянул нетрезвый сын. Евгений хотел было вернуться в родной дом, но не удалось. В квартиру въехал некий поэт с женой, поэтессой...

Когда Соболев вновь позвонил, Князев предложил ему встретиться под памятником Юрию Долгорукому. Уходя, он бросил жене в ее дальнюю комнату: — Ухожу в море.

Когда он по лестничной площадке шел к лифту, из-за дверей его кварти-ры слышался грустный лай Ласки.

От гостиницы «Центральная», где остановился Соболев, до Юрия Долго-рукого две минуты хода. Друзья явились к памятнику одновременно. На шлеме князя сидел сизарь. Конь и всадник составляли единое целое, так что поднятое копыто коня в равной мере принадлежало и вросшему в коня человеку.

Отец Князева всю жизнь, и не шибко втихаря, утверждал, что он прямой потомок основателя Москвы. Он рисковал, разумеется, и даже два-три раза был зван на серьезные беседы в соответствующие кабинеты, где энергично от-махивался от пущенных про него слухов, однако в своем кругу по-прежнему живо откликался на обращение «князь».

Евгений вяло унаследовал кличку, ничего не утверждая и ни от чего не от-казываясь. Принятием Ингиной фамилии он попросту подтвердил и оправдал кличку. Памятник он буднично называл Дедом.

По Столешникову переулку они спустились в «Яму» — пивной подвал на углу Столешникова и Пушкинской, официально именуемый «Ладья». Густую очередь в подвал, как ледакол, пробил Соболев, кряжистый мужчина сурового вида, ведя за собой Князева, умело мрачноватого.

Пиво было, естественно, разведенным, но все-таки холодным. К пиву в обязательном порядке надо было брать рыбный набор, состоящий по преимуще-ству из кусков скумбрии холодного копчения.

— От рыбки я, пожалуй, откажусь, чтоб не попахивать. Мне еще по делам надо, — проговорил Соболев.

Князев, полузакрыв глаза, вливал в себя желтую жидкость из пол-литро-вой банки — в «Яме» не хватало кружек. Опустив банку и сделав шумный вдох освобождения, Князев спросил:

— Какого числа отходишь? — Он имел в виду начало рейса.

— Через три дня.

Князев лизнул хвост скумбрии, не откусывая, — и ему предстояло хождение по кабинетам: на предмет окончательного оформления отпуска.

— У меня к тебе просьба, Сергеич. Давай не обставлять мое пребывание на судне эффектами. Каютой «люкс» и прочим. Устрой меня как-нибудь попроще. Но все-таки отдельно. Лады?

— Опрощаемся?

— Вроде того.

По «Яме» сновал и стихийно группировался у столиков-стоячек народ, расерженный Указом. Тут он оттягивался, но оттяжка давалась с боем. Надо было обмануть или обаять не только очередь, выстраивающуюся чуть ли не до Долгорукого, но и скульптурного вышибалу в дверях, а тот был милостив выборочно. В «Яме» происходило слияние всех слоев общества, и летняя капитанская форма Соболева тонула среди студенческих стройотрядовских ветровок, светлых сорочек совслужащих и замасленных маек работяг. Князев любил «Яму» чуть не с детства. Здесь освежались лучшие утра его ранней поры. Девушку, лишившую его невинности, он тоже нашел здесь, под этими средневековыми сводами подвала, похожего на пыточный. Он учился в десятом классе и пришел сюда с дружком, а за дубовым столом — тогда еще не было стоячек — сидели две пигалицы: чуть позже выяснилось, что они первокурсницы медучилища, и пили они все вместе пиво с приносимой из магазина водкой, а потом он проснулся со своей дамой где-то на даче, и она попеняла ему, что он зачем-то сорвал все пуговицы со всех ее одежд, и они опять отправились в «Яму», но здесь она ему тотчас изменила — исчезла с другим, а через три дня он обнаружил у себя гонорею.

— Эй, моряк, ты слишком долго плавал? — поинтересовалась у Соболева дородная блондинка из-за соседней стойки.

— Не слишком, мать, не слишком, — сухо ответил моряк.

Князева кольнуло нечто вроде ревности, тихо кольнуло, — когда-то здесь все-таки княжил он.

II

В Переделкине раздался выстрел.

В Москве вздрогнул Сергей Михайлович Ткачев. В его переулке было тихо, солнечно, летне. Да, очень летнее лето стояло в майской Москве. Сергей Михайлович ясно осознал: он вздрогнул, это его крайне встревожило, но случай предоставил ему возможность все объяснить, найти причину неизвестного ему прежде внутреннего события. Дело в том, что в ту же секунду или чуть позже, а может, и часом позже — с временем что-то случилось — в дверь позвонили. По очень длинному, узкому и кривому коридору Сергей Михайлович потопал — он ходил тяжело — открывать. На ходу он высморкался. У него был хронический насморк.

— Кто? — справился он сипловато.

— Я!

Сергей Михайлович, позвеневав дверной цепочкой, открыл дверь. Сосед поразил его непохожестью на самого себя. Одет Николай Дмитриевич Езерский был по-домашнему: застиранная белая рубашка, эстрадная «бабочка» в форме поникшего тюльпана, синие брюки на серых подтяжках, войлочные синие тапочки — так он всегда одевался дома, но лицо его... Длинное его лицо было покрыто собственной посмертной маской. Это длилось мгновение — долгое, но все-таки мгновение, спустя которое Николай Дмитриевич стал собою. Не переступая порога, он спросил:

— Слышал?

За двадцать лет соседства, точнее, за двадцать два года, начиная с мая тридцать четвертого, Сергей Михайлович никогда не бывал в гостях у Николая Дмитриевича, более того, не знал, в какой квартире тот живет. В любом случае

Николай Дмитриевич всегда был под рукой — в виде телефона или собственной персоной, являясь по первому зову, умолчанному или изреченному.

Их связала жизнь намертво задолго до собственноручно созданного соседства. У них были разные версии этой связи, но источник был общим и исторически достоверным. Сергей Михайлович при пятнадцатилетней разнице в возрасте был Николаю Дмитриевичу фактически отцом. В некотором роде Сергей Михайлович сотворил Николая Дмитриевича.

Подробности их жизнетворческой встречи терялись в начале двадцатых годов, легендарных и задымленных. В ту пору Сергей Михайлович, молодой и вдохновенный, горел в упорных поисках самостоятельной художнической стези. Сейчас ему не хотелось вспоминать подлое количество ям и колдобин пролетевшего под ногами пути. Но по-настоящему, хотя и не впервые, он почувствовал себя человеком, когда услышал свой голос, усиленный рупором в огромном пространстве павильона на 3-й фабрике Госкино. Сквозь стеклянную кровлю лился синий небесный свет, а когда он гас, вспыхивали ослепительные прожектора, и пылкий Сергей Ткачев, помощник режиссера, ощущал себя не техническим исполнителем чужой воли, а центром творимого на глазах мира. Он на лету угадывал режиссерский замысел, дополнял его личными подсказками и соображениями, а умение обходиться с избалованным актерским народом приносило свои особые результаты.

А как ему было не знать актеров? Он родился в актерской семье, с первых своих лет выходил на сцену и в одном из спектаклей — в «Норе» Ибсена — играл с самой Комиссаржевской Верой Федоровной, заглянувшей тогда на гастроль в его родной Киев, — знаменитость потрепала по кудрявой головке юного артиста, угадала в нем большое будущее, благословила. Все сложилось трудно. Отец, блистательный артист, умер молодым. От чахотки. Мать в одиночку выращивала ребенка, можно сказать, непосредственно на подмостках. Во время спектаклей мальчик взбирался на верхние колосники, ложился на живот и, сверху глядя на игру уменьшенных людей, знакомых ему с пеленок, испытывал нечто высшее по отношению к ним. Он подавал оттуда, со своего поднебесья, некие сигналы, идущие к нему из еще более высоких сферических пространств, и кукольно маленькие человечки внизу подчинялись ему с радостным беспрекословием.

Нет, не случайно попал он в кино. К тому времени Ткачев уже немало поиграл на театре и написал кучу скетчей, инсценировок, интермедий, стишков для песенок, готовился к пьесе и на счастливое предложение повариться в кинематографическом котле откликнулся охотно. Первая же фильма, в которой он участвовал как помощник режиссера, свела его с Колькой. Это было так. Шла съемка эпизода у здания Английского клуба: проход группы господ от ворот ко входу в клуб. Массовка толклась по обеим сторонам неспешно шествующих, разряженных актеров. В этот момент из толпы вылетел беспризорник — натуральный, вне сценария, в подлинных лохмотьях, с изумительно немой синеглазой рожницей. Ткачев тотчас смекнул: случай им подарил великолепный кадр. Он ликующе взглянул на сурового режиссера в сером шевиотовом костюме и очках в роговой оправе. Тот кивнул:

— Поймай мальчишку.

Колька был схвачен за шиворот и приведен пред очи режиссера.

— Хочешь сниматься? — грозно спросили его.

Колька не понял, о чем с ним говорят. Он предпринял попытку вырваться — и вырвался, и побежал, но уткнулся в общий живот массовки, его опять схватили и стали терпеливо объяснять, чего от него хотят. Надо всего-навсего повторить то, что он уже сделал. Вылететь из толпы и пробежать под носом вон у той красивой дамы в черном манто и ажурных чулках.

— Понял?

Колька посмотрел в глаза Сергея Михайловича, синие, как у него самого, понял и поверил. Так началось его кино.

Жил Колька на Театральной площади, начисто забыв о том, что у него было до того. Помнил ли он о том, что он сын ветеринарного врача уланского

полка? Нет, не помнил. Ни полка, ни отца, ни матери — ничего у него не было, кроме мусорного ящика на площади, где он отсыпался после всяческих приключений. По утрам он вылезал из мусорной своей спальни на свет Божий и отправлялся на промысел. Вокруг кишела купля-продажа. Важные моссельпромовцы в форменных фуражках торговали папиросами, соперничая с папиросниками-частниками, кричащими:

— «Ира» врассыпную! Несравненная «Шутка»!

Бабы в белых шапочках носили всякую вкуснятину на лотках, покрытых стеклом. Торгаши с Болотного рынка предлагали сглатывающей слюну Москве яблоки, апельсины, лимоны и виноград: белый, розовый, черный. Бутерброды с семгой и свежее испеченные булки выглядывали из корзин горластых торговков.

— Тетечка, дай копеечку! Третий день не емши!

— Пошел вон, шаромыжник!

По площади грохотали трамваи, гремели автомобили грузовые и легковые, носились рикши с двухколесными экипажами на резиновом ходу, погромывивали пролетки. Милиционеры в английских шинелях и с кlobом на поясе прохаживались всюду. В чайнухах на Лубянке, до которой было рукой подать, завсегда тянули стакан за стаканом, говорили о качествах лошадей, о последних сухаревских новостях, уплетали ситный с холодцом.

По вечерам в фиолетовых сумерках на Театральной площади показывали кино. Большое белое полотно было натянуто над домом «Рабочей газеты», и по нему пробегали люди, разъезжали автомобили, взлетал аэроплан, падал царский орел с такой высоты, что Колька в страхе голову пригнул.

Колька не был особенно общителен. Шпану, подобную себе, он втайне презирал, но подпольные условия существования невольно сводили его то с одним, то с другим попутчиком по судьбе. Он менял их легко, не запоминая их кличек надолго. Что их помнить? Их много — Колька один. Еще больше его, одинокого волчонка, отталкивали мальчишки-газетчики, оравшие в самое ухо:

— «Вечерняя Москва»! Убийство на Малой Бронной!

— Вечерняя «Красная газета»! Новый закон о квартирной плате!

Он готов был дать по уху такому крикуну, но обстоятельства принуждали его жить осторожно и оглядливо.

С наступлением осенних холодов, когда котлы, в которых варят асфальт, быстро остывали и слабо согревали, Кольку унесло на юг. Он ехал на вагонных осях, в ящиках для инструментов, на крышах вагонов и подножках.

Доехал до Одессы. Вот где был рай.

Из широко распахнутых дверей кафе Фанкони плыла музыка. Туда зашныривали юркие одесситы. Они бегали от столика к столику и на их мраморе записывали фантастические суммы с многими нулями. Отовсюду звучали щедрые голоса.

— Два вагона фосфора! Накладные на два вагона фосфора!

— Партия термометров! Прекрасные термометры!

— Возьмите партию кож!

— Есть вагон сахара-рафинада!

— Накладная?

— Да, накладная.

Что все это значило, Колька знал плохо. Откуда ему было знать, что накладная — фальшивка, сахара нет и в помине, а эта самая накладная будет сейчас же перепродана за двойную цену. Одесса спекулировала. Вся Одесса: чернявые коммерсанты, блестящий гвардеец, бывший директор гимназии, артист императорских театров. Одесса кипела. Вечером полыхали витрины магазинов, изо всех таверн, кафе и ресторанов выхлестывал шквал музыки, уличная толпа сгущалась до непроходимости. Выделялись статные английские матросы, летучие греческие офицеры, блестящие французские лейтенанты.

Колька слышал обрывки разговоров:

— Что? Большевики? Но ведь командующий обороной Одессы генерал д'Ансельм ясно сказал: Одесса обеспечена защитой.

— Да, но ходят слухи!

— Помилуйте. Какие слухи? Просто смешно. На рейд пришел новый транспорт с сенегальскими стрелками.

По Дерибасовской летели легкие автомобили. Они везли иностранных офицеров и расфуфыренных женщин. Их ожидала немецкая деревня Люстдорф. Мирно, весело, пьяно, богато было в ночных ресторанчиках Люстдорфа.

Колька тут был ни при чем. В порту он нашел работенку не из самых чистых, начав честную трудовую жизнь с дальним прицелом,— ему поручили сбивать накипь с паровых котлов. От работы Колька чуть не задохнулся, но он знал, для чего страдает. Ему мерещился Константинополь.

Колька достиг Константинополя. Ночью он спрятался в трюм итальянского парохода «Сан-Пьетро» и через два дня вскарабкался на крутой берег Золотого Рога. Два месяца шлялся русский бродяжка в невыносимом зное, текущем с черно-серых камней страшных по величине мечетей. Он голодал до того, что дрался с бездомными турецкими кобелями из-за несъедобных отбросов на рынке и в порту.

Он не любил вспоминать Константинополь.

Его подобрали русские моряки и контрабандой доставили в Одессу. Оттуда он вернулся на Театральную площадь.

Таков был опыт Кольки, когда он попал в кино. У Сергея Михайловича появился подопечный. Паренек оказался толковым. Для начала он был отмыт и одет. Сергея Михайловича поразило, что сей голодранец знал грамоте.

— Откуда, Колька?

— Не помню.

Он действительно не помнил. Умел читать — и все тут. Ткачев почувствовал начало большой драматургической интриги. Что это значило? Мальчишка с отшибленной памятью, без крыши над головой, без прошлого — этот диковинный мальчишка родился словно бы с азбукой в крови. Что за невиданный дикарь вылез из мусорного ящика на Театральной площади в эпоху энергичного советского строительства, под какофонию нэпа, в свежих цветах нарождающейся социалистической культуры?

Сергей Ткачев водил вундеркинда по помещениям кинохозяйства. Сам Ткачев выглядел весьма экстравагантно, но вполне стильно — в английском духе. Он был в клетчатых бриджах, в крагах и в тесно стянутом в талии френче. На съемках он нахлобучивал на себя еще и колониальный шлем. Ему шло.

— Вот это, Колька, трес — сорт морской травы, из нее для артистов делают усы и бороды. А вот эти, искусственные, приклеиваются яблочным клеем. А вот и пудра — чтоб лицо не блестело. Вазелин — чтоб лучше грим ложился.

В столовой кинофабрики Колька спокойно ел дымящиеся щи. Сергей Михайлович смотрел на него с умилением. Почти с умилением. Не как отец, а как старший брат. Тем не менее он ощущал подъем отчетливо творческого порядка. У него под пальцами произрастало будущее.

Он поселил Кольку у себя. Его комнатка в Леонтьевском переулке на последнем этаже пятиэтажного углового дома смотрела окном на Никитские ворота. Но Ткачев умел видеть пространство более широкое, чем то, что давалось глазу даром. Он был убежден в том, что он — единственный из жильцов своего невыносимого муравейника — умеет озирать нужную ему на то время Москву. Суть дела была в интересах, каковые были широки.

Сквозь оконное стекло, всегда начисто помытое, его глаз приохотился перелетать с колоколенки Феодора Студита к игрушечной башенке на куполе Большого Вознесения и, чуть погревшись на великом пылающем куполе, устремляться через голову особняка Рябушинского к Патриаршим прудам, поутру тоже золотым и горячим, и после купания в певучем золоте живой воды держать путь назад, но не по прямой, а по дуге, поверх Трехпрудного переулка и Палашевского рынка,— с тем чтобы вольным ветерком поиграть с бронзовыми кудрями поэта, в честь которого, собственно, и затевался сей утренний перелет. Поэт, таким образом, начинал и замыкал физическую зарядку ткачевского глаза, хотя бы частично оправдывая существование Сергея Ткачева в со-

доме бесчисленногоголового советского быта. Как он добывал эту комнатуху, он и помнить не хотел, но добыл, и слава Господу, однако жить здесь можно было лишь условно, ибо его ночевки мало чем отличались от ночевки Кольки на площади. Круглосточный гвалт соседей, зимняя стужа, летняя духота, черный от постоянной протечки потолка, через который просматривался черный чердак, — все было против творца в Ткачева, и когда поэт поутру выходил из Большого Вознесения, на минутку оставив там юную невесту, чтобы постоять в раздумье на другом конце бульвара, это и было сквозным событием, по-человечески организующим утренний час всей дальнейшей судьбы, в которую сам Ткачев глубоко верил.

С родным Киевом его связывал только Чистоусов, который теперь тоже обретался в Москве, более чем высокомерно не замечая присутствия в ней земляка. Честно говоря, замечать было нечего, Ткачев отдавал себе в этом полный отчет, но заноза в области сердца сидела. Ведь встречались кое-где, в театрах чаще всего, пусть на расстоянии, но на близком, почти соприкасаясь плечами, проходили они мимо друг друга, и Ткачев прекрасно знал, кто это, а Чистоусов высоко держал гладко причесанную лакированную голову с просекой косога пробора, не сводя стального взгляда с легкой горбинки своего носа. Ах, Чистоусов! У него были сиреневый галстук, драповое пальто и ясеневая трость.

Ткачев несколько лет подрабатывал по мелочам, заметками обо всем на свете, в «Известиях МСПО», «Рабочей газете», «Вечерней Москве» — Чистоусов однолюбиво спускал пар своей гордыни через «Гудок». Изредка видел Ткачев чистоусовские шедевры в берлинском «Накануне» и однажды там прочел, глазам своим не веря: «А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко».

Работа на кинофабрике открыла Ткачева. Он готовился к пьесе. Кольку ему сам Бог послал.

Фильма называлась «В тылу у белых». Колька должен был изображать крестьянского паренька, помогающего красноармейцам разведать вражеские позиции. Ткачев натаскивал мальчишку, видя в нем самого себя пятнадцатилетней давности.

Но тут упал потолок в комнатухе на Леонтьевском. Это случилось ночью. Они спали: Ткачев — на матрасе на полу, Колька — на трех сдвинутых табуретках, — и ровно в час ночи, когда ударили куранты на Спасской башне, черная туча потолок обрушилась. Им обоим чрезвычайно и неправдоподобно повезло. Ни тот, ни другой совершенно не пострадали — их даже не задела эта сырая падающая масса, тяжелая настолько, что при ее ударе о пол проснулся весь четвертый этаж и закричал дурным голосом, словно в Леонтьевском опять взорвалась полуторапудовая бомба, породившая город Загорск.

Но Кольку пришлось сдать в детдом.

Систематическая дармовая кормежка, физзарядка, ходьба строем, ни покурить, ни покутить — Колька сбежал. Театральная площадь по-матерински приняла его в свое лоно. Оборванцы косились на его обновки, он рассказывал им сказки о найденных родителях, которые, оказывается, преспокойненько жили-поживали на Поварской в собственном особняке, имели автомобиль и абонемент в Большой театр, вон в этом самом, желтом, как ходя на Курском, вот только в кино тянет играть, артист он от Бога, все говорят, а кто в это не верит, может сам посмотреть, — Колька вынимал из кармана брюк краденые киноплёнки с его многократным изображением, и шпана пялилась на чудо в не рассеивающемся до конца недоумении. Большой театр, ужасающе огромный, как константинопольская мечеть Султанмахмет, дышал на Кольку желтым жаром раскаленных добела колонн фасада.

Солнцеобразные часы на ГПУ, хорошо различаемые из котловины Театральной площади в сгущающейся тьме, показали 11. Колька понимал, что для полной убедительности своих речей он должен сделать что-нибудь такое, что соответствовало высоте их полета. Его давно манил дом «Рабочей газеты», который, если зайти к нему с тыла, со двора, прямо-таки звенел призывно стремительной пожарной лестницей, сверкавшей при звездах, как на солнце. Шпа-

на полезла за Колькой на крышу, тонущую во тьме. Полотно киноэкрана вблизи не имело концов и краев. Шум полотна, колеблемого ветром, перекрывал гул площади, сверху похожей на поднос.

Гремя листовым железом, они вошли на чердак через квадрат слухового окна. Кромешный мрак ударил в глаза. Колька зажег серную спичку. Прямо перед ним темнела груда старых стульев.

Он поджег стулья. Они разгорались медленно — Колька бросил в огонь киноплёнку. Мгновенно заплясало большое пламя. Оно набросилось на белье, забытое нерадивой прачкой на веревках, стягивающих ночное пространство утробно загудевшего, затрясшегося чердака. Ужас вышвырнул шантрапу на крышу. Они скатились к самому желобу.

Вся Москва, запрокинув белое лицо, глазела на зарево над «Рабочей газетой». Полотно сгорело. Колька висел над Москвой, вцепившись в раскаленный край крыши. Приехали пожарники. Дом оцепила милиция.

Ткачев отыскал Кольку утром в детприемнике.

Николай Дмитриевич спросил тихо:

— Подробности есть?

— Нет, — хмуро ответил Сергей Михайлович и закрыл дверь.

Сквозь перезвон дверной цепочки Николай Дмитриевич услышал сипотцу хозяина:

— Досвистался, свистун.

Николай Дмитриевич знал, что переделкинский самоубийца в свое время на премьере пьесы Ткачева в Театре Революции по-партизански свистел в два пальца. Седоголовый краснолицый уссурийский партизан через много лет сам об этом рассказывал с хохотом Сергею Михайловичу в одном из дачных застолий. Он смахивал на сосну, высокий весельчак.

III

Евгений Князев вылетел из Москвы восемнадцатого числа. По прилете в Одессу он не отправился сразу на пароход, а прошелся по горбатой Дерибасовской в сторону отеля «Пассаж», где вынужден был снять «люкс»: ничего другого не было. Кроме небольшого чемоданчика, отпускник не был обременен ничем.

По-видимому, и «люкс», и ночь в Одессе подсознательно были запланированы. Ясной частью мозга Князев не допускал встречи с Ланой. Прошли годы с тех пор, как у них что-то было. Что-то... Он не мог это назвать ни связью, ни любовью, ни страстью пылкой. Все было проще и больше, пожалуй, смахивало на дружбу разнополых. Он впервые ушел тогда от Инги на достаточно долгий срок, на полгода, кажется, поселясь у друга институтской поры Юрки Сеньковского. Юрка ни в одном театре постоянно не служил. Он обладал хорошей фактурой героя и сильным драматическим чутьем, в институте считался первой звездой и снимался в кино, однако смолоду пил горькую, пил невесело, сам с собой и запоями, и это предопределило его дальнейшую судьбу. В перерывах между «выходами в тишь» — так он называл горькие недели — друзья-режиссеры приглашали его на разовые спектакли, на те в первую очередь, что были заведомо обречены на снятие еще до премьеры. Обыкновенно в этих работах режиссеры показывали высший пилотаж, самовыражались предельно, ибо знали наперед: какая-нибудь малая, неумирающая, самовоспроизводящаяся катя фурцева все равно подавится этим зрелищем еще на просмотре. Юрка мог выполнить любую режиссерскую затею. Он был полигоном — на нем испытывали новую технику.

К матери Евгений от жены никогда не сбегал — не тревожил попусту, знал, что вернется назад. Сеньковский между тем обретался как раз у своей матери, но та была актрисой, старой травести, и надолго уехала куда-то в Сибирь, заключив годовой договор с местным ТЮЗом.

У Сеньковских были две комнаты на первом этаже, практически в полуподвале, а рядом, в третьей комнате, обитали сменяющие друг друга дворники, но комната была аварийной и нередко пустовала. Евгению досталась материн-

ская спальня с обширным ложем, покоящимся на поставленных столбиком кирпичиках. Огромное бархатное покрывало алого колера с бахромой касалось пола, пряча кирпичи.

Лану привела Анютка, подружка Юрки. Они были одесситками и называли себя сестрами. Анютка была черноволосой крохотулькой с невиданно выдающейся грудью. Ее муж, скрипач, подал документы на отъезд из отечества, ждал визу, днем приходил к Сеньковскому заниматься, по несколько часов исторгал из инструмента страсть оркестрового звучания и уходил до завтра, оставляя жену у Юрки. Может, в Одессе у них так было принято? Евгений не удивился, когда высокая и русая Лана в качестве сестры осталась в доме, в первую же ночь обретя иное качество на материнском ложе.

Лана была актрисой, бегала на актерскую биржу, искала работу.

Откровенно говоря, Князев больше тянулся к Анютке с ее экзотическими пропорциями. К тому же по мертвой тишине в ночной соседней комнате Князев делал заключение, что скрипач ничем не рисковал. Сеньковский отрубался рано и рано же воскресал, начиная утро неизменным вопросом:

— Есть что-нибудь?

Анютка отвечала:

— За секретером. Но в последний раз. Больше я от тебя спасти твое лекарство не буду.

Князев касался губами плеча Ланы, она улыбалась в полусне, они сближались и, пока за стеной происходила глуховатая перебранка, перетекали друг в друга. Это длилось долго, тихо, с постепенным нарастанием полной ясности во всем теле.

За общим завтраком на пятиметровой кухоньке вспоминали вчерашнее. Юрка в ВТО опять надрался, рвался домой, в тишину, менялся носками со Стриженовым, задира Дружникова, а Лану сам Ролан пригласил сниматься завтра же, без всяких проб, и Лане это могло показаться шансом — она многое воспринимала всерьез, поскольку для нее родная Одесса исчерпалась окончательно в профессиональном плане: ее бывший муж, администратор от искусства, став ее супостатом, захватил всю власть в местном театральном-киношном мире и не давал ей ходу.

Так они жили около месяца.

Внезапно приехала из Сибири мать Сеньковского и разогнала их табор. Позволялось приходиться только скрипачу. Князев, заплатив за полгода вперед, снял для Ланы однокомнатную квартиру в кооперативном доме на Преображенке, а сам вернулся в семью. Его знакомец — председатель жилкооператива — позвонил ему на работу и пожурил за князевскую протезе, ведущую утомительный для соседей образ жизни: ночные оравы гостей, бражничество, музыка и кодированная дверь нараспашку до утра — вся девятиэтажная башня в тревоге.

Евгений посетил Лану. Дело было ночью, там действительно клубился какой-то смутноватый народ — это были уже не актеры, но, кажется, литераторы, читали стихи, блевали, сквернословили, опасно жестикулировали. Его узнали: ах, князь-цензор, здрастье. Лана улыбалась, как в полусне. Князев сильно помрачнел, хотелось вышибить всю эту гоп-компанию в ночь, в снег, в разверстную пасть храпящей столицы, решимости не хватило — помогли соседи: гулко постучали в стену, и тогда он встал со стула во весь свой хороший рост и напомнил дорогим гостям о чести, которую пора и знать. Все безропотно разошлись.

— Как будешь дальше жить?

— Жить?

Она была права: о какой жизни он тут спрашивает? Он, у которого есть все, и она — ночная птица без гнезда.

— Ничегошеньки у меня нет, — промямлил он.

— Не скромничай, милый. Но даже если это так, что это меняет? Я возвращаюсь в Одессу.

Они легли. У него ничего не получилось. Так уже бывало. Они оба спокойно отнеслись к его провалу, как к чему-то совместному.

Он немного погулял по вечерней Одессе. Последние лучи заката золотили синее море, оранжевый город, пестрое многоголавье прохожего люда, серебристые верхи пирамидальных тополей. Мощные груди одесских кариатид, бабушек Анютки, содержали в себе южную жизненность этого знойного города. Розовые горлинки ворковали на Приморском бульваре, изнывая на роскошных кронах платанов. Женственный Дюк, поражая узостью своей круглой пятки, благословлял мореплавателей. Внизу, у причала, ослепительно белел «Федор Достоевский».

Он отправился на улицу Розы Люксембург. В квадратном дворе южного типа поднялся по железной лестнице на железную галерею вдоль второго этажа и нажал на дверной звонок. Лана вышла к нему сразу же, словно ждала. Ее русая голова была причесана, белые брючки и белая блузка уже рвались на улицу.

— Куда пойдем? — буднично спросила она, мгновенно отменив семь лет разлуки.

В ресторане «Пассажа» гремела музыка. Работал румынский оркестр. Они пили темно-вишневое молдавское вино и танцевали — вдруг оказалось, что впервые: в ВТО не танцуют. Прихватив пару бутылей солнечной Молдавии, поднялись в его «люкс».

— По-генеральски живешь.

— Как учили.

Величие апартаментов не пугало, но и не умиротворяло. Над безразмерной кроватью плескался девятый вал Айвазовского, закованный в опасно массивный багет. Князев ощущал беспокойство. Ему казалось, что, рванув в Одессу, он начинает что-то новое, а Лана была тем горьким яблоком, тем неразвязанным узлом его прошлого, в котором они так беспомощно сплелись и разлетелись, не расплетясь. Удручали ее дела: все, что ей удалось за эти годы, — эпизоды в безвестных местных лентах плюс новых два пацана от разных отцов — всего трое детей. Она была бесхитростна, все рассказала ему еще там, в ресторане, перекрикивая грохот румынского оркестра.

Ничем похвалиться не мог и он. Ну, начальник. Ну, достиг. Захочет — пойдет на белом пароходе по синему морю в любой конец шарика. И что? Душе дороже тот давний вечерок, когда он принес ей целый чемодан астр, обокрав чью-то дачу. Правда, цветы она вывалила на лоджию и сплясала на них, а чемодан сожгла в мусорном баке.

Солнечная Молдавия сморила их обоих в креслах у журнального столика. Он очнулся один, сидя там же. Было два ночи. Он вздохнул облегченно. Голова болела, бутылки пустовали, он спустился к портье.

У стойки портье стоя дремал человек с чемоданом в ногах. «Мест нет». В вестибюле пусто. Князев привел человека в свой номер. В чемодане нашлось выпить. Водка. Гость оказался чернобыльцем, ликвидатором. Свою дозу схлопотал, приехал лечиться. То, что там случилось, — страшно. В печати все брешут. Князев, уложив гостя на кровать, утро встретил сидя.

Каюта ему досталась узкая, длинная, в два отсека, с душем, но без кондишена. Ему принесли два вентилятора, которые он не выключал круглые сутки. Они оглушительно гудели. На столике тускло посвечивал желтый телефон. Квадратный иллюминатор был наглухо задраен.

Нарастала духота.

Из Одессы вышли вечером, с утра следующего дня корабль стал голым: везде — на палубах, в коридорах, по трапам, в барах — ходили люди в купальниках и плавающих. Они пили баночное пиво, играли в карты, дремали в шезлонгах, визжали из бассейна. Это были по преимуществу арабы и поляки. Князев лежал у себя в каюте, изучая игру цветовых рефлексов на переборках.

Отчего Лана все еще тревожила его? Чего он добился, в очередной раз продемонстрировав угасание мужской цепкости? Картинку Айвазовского показал девушке?

Девушка. Бог ты мой, ведь ей шел годок эдак тридцатый. Выглядела она по-прежнему на двадцать, но это была поистине вечная молодость — не без древнего оттенка: что-то некогда цветущее и канувшее, затаенно киммерийское было в ее матовом, лишенном румянца лице. Ее сомнамбулическая улыбка тоже работала на отчуждение.

А все-таки надо было ее повидать. Надо было. Давно нет света в его душе. Полный мрак. Дряблость, немощь, служебное фанфаронство, дутая значительность. А минморфлотовский стул-то под ним трещит, качается на сквозняке новых времен.

Когда он шел поутру из «Пассажа» в порт, драный бич с блевотными белыми глазами на бульваре хрипло орал:

— Меченый нас погубит! Горбатый нас угробит!

Князев знал, что останется с голым задом. Собственно говоря, если тот стул отодрать от него прямо сейчас, обнаружится, что зад уже гол. И всегда был гол.

Убирала в князевской каюте бортпроводница Лена. Она пришла рано, он еще спал, внесла пылесос, выказала много тихой вежливости. Князев запахнулся верхней простыней, повернулся к девушке спиной, успев отметить отчетливость всех ее больших форм и отменную флотскую вышколенность. Она работала недолго, но в душной каюте остался ее свежий запах.

Перед приходом в Стамбул по судовой трансляции прозвучало объявление:

— Евгения Николаевича Князева просят зайти в каюту капитана.

Затем раздался телефонный звонок. Князев поднял трубку. Соболев сказал ему погустевшим в трубке баском:

— Старик, я тут оформил тебя вторым штурманом, иди в кассу, получи валюту.

— Валера, это взятка.

— Да? — Суровый Соболев рассмеялся. — Тогда иди за взяткой. Кстати, ты с кем собираешься выйти в город — со мной или с кем, так сказать, попроще?

— попроще.

— Ну и будет тебе бармен. Пойдешь с барменом?

— Давай.

Итак, Князев стал членом экипажа. Членам экипажа не положено ходить в одиночку по инпортам.

Бармен Терентьев держался воспитанным человеком, лицо имел приятное, открытое и не обременял излишней словоохотливостью.

В Стамбуле их сразу же окружили северокавказского типа менялы, торговцы духами «Опиум», водители такси. У пирса шатались шаланды с утренним уловом: акулоподобные тунцы, меч-рыба, кефаль, камбала размером с хороший поднос. На мосту Галата торговали женской обувью, наваленной горами поперек движения. Посередине моста лежал в глубокой дреме рыжий небритый турок. Дул золоторожский ветерок.

К Терентьеву с Князевым в рыночной толпе прибилась смазливая блондинка с мальчиковой стрижкой. Чем-то — миниатюрностью, наверно, — она смахивала на молодую Ингу и одновременно на дочку, Дашку. Это ему понравилось: пригодится — кто-то ведь должен помогать ему в закупке тряпиц. Ее имя тоже было Елена, как и у бортпроводницы, опять Лена, Лена-два — нарек ее про себя Князев.

Они втроем поднимались в гору по центральной улице рынка сквозь плотную вежливую толпу. Справа и слева пестрели лавки, киоски, павильоны, шопы. Кричали зазывалы. Все продавцы говорили по-русски. Шел водонос, весь в белом шелке — шальвары, рубашка, чалма, с золотым самоваром за плечами, как с рюкзаком. Князеву захотелось пить. Терентьев прочел его желание:

— Сейчас почаявничаем.

Они свернули налево, в узкое колено проулка. Там торговали югославы. Три-четыре ступеньки вели в прохладный магазинчик.

— О, кого я вижу! — Молодой брюнет возликовал при виде Терентьева.

— Здравствуй, Петя, — обычным голосом сказал бармен.

Югослав тут же распорядился о чае, они уселись за низкий столик за рядами вывешенных на плечиках вещей.

— Какая погода в Одессе? — начал разговор хозяин магазинчика.

— Спасибо, все в порядке. Как ты?

— Торгуем потихоньку. Товарища привел? — Петя кивнул на Князева. — Все сделаем. Что надо, товарищ?

Князев растерялся. Терентьев сказал просто:

— Евгений Николаевич, не стесняйтесь. Тут все отлажено. Выбирайте, что хотите. Лена, помощи.

— Дайте хоть чаю попить, — натужно пошутил Князев. Лена-два защебетала о размере, о росте, о цвете, о прочем. Вот птичка, подумал Князев, хорошо поет.

— Берите на себя.

— Как это? — не сразу поняла Лена-два.

Он объяснил.

Образовалась черная кожаная сумка, полная вещей. Князев потянулся к карману за лирами. Петя остановил его руку.

— Все уложено, товарищ, — широко улыбнулся он. Зубы его были белыми и крупными, как из слоновой кости.

«Федор Достоевский» уходил в Мраморное море. С пеленгаторной палубы Князев смотрел на многоярусные огни удаляющегося Стамбула. В ночи протяжно пел муэдзин. Его голос занимал все ночное пространство. Было ровно 22.00. Еще час назад над Стамбулом навзрыд звенели стрижи. Медное солнце казалось одним из подсолнухов, растущих в стамбульском порту под судовым трапом, на причале. Солнце упало в гущу каменных дикоросов. В красноватом свете прожекторов сияли шесть золотых минаретов Голубой мечети.

Турецкий месяц висел над Стамбулом.

Не нравилась Князеву эта история с сумкой. Какой-то подвох чуял он опытным нюхом. Ясно, конечно, — он расплатится с кем надо, однако неясно, с кем. С Терентьевым? С Леной-два? С Петей? Все они — нечто единое, сплоченное и спешшее. Но для чего им это надо было? Тьфу ты, сбежал от хлопот — новые на голову.

Огни Стамбула постепенно погасил влажный мрак. По правому борту судно высоко сопровождал кирпичного цвета Марс.

Князев вернулся в каюту. Сумки, которую он оставил на рундуке, не было. На столе лежал незаклеенный конверт. Князев открыл его. Там оказалось двести рублей. Советские деньги. Это уже серьезно.

Князев решительно направился к Соболеву.

— Вот, капитан. — Он протянул конверт Соболеву. Тот оторопел:

— Что это значит?

— Действительно, что это значит?

Князев изложил весь сюжет. Капитан слушал внимательно. В середине рассказа бросил коротко:

— Петю я знаю. — Выслушав, как бы успокоился. — Ладно. Не бери в голову, старик. Они хотели как лучше. А денежку и вправду давай сюда. — Он запер рубли в сейф. Добавил: — Найдем, кому вернуть их. А, вообще говоря, все это, сам понимаешь, ЧП. Кража. Возможность валютных операций. Этого у меня на корабле еще не было.

Засыпая, Князев внезапно вспомнил странную ситуацию, возникшую по приходе в Стамбул. Местные иммиграционные власти не пускали арабов на берег. Те кричали по-русски:

— Мы не арабы! Мы алжирский народ!

IV

Кончалась величайшая эпоха в истории человечества — эпистолярная. Все беды, потрясшие Россию в текущем столетии, были только эпизодами Великой эпистолярной катастрофы.

Подлинная история Отечества происходила в письмах. Все они перемешались, перепутав слои хронологии и степени их важности и происхождения. В хаотической памяти Вселенной летят листки белой бумаги подобием густого звездопада или хвоста кометы.

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Чаадаев — философические письма. Письмо Татьяны Лариной. Письмо Белинского Гоголю. Выбранные места из переписки с друзьями. Письма Пушкина жене. Письма русского путешественника. Письма Аввакума Петрова. Письма Екатерины Великой, тоже философические. Письма издалека. Письма о русской поэзии. Письмо Ф. Раскольникова. Письмо вождям СССР. Письма Чехова. Групповые письма советской интеллигенции. Письма М. Бакунина. Последнее письмо Маяковского. Переписка Сталина с главами союзных держав. Переписка Андрея Белого с Александром Блоком. Пастернак — Цветаева. Чайковский — фон Мекк. Письма советских граждан в органы. Письма Гр. Распутина к августейшим родителям. Новгородские берестяные грамоты. Тютчев — дочерям. Письма С. М. Ткачева Чистуосову (не написаны).

После выстрела в Переделкине все ждали письма. Оно — письмо — черной тучей надвигалось на столицу из-за стены синих подмосковных лесов. Тень ожидаемого письма легла на пол-Москвы.

Неведомая сила водила рукой Сергея Михайловича, когда он вел свои ежедневные записи о том о сем, подспудно формируя их как некое послание к потомкам. Одновременно это было и некой внутренней рецензией на самого себя. Его стремительные строчки бежали по бумаге подобно магнитофонной ленте. Он отчетливо слышал свой тронутый сипотцой голос. Голос, усиленный рупором.

В то мгновение, когда переделкинский самоубийца поставил точку пули в своем конце, Сергей Михайлович поставил точку в следующей сокровенной записи, озвученной в его слуховом поле:

— Партия и Советское правительство высоко оценили мою более чем скромную работу в области драматургии, а главное, помогли мне стать на прочную почву в своем творчестве и всегда поддерживали меня в критические моменты в работе. Мое глубокое желание — еще интенсивнее работать и передавать свой опыт молодежи.

Сергей Михайлович расхаживал по своему кабинету, чуть не целиком заставленному книжными стеллажами и шкафами. Он расхаживал с тростью, что было признаком его рядовой взволнованности.

Ткачевы жили скромно, в аскетической скудости и врожденной ненависти к мотовству. Ольга Олеговна содержала дом в чистоте, здесь ей помогала Саша, приемная дочь, по существу, а на дачу Ольга Олеговна Сашу не пускала, там все надо было делать самой — от ухода за садом до недопущения посторонних в часы мужниних занятий.

Сейчас Ольга Олеговна была на даче, и Сергею Михайловичу было ясно, что весть о случившемся невидимой молнией пришла к нему от нее и уж потом от него — к Николаю Дмитриевичу, от которого — во все концы света.

Он услышал звук проворачиваемого в замке ключа — Саша вернулась из похода по магазинам, и пошел сбросить цепочку. Паркет под его ногами громко поскрипывал. Слепая кишка темного коридора раздражала его. Он стучал тростью.

Саша заметила тревогу хозяина. Они редко разговаривали. Ее речь была затруднена. Десять лет назад, сразу после войны, ее привез в Москву Николай Дмитриевич, подобрав восьмилетнюю сиротку на захолустном вокзале, — Николай Дмитриевич, будучи администратором цирка, подолгу гастролировал по стране. Жена Езерского Виолетта была на сносях, и сиротку приютили Ткаче-

вы, иначе быть не могло. Удочерять формально ее не стали, но любили, как родную.

Окно ткачевского кабинета — большое, трехстворчатое — смотрело на Кремль. Он листал свои записи, склоняясь над столом, так что лобные шишки чуть не касались Троицкой башни. Ровно тринадцать лет назад, в мае сорок третьего, он зафиксировал приход к нему на дачу уссурийца.

Тогда, в мае, Ткачевы уже вернулись из уральской эвакуации. На Урале их шокировал Колька. Он привез цирк, ошеломив Сергея Михайловича и Ольгу Олеговну не столько блеском аттракционов, сколько произошедшей с ним мутацией. Езерский стал жантильным кавалером, тыловым юбочником и любезником, каких свет не видывал. Помимо тотчас запасмурневших циркачек, он охватил своим сердцем женскую часть гигантского индустриального города, и танки, выходящие из заводских цехов, несли на себе красноватый отсвет его циркового жизнелюбия. Впрочем, надо отдать ему должное, свое прямое администраторское дело он знал и делал на «ять», без труда раздобывая лучшие номера в гостинице или отдельный вагон для дрессировщицы хищных зверей. Виолетта была основной его пассией, отношения их были достаточно глубокие и многолетние, но как раз там, на Урале, у нее произошел молниеносный роман со знатным металлургом, и, может быть, это стало побудительным мотивом Колькиного разнузданного разгула. В процессе взаимного мщения с ней случилось несчастье. Во время утреннего представления лев Принц — от недоеда ли, от ревности ли — сгреб Валу (так ее именовали по-настоящему) жуткими крючьями когтей, и, кабы зверь сам почему-то благородно не опомнился, бедной женщины не стало бы в одночасье. Обошлось. Она выжила, но с цирком пришлось проститься. Николай Дмитриевич покаянно оправдал себя жалостливой женитьбой на женщине, тело которой было изборождено грубыми рубцами поспешной хирургии.

Ударил резкий телефонный звонок. Так звонил только Езерский.

— Что тебе?

— Дядя Сережа, ты интересовался вернисажем Сарьяна? Да. Было. В Академии художеств. Масса людей, цветов, торжественности. Все великолепно! Старик Коненков выглядел отменно. Велел кланяться.

Светская жизнь Езерского была ключом. С тех пор как несчастье создало его семью, он покинул цирк и вообще нигде не служил. Для цирка он пописывал клоунады, но драматургическим его поприщем стала эстрада. Это про него Эмиль Кроткий скотчил эпиграммку: «Сам кряхтит, а рифму мечет, Льет над скетчем горький пот... Нужда пляшет, нужда скетчит, Нужда песенки калечит, А Музгиз их издает!» Отнюдь не тайным делом его стала игра: бильярд, карты, бега. Он без потерь для себя умел разрываться между ипподромом и концертным залом, между бильярдной и картинной галереей. Его видели везде в одно и то же время, и он видел все и всех. Он следил за премьерами, вернисажами, юбилеями, награждениями — за всем на свете.

Первые месяцы пятьдесят шестого года в сфере искусств были выдающимися. Разнообразие событий захватывало дух. В самом начале года наградили орденом Ленина того же Коненкова, а Гроссмана — орденом Трудового Красного Знамени. Отметила восьмидесятипятилетие Варвара Николаевна Рыжова из династии Бороздиных-Музиль-Рыжовых. Орест Верейский путешествовал с альбомом по берегам Нила. В Большом поставили оперу Кабалевского «Никита Вершинин» с Лемешевым в роли китайца Син Би-у. Негритянские артисты Элен Тигпен и Эрл Джексон, граждане США, зарегистрировали брак в московском загсе, а затем бракосочетались в церкви общины евангельских христиан-баптистов. Езерский ликовал: свобода! Игорю Моисееву стукнуло пятьдесят. Столько же — Антанасу Венцлова и Вере Кетлинской. Дальневосточный художник Иван Рыбачук шумел на Всесоюзных выставках. Советский народ отметил семидесятипятилетие со дня смерти Достоевского, как раз тогда, семьдесят пять лет назад, и родился Коненков, как, впрочем, и К. Е. Ворошилов. Столетня годовщина смерти объединила Гейне с Лобачевским. Было не забыто семидесятипятилетие со дня смерти Мусоргского. Коллегия Министерства культуры СССР во главе с мини-

стром Н. Н. Михайловым утвердила кибальниковский проект памятника Маяковскому, похожему на знатного металлурга.

Это не все, не все. Готовилось к печати собрание сочинений Ивана Бунина. Вышел шеститомник Вилли Лациса. Шеститомник Ванды Василевской. На страницах всеозной печати зазвучали стихи Расула Гамзатова. Поэтесса Е. Шевелева прикрепила медаль международной Сталинской премии «За укрепление дружбы между народами» к груди г-жи Акико Сэки. Отметим столетие Третьяковки. Москва стала привыкать к появившемуся два года назад против Моссовета Юрию Долгорукому.

В Доме культуры издательства «Правда» прошел пленум Правления Союза писателей СССР, работа которого была совмещена с Третьим Всесоюзным совещанием молодых писателей. Ни Ткачева, ни, естественно, Езерского туда не позвали. Николаю Дмитриевичу было плевать, маститого Сергея Михайловича уязвило. Он, профессор творческого института, где его по причине высокой требовательности за глаза называли Ворчуном, увидел в этом факте как дискредитацию драматургии, так и наглое вытеснение его крупной фигуры со сцены. Он позвонил в Секретариат Союза писателей, кто-то голосом Суркова послал его подальше. Он тогда записал: «Мы не должны оказаться в положении дачников, стоящих на платформе и глядящих на мимо несущийся поезд!»

Подкоп под него велся не первый год. Как раз на открытии памятника основателю Москвы, глядя на развернутые княжеские плечи, Сергей Михайлович никак не мог отрешиться от недавней рецензии в «Новом мире» на свою сводную книгу о драматургии. Молодой критик Лакшин довольно бесцеремонно прогулялся по его глубоким размышлениям, не замечая их важности, — одно утешало: нынешние молодые все-таки разделяют пафос старых мастеров, о чем свидетельствовало такое высказывание рецензента: «Большое место уделено в книге разоблачению формализма и эстетства, принесших немало зла нашему театру и драматургии». Стоя под памятником перед толпой, Сергей Михайлович настраивался произнести обещанную организаторам праздника речь о славных деяниях великого князя, и в голове его теснились мысли, очень даже уместные и своевременные: не придется ли нам нынче отрешиваться от своей критики мейерхольдовщины? А? Вот молодой критик упрекает его, матерого мастера, в нигилистическом отношении к Лессингу, а он, Ткачев, последовательно, с младых ногтей, держит курс на патристическое освоение отечественной традиции, и эти лессинги ему не указ, и Сталинскую премию он получил не когда-нибудь, а в сорок восьмом, в рискованной борьбе со всяческой безродностью, и была та премия весьма кстати после денежной реформы предыдущего года и долгих лет его колеблющегося статуса, и могучий князь над его головой знаменовал внутреннюю победу всей его личной генеральной линии. Слова ему не дали — был исчерпан лимит ораторского времени. Стуча тростью, он угрюмо отправился восвояси. Благо дом рядом.

Нет, все-таки не случайно в том же сорок восьмом премировали и этого космополита Эренбурга. Они засели везде. Мейерхольд врал, называя себя немцем, Эйзенштейн на уши встал, вереща о том же, — эка он разделал псов-рыцарей в своей ленте, но все равно они сидят везде, эти стилисты философско-картавой гладкописи, и это они не дали ему высказаться на II Съезде писателей, хотя он написал славную, содержательную речь. Он хотел убедить коллег: да зайдите вы на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку — вот где наши герои! Философия гамлетизма чужда нашему времени! Теория бесконфликтности — обратная сторона лакировки действительности! Крайне мало тузовых вещей для золотого фонда театра, вместо этого — леонидоандреевщина, американизм плюс порнографическое сало! Не дали сказать.

А Чистосуову премию дали. Еще в ту пору, прежнюю, в пятьдесят первом. Ткачева чуть не хватил удар. Ничего, устоял. И слава Богу, иначе не дотянул бы до шестидесяти и не пережил с ликованием *взрыва*.

— «Взрыв» произошел в ночь на 1 июля. По радио передают о награждении меня орденом Трудового Красного Знамени за большие заслуги в связи с шестидесятилетием! И сразу — ворох телеграмм. И возбуждение — радостное

и тревожное! 2-го получаю орден из рук Климента Ефремовича Ворошилова. Маршал в штатском костюме своим добрым простым голосом поздравил меня с наградой и жал мне руку. Ура! Значит, не все потеряно. На столике пионы в вазах, груды телеграмм в конверте и письма друзей. Какое это живительное средство — рукопожатие вовремя! Значит, еще не один. Надо только найти в себе силы, чтобы выйти с честью на призыв народа и государства. Спасибо, товарищ Правительство!

У этого Эренбурга — два ордена Ленина. Вот какая история с географией получается.

Неужели возвращались времена его ранней молодости? Конечно, так оно и будет, ежели нынче старые одесские распутники основывают журналы для юношества. Но, Господи, как же тяжело ему было, когда он явился в Москву — провинциальный актеришко с литературными мечтаниями. Москве было глубоко безразлично, что он уже отыграл и Счастливецова, и Раскольниковова, и Хлестакова, и Гамлета, что он лично основал драматический театр при 33-й Тихорецкой пехотной дивизии и в качестве актера ездил с опергруппой курсантов командных курсов на подавление восстания терских кулаческих добровольческих банд. От отца он унаследовал болезнь легких, преследующую его всю жизнь, а тогда, по молодости лет, он позволял себе не церемониться со своим здоровьем. Этому способствовала святая пагуба стихописания и все, что с ним связано. Хмельная свобода в драном плаще богемы. Ему не удавалось, как он ни сопротивлялся, соблюсти правила провинциального целомудрия в постоянных промахах на пути к призванию. А ведь он любил ее, волчицу-столицу:

Люблю твои алмазные снега
И переулки с вещим перезвоном,
Где сонм старух лобзает жемчуга
И ползает к гнивающим амвонам...

Ткачев писал в неоклассическом духе поэмы в октавах, дабы не оказаться всосанным в опасный для жизни литературный коловорот. Загвоздка была именно в открытости всех дорог — куда идти? Ткачев был слишком свободен, слишком не связан ни с чем и ни с кем. Имя Чистоусова уже вошло в гул литературно-театральной молвы. Ткачева же терзало полное неприсутствие где-либо. Мягкая его душа по своей уступчивости и бездомности кидалась временами бабочкой на огонь. Его видали в тех кафе, в тех вертепах славы, где происходила присыпанная порошком кокаина смычка поэзии с коммерцией. Это было умопомрачением. Океан алкоголя, истерический хохот сухого закона, крашенные белоплечие музы с жесткими челками до бровей, кольчатый дым столбом, близкий блеск фортуны, золотоволосый бес успеха с синими глазами в кофейном костюме и ослепительно алой шелковой рубашке. Гремучий воздух искусства был сплошным манифестом и скандалом. Однажды ночью он оказался в знаменитом доме на Воздвиженке, облепленном каменными ракушками, обмотанном каменными канатами, пахнущем морским дном, бастионом португальских пиратов или скалой Гибралтара, на вершине которой сухо шелестел зимний сад под стеклянными небом, так что не слышен был отечественный дух того самогона, который Ткачев глушил в обществе человека, опять-таки синеглазого, в шапке смоляных волос, недавнего очарованного странника, ныне канцеляриста Пролеткульта, золотоволосый друг которого в это время растянулся в глубоком нервном сне на большом, как чисто поле, канцелярском столе, изредка вскрикивая. Ткачев декламировал свое:

— Не надо слез... Великая услада,
Не мудрствуя, осмыслить то, что надо!
И ведать начертание судьбы:
Мы русские. Мы боле не рабы.

— Дура-ягодка! — закричал спящий. — Это саки, а не стихи!

Помещение, в котором они находились, когда-то было ванной комнатой. Крик срезонировал от мраморных стен. Ткачев выскочил на улицу, как из ба-

ни, в клубах дыма и отчаяния. Ни в «Стойло Пегаса», ни в книжную лавку на Большой Никитской он больше не заглядывал. Обжегшись на молоке, он дул на воду, но недолго, его потянуло в противоположном направлении. Двухметровый громовержец, писавший огнем по небесам, на время стал его маяком. Он подстерег его на развилке Большой Никитской и Газетного переулка, потому что знал, что тот всегда идет одним маршрутом: Лубянка — Кузнецкий мост — Камергерский переулок — переход через Тверскую — Газетный — резкий поворот направо — напрямик по Большой Никитской в Театр Революции, к Мейерхольду. Широкий шаг поэта сопровождался грохотом его исполинской сверкающей трости.

Ткачев подготовился к встрече. Подавив приступ неизбежного страха, он попросил выслушать его. Гигант искоса на ходу посверкивал Полифемовым оком. Ткачев читал:

— О Революция! Не все пропало.
Твой рыцарь ждет,
Не поднял он забрала.
Пусть прошлого смеются черепа!

— Пусть смеются! — рыкнул через папиросу во рту памятникомоподобный спутник и быстро вошел в двери театра, теремной красной громадой нависшего над крохотной фигуркой Ткачева. Все. Разговор окончен.

— Живет моя отрада в высоком терему, — серьезно полуспел-полусказал Ткачев и в состоянии сердечной пустоты и полной бездумности потопал по Малому Кисловскому, и, показав кулак небоскребу Моссельпрома, башня которого походила на корзину для бумаг некоего великана, свернул на Нижний Кисловский. Здесь он остановился, опять воздел кулак и показал язык.

Колокольчиком прозвенел смех барышни, одетой во все белое. Был месяц май.

— Чем же я вас так обидела? — спросила девушка.

— Вы очень милая, и, наверно, поэтому я вас не очень понимаю.

— И понимать нечего. Я вот как раз за тем окошком на седьмом этаже, куда вы грозитесь, работаю.

— Вот где живет моя отрада! — находчиво и непонятно воскликнул Ткачев, сразу осознав: судьба. Она была сероглазой, маленькой, русоволосой. Еще не дойдя рядом с ней до Воздвиженки, он узнал ее имя — Ольга. Там, в цитадели купли-продажи, она служит машинисткой. На Воздвиженке, под скалой Гибралтара, Ткачев понял, что круг замкнулся и разомкнулся одновременно: теперь он должен следовать за Ольгой. Метафорически в поздних записях он осмыслил все с ним случившееся так:

— Революция включила меня в конвейер социалистической культуры, она указала мне место в рабочем строю.

V

Мраморное, Эгейское, Ионическое...

Эти малые моря действительно синее Черного.

В 6.00, на заре, когда Князев встал на зарядку, «Федор Достоевский» проходил Дарданеллы. С обеих сторон пролива лежали плоские земли. На одной из них некогда Шлиман ковырялся над своим воображаемым золотом Трои. Дарданеллы. Синяя пороховая мечта России.

Не голова ли Байрона влажно кудрявится в кружевной пене Геллеспонта за бортом советского теплохода? Отнюдь. Тень от чайки. Вечно она летит за судном. Во всех морях одна и та же.

Князев разминался на верхней палубе. Там, в тени трубы, был специальный уголок здоровья — со спортивными снарядами, гантелями, гириями, штангой. Князев оздоравливался не один. Несколько человек из экипажа, пока корабль дрых, каждую зарю встречали здесь.

Соболев к своим сорока сильно окреп, налился какой-то чугунной стойкостью. Князева поразили его могучие ноги, округло ровные, как платановые стволы.

Неизвестный японец фотографировал восходящее солнце. На фоне солнца Князев махал ногами, держась за поручни трапа, ведущего вниз, к бассейну. С 6.00 до 7.00 бассейн работал для экипажа.

В бирюзовом квадрате бассейна раскинулась крестом — пупок кверху — маленькая фарфоровая Лена-два. Глаза ее были закрыты. Казалось, она всю ночь провела здесь.

В своей каюте, выйдя из душевой нагишом, он наткнулся на загорелое бедро бортпроводницы в короткой юбчонке, склоненной над палубой. Елена излишне смутилась, они взаимно извинились, она продолжила уборку, он быстро оделся и пошел на завтрак.

В кают-компания завтракали молча. Головы офицеров были влажными и причесанными волосок к волоску. Князев любил флотскую подтянутость. Ему стало стыдно за свои потертые джинсы. Он ходил в партикулярном, хотя морскую форму, положенную ему по чину, на всякий случай прихватил с собой и держал в чемодане.

Он быстро уничтожил капустный салат, котлету с пюре, запил компотом и встал уходить, по-флотски пожелав всем присутствующим приятного аппетита.

— Евгений Николаевич, — окликнул его капитан, — загляните ко мне, пожалуйста, в двенадцать ноль-ноль, если найдете время.

За полчаса до назначенного времени Соболев зашел к нему сам.

— Что-нибудь важное? — встретил его Князев.

— Абсолютно ничего. Просто захотелось по стопке с тобой пропустить перед обедом. Ты, кстати, не хотел бы домой звякнуть?

Вопрос поставил Князева в тупик. Домой? В том-то и дело, что сегодня, на заре, на зарядке, он как раз внезапно стал думать о доме. Уж не Лена-два ли, кукольно фарфоровая, вызвала в нем виноватую грусть по семье, по Дашке, по Инге, по развалу детских игрушек в комнате дочери-отроковицы?

— Ты экстрасенс, — вышел из тупика Князев.

— Насчет стопки или звонка?

— Вообще. А как насчет сумки, Сергеич?

— Ищем. Так что — идешь звонить?

— Давай вечером.

После обеда и адмиральского часа Князев выбрался на верхнюю палубу. Там он нашел пустующий шезлонг, повесил на него рубашку, остался в плавках, уселся и вытянул ноги.

Над Средиземноморьем стояла сплошная пелена туманной голубизны. Голый корабль мягко рассекал пластичную массу бесконечного водного зеркала, в котором отражалось небо, как две вселенских капли воды схожее с морем. Чайка, поджав розовые лапки, сопровождала Князева.

Пассажиры занимались своим ленивым пассажирским делом: пивом, чтением, флиртом, ровностью загара, картами, барахтаньем в бассейне.

Князев как бы внутренне готовился к разговору с женой.

Неожиданно для себя он ощутил тихую нежность к ней, нежность и жалость, и не обошлось без угрызений совести, безбожно запятнанной в течение многолетнего вялотекущего отторжения от всего, что у них было когда-то хорошего. На первых порах.

Сбежав от своей дружеской бражки, днюющей и ночующей у них во всех комнатах, они на пару приезжали в летнее Коломенское. По дороге к Москва-реке оба опорожнялись по кружке ледяного пива у ларька с видом на холм. С холма голубел звездный купол Казанской церкви, не заслоняемый негустой зеленью тополиной листвы.

Инга в воду реки не входила — боялась или брезговала, предпочитая море. Но на море, увы, не было денег. Да, море стоило денег. А сюда, на Москва-реку, хватало четырех метрошных пятак. Даже можно было перебиться без

пива — к реке с холма тек прозрачный источник, пахнувший подземной прохладой.

Они бросали вещички на траву. У ее плетенок и его сандалет похаживали голуби и чайки.

Он лежал на спине в мутноватой реке, глядя на белокаменный шатер Вознесения. Холм в древесных зарослях и этот летящий шатер — вот что давало небу его высоту. Воспарял ты тогда, Женя, воспарял и жену свою любил жадно и благодарно.

Человек в плавках, лежа читавший на палубе книжку, бросил через плечо недокуренную сигарету. Она описала дугу, воткнувшись в рубашку Князева на шезлонге. Мгновенно запахло горелым. Князев вскочил, сдернул свою любимую серую рубашку с шезлонга. Окурочек упал на палубу, дымясь.

Курильщик смешался. В его извинениях было большое обилие шипящих. Поляк. У, эти поляки! Князев не на шутку осерчал. На языке почти повис король Сигизмунд, интервент. Сам Князев был наполовину поляк. Материнская родословная — вся польская. А рубашка — женин подарок. Не так уж и часто она его баловала. Своей экипировкой он занимался сам. Угроздило же этого полячишку подпалить его в такой сентиментальный момент.

После ужина он зашел к Соболеву. Они дернули по стопке коньяка, Соболев пошел на мостик — судно проходило ответственный участок пути, Князев — в радиорубку. Он набрал по радиотелефону свой домашний номер. Трубку подняла Инга.

— Привет,— суховато сказал Князев.

— Привет,— в тон ему ответила она.— Ты откуда?

— Из Мессинского пролива.

— А не из «Якоря»?

— Увы! Всего лишь из Мессинского пролива. Иду между Сциллой и Харибдой. Мессина горит. Этна немножко извергается.

— Швейцар в «Якоре» прежний? Скажи ему, чтоб поймал такси.

— Швейцар в «Якоре» прежний. Но он в «Якоре». А я — в Мессинском проливе. Дай-ка мне Дашку.

— Она уже спит.

Князев не учел разницу часовых поясов. Здесь, между Сицилией и Реджоди-Калабрией, 22.00, там, дома, уже ночь, ноль часов.

— Инга, я не вру. В данный момент я нахожусь на самом носке Аппенинского сапожка, то есть огибаю этот носок, и я тебя люблю. В данный момент.

Она молчала. Она всегда считала его несколько помешанным. Его глюки ей осточертели еще в молодости. Он сказал:

— Посмотри на географическую карту, не надо смотреть на политическую, и убедись в том, что Сицилия существует, и я сейчас ее вижу своими глазами, и все, что я тебе сейчас сказал, истинная правда. Конец связи.

Он положил трубку на рычаг. Сердце его бурно работало. Пароход крутило в мощном водовороте пролива. Князев поднялся на пеленгаторную палубу. В кромешной тьме с крутой высокой скалы одинокий прожектор, вращаясь, испускал металлически прочный луч света. Море кипело. Судно трясло. Белую корму «Федора Достоевского» заносило то вправо, то влево. Заколдованное, зачатое место. Огни Мессины мглисто мерцали вдалеке. Над ней красным угольком тлела Этна.

— Одиссея! — восхитился своей взволнованностью Князев.

VI

В конвейер социалистической культуры Ткачева включила, строго говоря, Ольга. Незаметная машинистка Моссельпрома, маленькая и хорошенькая, на деле оказалась человеком с неисчислимыми связями, о чем она догадалась только по необходимости помочь Ткачеву. Около ее «Ундервуда» толкалось множество латентно влиятельных персон. В неслужебное время через ее руки

проходили рукописи многих знаменитостей. С ее легкой руки он попал и в кинематограф, и на страницы солидной партийной печати.

Ольга располагала тьмой-тьмушей сюжетов, в живом виде снующих по этажам Моссельпрома. Она весело болтала, Ткачев мотал на ус, ведя органический отбор. Но очевидным и окончательным толчком к пьесе послужило нашумевшее дело Краснощекова, директора Московского промбанка, который, имея революционное прошлое, разложился и запутался в финансовых аферах. В будущем Ткачев неоднократно откликнулся своими произведениями на реальные судебные процессы, связанные с безопасностью родного государства.

Но, прежде чем написать пьесу, ему надо было что-то делать с Колькой.

Кольке надо было дать фамилию.

Кольку надо было совместить с Ольгой.

Фамилия предполагала биографию. Этим Ткачев и занялся.

После пожара на площади Колька был водворен на Леонтьевский. Там не было потолка и уюта, но зато появилась Ольга. Вместе с ней появилось нечто другое, касающееся Кольки. Не память, но ее проблески. В том, как Ольга принялась наводить в холостяцком пристанище свой порядок, в этих ловких движениях рук и отмеренности каждого шага Колька трудно уловил что-то знакомое, и ему не надо было долго думать, чтобы догадаться, что в его жизни была женщина, давшая ему жизнь. Раньше ему и в голову не приходило ничего подобного. Киноплёнка его детства была спалена дотла, и только два кадра вдруг оживали перед ним в ночной темноте, когда он прислушивался к двойному ровному дыханию молодых супругов из-за ширмы с китайским узором, принесенной Ольгой. Кольке непонятно было, зачем им надо было спать вдвоем, — ничего похожего на то, что он не раз видел своими глазами в многоногой возне дружков с бесплатными папиросницами на чердаках и в подвалах, ничего такого у супругов не было. Они спали тихо, как малые дети, и вот как раз эту короткую сценку — давнее-давнее свое пробуждение в теплом молоке постельного белья — Колька теперь видел внезапно и отчетливо. Совсем близко от него дышала улыбка матери — черт ее лица он не различал, так близко оно было. Кадр обрывался, причиняя сердцу Кольки жестокую боль, потому что сразу же во тьме возникало совсем-совсем другое: какой-то овраг, горящая трава, волчий вой снарядов, синичий свист пуль, страшный грохот упавшего неба, дробный стук лошадиных копыт по лесной дороге, на которой полыхала повозка, брошенная лошадками. Он напрягал всю свою волю, чтобы не думать о том, кто сгорал в повозке. Он не хотел знать черт ее лица. Они тонули в дыму.

От Ольги веяло другой женщиной. Кольке шел примерно тринадцатый год. На каждое ее шевеление за ширмой его руки непроизвольно отзывались вздрогом и блужданием. Он страдал от страха. Кто-то беспощадно и постоянно следил за ним. Колька спал теперь не на голых табуретках. Ему был отдан прежний матрас хозяина, и ночь всякий раз начиналась с составления табуреток и настилания на них матраса.

Колька заметно рос. Еще в детдоме, до побега, он был записан почему-то как Трибогов, но Ткачева эта фамилия не устроила. Как-то Ольга затеяла разговор об усыновлении, на что Ткачев резонно заметил:

— Оленька, ты что, родила его в семь лет?

Она замолчала, продолжать не стоило. Ей нелегко было говорить о Кольке еще и потому, что она была болтушкой на темы посторонние, о своем помалкивала. Что-то болевое было там, в недолгом ее былом, но вся она была живой очевидностью хорошего дома, безусловно, разрушенного.

Ткачев засел за повесть. Сам собой, как лес, рос текст. Автор отменил прилюдного Трибогова, призвав по дурновкусию, как это ни печально, Езерского. Потому что повесть он задумал на прогулке по Тверскому бульвару, глядя на сутуловатую спину поэта. Ткачеву обрыдло толкаться в среде мелкотравчатых соискателей славы вроде Флягина, Ляшко или Лайдовского. Надо было доказать любимцу муз Чистосову, что он, Ткачев, тоже мастак. Это было тем сложнее, чем дальше отстоял соперник, по причине полного неведения о дерзком вызове и о самом существовании Ткачева. Оттуда, из небытия, автор из-

влекал и себя самого, и своего героя, и жизнь Кольки, и некое общее будущее, в котором все они смешаются, поставленные вместе с тем каждый на свое место.

Сюжет ему был невольно подсказан Ольгой — со слов разговорчивого следователя, задержавшегося на пару минут у ее «Ундервуда». В угрозыске недавно закрыли дело, не получившее по своей ординарности никакой огласки. Речь шла о гнилом безумце, плохо кончившем.

Трибогов (зачеркнуто) — Дмитрий Стефанович Езерский — автор говорит от первого лица — пишет исповедь. Он именует себя «поэт в отставке». Ему сорок шесть лет. Неясно, за что, однако в схватке с ненавистным режимом самодержавия он отбывает семь лет на каторге. Уходя в узилище, он оставляет в Москве беременную жену.

На каторге Езерский подружился с одним тихим умирающим эсером. Они обменялись сапогами. В эсеровских каблуках были вмурованы паспорт на чужое имя и десять золотых десятков. Сбежав из острога, он промерил всю Сибирь на восток. После долгих морских и сухопутных странствий Езерский очутился в Неаполе.

— Я сделался итальянским подданным. Это немного странное обстоятельство объяснилось исключительно непомерным желанием надеть широкополую шляпу с плюмажем и подбитые гвоздями ботинки итальянских берсальеров и отправиться винтовкой доказывать распаренной Австрии, что она, собственно говоря, в чем-то не права. В чем — не важно. С гордостью непомерной, единственной в этот день, я записался волонтером.

Повоевать Дмитрию Стефановичу не удалось. Ударил семнадцатый год. Волонтер продал все свое обмундирование старьевщику и на пароходе зайцем добрался до Одессы, а оттуда пешком до Москвы. Его жена к тому времени умерла. Сын потерялся. На революцию он смотрел из подвала и подворотни. Он стал созерцателем. Жил он — Ткачев поместил героя в своей комнатухе — голодно и одиноко. За стеной обитала малолетняя сирота Настя, зарабатывая на жизнь проституцией. Езерский из жалости иногда покупал для нее у мальчишек ириски. Однажды Настя — она была влюблена в Дмитрия Стефановича — принесла ему письмо, поистине роковое. Это было письмо с того света. Его написал приговоренный к расстрелу и таки расстрелянный человек с просьбой навестить его мать. Дмитрий Стефанович не знал этого человека, но письмо адресовано было ему, Дмитрию Стефановичу Езерскому. Настя, жалостливо глядя в глаза соседа, сказала:

— Вы опять кричали ночью, Дмитрий Стефанович.

Блуждая по извилистым улочкам Китай-города, Дмитрий Стефанович встречался с очень странным человеком. В калошах аршинной длины на босу ногу, в некогда добротном драповом пальто и буденовке, Северин Иванович Каталагин представился лектором клуба имени товарища Троцкого при одиннадцатом стрелковом полку. В прошлом он был учителем древнегреческого языка и российской словесности. Северина Ивановича изгнала из дому жена, недовольная всем его существом и мизерными заработками.

Пока они взаимно представлялись в темени Китай-города, откуда ни возьмись возник реактивный человек по имени Линг Чван-Чи, капитан русской армии, командир двенадцатой роты сто семьдесят пятого пехотного полка. Он потащил их в чайную «Лондон» на Мокрицком переулке, однако спохватился, потому что за ним идет погоня. В подтверждение его сообщения из кромешного мрака прозвенел голос беспризорника:

— Эх, поймали буржуя —
морду куцую,
наложили на него
контрибуцию.

Пехотный капитан затолкал интеллигентов в трамвай, и до Семеновской заставы, где они втроем вышли, они не проронили ни слова. Минуя черное кладбище, они отыскивали дом вдовы Гагариной. Езерского осенило: вдова Гага-

рина и есть мать расстрелянного автора письма. По пути к вдове Каталагин произнес:

— Здесь, в Благушах, пошаливают, ваше высокоблагородие.

— Челуха. У меня браунинг.

Достигнув двухэтажного дома за высоким забором, они забарабанили в ворота. Вдова Гагарина пропела в открытую форточку с редчайшей колоратурой:

— Без представителей домкома ни обыски, ни аресты произведены быть не могут!

Капитан сухо отрезал:

— Открывай, старуха!

Они вошли в небольшую комнату с железной печкой в углу. На круглом столе с гобеленовой скатертью сиял осанистый самовар. Хозяйка угостила их черным хлебом с чаем, а затем принесла и сковороду жареного картофеля.

На письмо сына она отреагировала спокойно, потому что о том, что он расстрелян, она знала.

Китаец сказал женщине:

— Вы должны нам помочь.

Она вскинула брови птичкой. Он продолжил особым голосом:

— Государь в Москве. Его величество государь император всея России Николай Александрович Романов Божией милостью жив и находится в Москве. Они с цесаревичем бежали за день до расстрела, а расстреляли манекен. Большевикские враки, что они убиты.

Вдова торговала самогоном, к ней от времени до времени врывались фабричные с гармошками, песнями, плясками и булыжными кулаками. Они привели за собой хвост из двух милиционеров. Капитан выхватил браунинг. Началась перестрелка. Милиционеры полегли замертво. Заговорщики пустились наутек. Затаившись в кладбищенских кустах, они тяжело дышали.

— Но куда мы теперь, господин капитан? — не выдержал Дмитрий Стефанович.

— К его сиятельству графу Лобзiku, адъютанту его величества.

Графом Лобзиком оказался часовщик Лобзик, крохотный неврастеник в перхоти, муж крупной женщины. Государь только вчера изволил одарить Лобзика титулом и чином, потому что поселился у него. Езерский и Каталагин ошарашенно вросли в паркет, когда государь собственной персоной вышел из отведенных ему апартаментов. Это был он. Его нельзя было не узнать. Езерский видел его раньше и воочию, и в тысячах фотографий и костюмов — от белого теннисного до блестящего гвардейского.

— Господа! Вы встали в мои ряды. Я тронут.

— Государь! — сказал капитан. — Старая столица с вами. Она ждет сигнала к выступлению.

— Так выступайте, — ровным голосом сказал Николай и обратился к хозяйину дома: — Граф! Не пора ли ужинать?

Капитан, Езерский и Каталагин скромно удалились по знаку капитана. Густая тьма стояла в Москве. Дул ветер. Выли собаки. Линг Чван-Чи внезапно исчез. Езерский и Каталагин поспешили по домам.

Настя встретила Дмитрия Стефановича грустью без предела:

— Если вы будете так долго гулять, я жизни решусь.

Он погладил ее по головке.

Было утро. Дмитрий Стефанович сел на пол у печурки с записной книжкой на колене. Настя принесла из аптеки льду для его горячей головы.

Как из-под земли, из-под пола выскочил на огонь печурки Линг Чван-Чи, желтолицый славянофил, рыцарь монархии, вооруженное вдохновение. Езерский вновь очутился на улице на пятках бегущего капитана. По пути они сняли с каталагинского крыльца зазевавшегося лектора.

— В Петровский парк! — выдохнул капитан.

Они опоздали.

В многослойной опавшей золотой листве лежал мертвый император. Его заколола ножом женщина, письмо от которой на квартиру графа Лобзика доставила вдова Гагарина. Злодейка, на правах бывшей любовницы, требовала невозможного — вернуться к ней, оставив на произвол судьбы несчастное Отечество. Государь отказал ей. Свидание закончилось ножевым ударом. Стая воронья кружила над осенним парком, производя оглушительный гвалт. Убийца сбежала.

Капитан привел извозчика. Они отвезли тело императора в морг. Выйдя из морга, Линг Чван-Чи застрелился, а Езерский с Каталагиным расплылись в разные стороны.

Дмитрий Стефанович Езерский повесился у себя в комнате на дверном косяке, свив петлю из рукавов итальянской рубахи. Похоронила его Настя.

VII

Можно ли подвернуть ногу в Помпеях?

Можно.

Это произошло с Евгением Николаевичем Князевым, немаловажным чиновником Министерства морского флота СССР, на сорок первом году его жизни в августе 1986 года.

В августе 79 г. до н. э. взорвался Везувий. Роковой месяц для сих мест.

Суеверная душа Князева сжалась. Как он мог соскользнуть с одного из этих огромных плоских округлых каменюг, пересекающих помпейские улицы на случай, кажется, потопа? Поколения людей веками спасались на них — Князев оступился.

Жаль. Предельно жаль. Начиналось все как нельзя лучше.

В Неаполе, сразу по ошвартовке, на судно взлетел коммерческий представитель пароходства в Неаполе Глушко. Он направился напрямиком к Князеву. Они обнялись. Князев как бы сконфузился:

— Васильич, ты не прав, надо первым делом посещать хозяина.

Розовый хозяйственник хохотнул:

— Ты и есть хозяин!

И они пошли к Соболеву. Там обсудили, куда податься. Глушко предложил несколько вариантов: его дом, ресторация, пленэр — что угодно, на выбор. Князев не огоршил, но чуть удивил приятелей:

— Хочу на Везувий.

— К вашим услугам, сеньор. Красивая машина ждет нас троих.

— Четверых, — поправил Соболев. Он поднял телефонную трубку, набрал номер: — Лена, зайди ко мне.

Обильная Елена сидела впереди, рядом с Глушко, ведущим «вольво». Ее открытые плечи хорошо пахли.

Князев и тут, в Неаполе, бывал когда-то. Странно, но древний Неаполь заметно изменился за минувшие почти четверть века. Он стал еще более торгово-портово-промышленным. Густой смог заслонял старинную цитадель на вершине городской горы. И еще поражало множество коммунистических автографов на стенах зданий и памятниках.

Глушко лихо вел машину. На улицах Неаполя это непросто. Вообще говоря, в южноевропейских городах-портах автомобильный хаос напоминал Князеву наш Кавказ: напропалую, без всяких видимых правил, гоняют водилы здесь и там в перманентных уличных пробках.

Глушко частил, излагая:

— Ребята, тут правят коммунисты. Безработица — хулиганье лютует, туристы боятся приезжать, гостиницы пустуют. Нашего Горбачева пылкие макаронники держат за предателя идеи.

Блеклый конус Везувия постепенно надвигался на Князева. Чего ему, Князеву, там, собственно, надо, на Везувий? А ничего особенного. Просто знал: предстоит выпивка, а сердце и так уже ходуном ходит от этой тупой духоты, и если уж подышать воздухом, так в присутствии вечности.

Сухая, выжженная трава шумела на рыжих склонах вулкана. Паслись белые козы. Над жерлом серел легкий дымок остановившегося облачка. Оливы и пинии спали непробудным сном. В их тени пилося легко и спокойно. Пили «Чинзано» с тоником. Все было в точности так, как бывало в Крыму, где-нибудь на скате Кучук-Енишара. Весь оком занимал подернутый зноем и смогом Неаполь с черной точкой Капри неподалеку. В ногах Князева лежали Помпеи.

Город походил на собственный план. Это был каменный чертеж, очень точно продуманный и выполненный. Непокколебимая прямизна линий невольно казалась заслугой Везувия, задумавшего этот город как поле своего действия.

Князев быстро и легко опьянел. Ему все нравилось. Нравилась и роль Елены, весьма неясная, кроме одного: накрыть им на лужайке стол, обслужить и усладить глаз. Остальное в туманце. Кому полагалось вкусить плодов этой яблони?

Глушко трещал:

— Итальяшки такие же раздолбаи, как мы. Даже больше. Потому-то и бюрократизма тут еще больше. Любое движение моего пальца я должен снабдить минимум тридцатью бумажками, каждая за тридцатью подписями. Ребята, я тут сдохну не от жары, а от формализма и коммунизма. Вам смешно? Мне нет. А вчера мотоциклист сорвал сумку с плеча моей супружницы. Я ей говорил: «Не ходи пешком». А она одесситка. Она хочет ходить у моря. Какое тут море? Видели залив? Сточная лужа.

Решили спуститься в Помпеи.

Полуголые косцы серпами косили сухую звонкую траву. Серпы визжали. Остро пахло сеном. Кружило голову. В мертвом городе гулял запах человеческой плоти. Помпейские фрески законсервировали жар древних соитий. Юный бронзовый Приап гомерическим орудием своей божественности грозил Везувию. В доме трагического поэта на полу живо дышала мозаика, изображая черного кобеля, и могучие признаки его пола, выложенные белой смальтой, победительно светились сквозь тысячелетнюю тьму любой гибели.

Князев остутился, выйдя из дома поэта.

— Подвернул копыто,— произвольно произнес он, чуть не радуясь.

В Помпеях жила поэтесса. Она соперничала с тенью Сафо. Ее муж отвечал в городе за коммунальные службы. Чистота улиц, водопровод, канализация и прочее — все это хозяйство лежало на его плечах. Тропические ливни падали на город. Мощные потоки воды, несущие грязь, мусор и камни, затапливали Помпеи, низвергаясь со склонов Везувия. Муж поэтессы выстелил улицы плоскими камнями, огромными и округлыми, как коровьи лепешки самой Ио. По ним помпеянки перепрыгивали через грязевые реки.

Поэтесса чаще всего посещала дом трагического поэта. Там она знакомила изысканную публику — городскую знать, интеллектуальную элиту провинции — с новыми плодами своего неутомимого стилоса.

Однажды, во время ее чтения, грянул непроглядный ливень.

Поэтесса погибла, не дойдя до дома. Она утонула в бурном море природной грязи и людских фекалий, прорвавших плохо укрепленную ее мужем систему.

Трагический поэт создал трагедию памяти поэтессы. Он собрал в своем доме отборных знатоков латинской словесности. Актеры играли отменно. Успех превзошел все ожидания.

Перед сном поэт отправился в баню напротив своего дома. Он знал семьдесят банных процедур. Каждой из них он снимал с себя все слои многолетнего утомления, затвердевшие от перенесенного им горя.

В это время взорвался Везувий.

Огненная лава затопила потрясенный город.

Поэт погиб, не успев перейти улицу.

На пороге бани, смотрящей на его дом.

На полу которого лаял черный кобель.

Конец баллады.

Ее придумал чиновник Князев, лежа на заднем сиденье «вольво», машина неслась в порт. Голова Князева лежала на горячем женском плече. Друг его юности капитан Соболев сидел впереди, рядом с затихшим Глушко, оба нервничали.

Князев блаженствовал. Ему было тепло и уютно, как в детстве, при теле мамы, отогревающей его в болезнях и ребяческих несчастьях. Он закрыл глаза, и веки его были влажно горячими. Правая щиколотка распухла.

Роль Елены, кажется, определилась.

Искры вылетели из глаз Князева — судовой врач резко дернул его за правую пятку. Доктор успокоил:

— Несмертельно. Но надо полежать.

Князев лег у себя в каюте, положив голову на подушку, как на плечо Елены. Он задремал. Когда открыл глаза, на рундуке обнаружил картонный ящик. Князев заглянул в него. Напитки. От Глушко.

Он открыл рундук — засунуть туда ящик. В глаза ему, как пантера, бросилась черная сумка.

— О Господи! — хрипло простонал счастливый Князев и похромал к Соболеву.

— Ты знал о том, что она в рундуке?

— Знал.

— В чем же дело?

— В том, что я не знаю, откуда рубли.

Князева не устроил этот ответ. Он начал с начала:

— Как она оказалась там?

— Зашла Елена, ты спишь, навела порядок, и все.

— Почему же ты молчал?

— Потому что я не знаю, откуда рубли.

Князев вернулся к себе. Откупорил одну из бутылок «Чинзано». Выхлестал стакан. Черный опыт всколыхнулся в нем. Князев анализировал. Заработала машина по его ликвидации. Идет селекция. Слабаки отсекаются. Он, Князев, слабак, Соболев выбран орудием его отсева. Теперь не мочат по-уголовному. Теперь подмачивают репутацию. Впрочем... Кто в его конторе не знает о его досугах? Это не криминал. Тут он не белая ворона. Отнюдь. И даже напротив. Как все. В зависимости от состояния здоровья. И все же он выродок. Кривой познобочник, белая косточка, долгоносое уныние в бравых рядах.

Соболев. Черт поberi, неужели эта бредятина, что лезет нынче в башку,— правда? Валерка Соболев. Лихой орел мореходки. Первый боец в уличных драках за честь морских клешей. Нарушитель казарменного режима, герой самоволок, пират портового эроса. Соболев! Ты ли это?

Князев выглушил бутылку. Захотелось на воздух. На верхней палубе было черно и безлюдно. Звездное небо вместе с судном шло на Африку. Справа горел по-прежнему высоко Марс кирпичного цвета.

Маленький араб с тыковкой голой головы вынырнул из тьмы у плеча Князева, заговорил по-русски о хорошей погоде. Наткнувшись на досадливое молчание Князева, арабчик сообщил, что он из Йемена, не уточнив, из какого — Южного или Северного, но Князеву было все равно, к тому же между этими Йеменами происходит вечная потасовка. Печально человек погладил Князева по волоскам его бледной руки, опертой о поручень. Князев резко выпрямился, развернулся и пошел своей дорогой.

Дорога Князева прошла по прогулочной палубе и привела его в бар на веранде. За стойкой стоял Терентьев.

— Коньяк?

— Коньяк. И, кстати, хочу вернуть должок.

— Как хотите.

Князев рассчитался с ним итальянскими лирами и сел за отдельный столик. В баре помаргивал полумрак. В углу работал телевизор. Показывала Ита-

лия. Какой-то лирико-мафиозный триллер. В струении зеленоватого света, идущего от экрана, Князев хорошо различал довольно большую компанию людей за длинным столом, меж собой почти не разговаривающих. Во главе стола восседал полноватый господин средних лет. На нем была белая хламида. Перед ним мерцало ясным серебром ведерко с бутылью шампанского. Рядом с ведерком поблескивал единственный на весь стол бокал. Семь-восемь кудрявых юношей окружали господина, отхлебывая кофе из белых чашечек. Их рубахи до пят отливали желтизной, голубишной, оранжевостью и лимонностью.

Мимо Князева прошел доктор, спросив на ходу:

— Не лежится?

— Не лежится.

— Лучше бы лежалось.

Подбежала Лена-два, бойкая, маленькая, с лицом подростка. Глаза ее горели. Она была на работе — официантка бара.

— Что-нибудь еще?

— Здравствуй, Ленбк. Все есть. Что это за люди? — Князев кивнул незаметно на таинственный стол.

— Принц из Эмиратов, — шепнула она. — Все лето катается. А это его гарем. — Она машинально протирала тряпкой столешницу перед Князевым.

Неожиданно для себя Князев спросил:

— Ты тут до какого часа?

— До утра!

— Жаль!

Голова его стала тяжелеть. Но мысль пробилась к нему ясная и легкая: стиль отношений с Соболевым не менять, ничего не случилось. Он, Князев, пока что совершенно чист. Так и надо держать.

Он заснул у себя в каюте под утро перед тремя опустошенными бутылками «Чинзано». Его неседущая голова лежала на руках, сделавших икс на круглом столике в красных пятнах вина рядом с телефоном.

Какие, к чертям, валютные операции?!

VIII

Сергей Михайлович сказал Саше:

— Дай-ка мне каши.

Она ничуть не удивилась, хотя было уже почти полпятого — и отнюдь не утра. Она хорошо знала хозяина и сейчас видела, что аппетита у него нет, это он так, для порядка, да и Ольга Олеговна велит им обоим кормиться через не хочю.

Она, откинув короткую льняную косу с груди, нагнулась над электроплиткой, где в кипящем молоке взбухали овсяные хлопья. Алюминиевая кастрюлька, начищенная Сашей до блеска, прыгала на красной спирали. Саша помешивала булькающее варево, недоумевая, зачем все-таки Ольга Олеговна все время переставляет электроплитку со стола на табуретку; Ольга Олеговна берегла клетчатую клеенку на столе, считая, что раскаленные ножки плитки наследят на ней, а Саша боялась пожара и не доверяла коварному дереву табуретки.

Сергей Михайлович вообще-то не пускал домашних в кабинет, даже убирал там самостоятельно — подметал широким веником пол и вытирал влажной тряпкой стол, настольную лампу, стеллажи и шкафы с книгами, корешки книг, кожу и дуб дивана. Питаться он выходил в гостиную, где, кроме стола и буфета, находилась и кушетка, на которой по ночам жила Саша. На кухню он никогда не заглядывал, разве что иногда рассеянно забредал набрать из-под крана сырой воды в стакан, за что всякий раз получал нагоняй от Ольги Олеговны:

— С твоим желудком!

Но в трудные часы, когда он не выходил из кабинета, Саша относила овсянку ему прямо туда, ставила тарелку на стол, предварительно застелив его круглой вышитой салфеткой, и Сергей Михайлович, тяжело наклонясь над сто-

лом, поспешно и черство расправлялся с кашей деревянной ложкой, молоко допивая через край тарелки.

С некоторых — недавних — пор телефон, раньше стоявший на тумбочке в прихожей, он перенес к себе в кабинет, для этого вызвав телефониста. Тот был озорным паренком, заигрывал с Сашей, тыкал молотком по маленьким гвоздочкам вдоль длинного шнура, Сергей Михайлович прогнал Сашу на кухню, неотступно следовал за работником и не позволил вскрывать аппарат, когда связист предложил на всякий случай проверить телефонные потроха.

— Не надо, — строго сказал хозяин, — с аппаратом полный порядок.

Когда щедро вознагражденный паренек ушел, Сергей Михайлович несправедливо проворчал:

— Жучок...

Саша была в нелегких обстоятельствах. Ей шел девятнадцатый год. Закончить десятилетку, как все обычные дети, Саша не могла. Когда Николай Дмитриевич привез ее в Москву и ее взяли к себе Ткачевы, она с трудом говорила — это было что-то более серьезное, чем простое заикание. Где ее родители, она не знала. Откуда ее привезли и где подобрали, тоже не знала. Кроме того, ее родным языком был белорусский, из партизанских лесов которого ее память долго не могла выйти. Вот где-то там, в тех лесах, все ее главное и святое задержалось, как ей долго казалось, навсегда. Вечернюю семилетку она все-таки постепенно осилила. Ей хорошо было в доме Ткачевых, здесь каждый знал свое место, делал свою долю работы, это было ее семьей, но сердце не камень, и оно растопилось по совсем не соответствующему ее существу поводу, а впрочем, как знать, может быть, как раз и вполне соответствующему: советская молодежь уезжала на целину, и ее, Сашу, позвал горн героики, и она, Саша, хотела добра и подвига, — в общем, грудь ее изнутри была оплавлена, и Саша наладилась уезжать.

Ткачевы воспрепятствовали ей. Особенно против был Николай Дмитриевич, почти Ткачев.

Они все вместе собрались в гостиной на семейный совет. Николай Дмитриевич сидел с ней рядом на кушетке и горячо говорил:

— Сашенька, милая, твой порыв прекрасен, ты настоящая советская девушка, и я не хочу страшить тебя трудностями, я знаю, ты смелая, но я бывал в тех краях, там и пугаться-то нечего, потому что там ничего нет, там просто пусто, голая пустыня, ни одного живого существа, кроме коршунов в небе, ни одной души, ведь ты же знаешь, какая ты... замкнутая, как трудно тебе сойтись с незнакомыми людьми, тем более со сверстниками, людьми ой какими лихими. Едем мы, друзья, в дальние края, это замечательно, и страна ждет от них невиданных урожаев, но, Сашенька, при чем тут ты? Ты горожанка, милая, посмотри на себя, какая ты тоненькая, хрупкая.

Сергей Михайлович при этом разговоре испытывал чувство, ему крайне неприятное, потому что двойственное. Не кто иной, как именно он был из тех наставников молодежи, кто звал ее, молодежь, на покорение новых земель во всех смыслах. В данном случае он видел полную нелепость девичьего замысла. Колька прав: делать там ей нечего. Да и как они, старики, будут здесь без нее? Нет, это не годится. Но пусть лучше говорит Колька, у него получается.

Ее убедили. Она распаковала свой чемоданчик, недавно купленный рядом, в Военторге, возвратила на плечики пару платьев в общий гардероб, поплакала в ванной — вернулась домой.

В те дни все в доме ощутили, как она дорога им. Сергей Михайлович и представить не смог, что он, проходя ночью из кабинета в туалет через гостиную, не обнаружит ее живой комочек на кушетке. Ольга Олеговна просто почти заболела, когда вообразила на миг эту большую квартиру без шороха Шашины передвижений, без чистого запаха ее волос и кожи, без звука ее редко пробивающегося наружу родникового голоса, — больше, чем кто-либо, Ольга Олеговна ценила ее девичью прелесть, видя в ней самое себя тридцатилетней давности, не растворившуюся в страшном пространстве этих пролетевших десятилетий.

Ольга Олеговна была проникательна, она прекрасно видела подоплеку Сашиного патриотического энтузиазма. Николай Дмитриевич, произнесший свою проникновенную речь на кушетке, содержал в себе причину смятения многих женских сердец. Он слишком глубоко присутствовал в судьбе Саши, в ее детстве и взрослении, и дело было не только в этом, не только. Саша и предположить не сумела бы, когда все это началось. Задолго до ее появления на свет Божий.

Бредовая и лукавая повесть, упавшая с легкого пера молодого Ткачева, безошибочно подействовала на беспризорное воображение Кольки. В полумраке, при стеариновой свече — электричество в доме систематически гасло — Ткачев прочел ему исповедь Езерского, и Колька поверил во все. Еще бы. Ткачев предъявил ему живую Настю, печурку, дверной косяк, итальянскую рубаху. Тут же, закончив чтение, он сжег рукопись в печурке.

— Отец завещал тебя мне. Ведь он наблюдал за твоей жизнью на Театральной площади, он попросил меня взять тебя в кино.

— Почему же...

— Да, я знаю, о чем ты хочешь спросить. Почему же он не подошел к тебе? Он был беден, Коля. Он ничем не мог тебе помочь. Он ждал, что ты сам встанешь на ноги, начнешь жить по-новому.

Ткачев был доволен собой. Он создал то, что не снилось никакому Шекспиру. Это была драматургия демиургического уровня. Вот он, герой во плоти. Живой мальчик с большими синими глазами. Более того, с обретенной биографией, с горьким знанием своей — предшествующей ему — жизни и с определенным будущим. Ткачев был убежден в том, что Колька — прирощенный артист.

В любом случае он сам сплел и сам обрубил нити, связавшие Кольку с неким родовым прошлым помимо него, Ткачева. Вся жизнь теперь шла к его подпечному из его, ткачевских, рук.

Он так думал.

Жизнь думала по-другому.

Ольга навела порядок: уют и быт. Появился потолок. Колька пошел в школу, но поначалу было неясно, в какой класс ему ходить, поскольку ступеньки его познаний были самой разной и неравной высоты. Хорошо читая, он почти не умел писать, а в арифметике и вовсе ничего не смыслил. Со временем все утряслось. Ольга занималась с ним дома теми предметами, по которым он отставал, и он легко и гибко поддавался натаскиванию. Ткачев задерживался вечерами на съемках, электричество в доме систематически гасло, Ольга зажигала стеариновую свечу, в тихом потрескивании которой ее голос, читающий сказки Пушкина, был для ее слушателя голосом ангела, или птицы, или золотой рыбки. Она и его заставляла читать вслух русские стихи, у него не выходило — он задыхался. Он плакал. Даже над проделками Балды. Она смеялась и тоже почему-то плакала. За стеной стоял пьяный галдеж. Настя, которую все звали Тоськой, была не очень похожа на ту несчастную девочку, о которой рассказал в своей исповеди Колькин отец. На взгляд Кольки, она только притворялась такой убогонькой, а на самом деле нахальству ее не было конца. Да что говорить, бесстыдницей была Тоська. И не только потому, что водила к себе этих жирных котов с Тверского, — она и Кольку среди белого дня прижала к стене темного коридора и ни с того ни с сего сделала с ним то, о чем он, честно говоря, давно пугливо мечтал. Он потом на эту грязную часть стены, у которой они жадно задыхались, а она еще и прихихатывала, на эту позорную часть стены он смотреть не мог без стыда — без стыда и без желания повторить бесстыдство. Но Тоська больше не давала ему такой возможности и вообще не замечала его. С ним случилось непоправимое. Он смотрел теперь на Ольгу другими, голыми глазами, и при свете свечи ее лицо исчезало, как бы заменяясь другим — недостижимо небесным и тяжело влекущим. Он ловил себя на том, что его руки хотят поймать и ее лицо, и ее плечи, и всю ее, он до хруста сплетал пальцы замком, и, когда Ткачев за полночь возвращался домой, осторожно проходя за

ширму, оба они — Ольга и Колька — уже спали, и Колькины руки во сне метались, словно сами видели удушливый сон. Ткачев слышал его учащенное дыхание, беспокойное вращение на сдвинутых табуретках, и Ткачеву было ясно, что Кольку пора все-таки отдать в детдом.

Так и сделали. Детдом находился поблизости, и они сообщались регулярно. В действительности они разлучались только по ночам. Вечерами Колька все равно прибегал к ним, они ужинали, разговаривали, если, конечно, Ткачев был дома, а если его не было, Ольга посвящала ему свое время и большую долю любопытства, если не любви.

Шли годы. Ткачев прославился, пьеса его шла в первых театрах Москвы. Колька окончил школу. Будучи лучшим, живым персонажем ткачевской драматургии, он стал огорчать своего создателя. Став Езерским документально, Колька жил по-своему и не держал в своих планах артистическую карьеру. Планов он вообще не имел, ибо вырос человеком стихийным, легким, безалаберным — на взгляд Ткачева. Впрочем, усложнение творческой задачи лишь подстегивало творца, и волевым усилием Ткачев все-таки втянул Кольку в свою творческую орбиту, дабы тот кружил не только по внешней стороне эллипса. Колька попал в театральное закулисье. В Театр Революции, где по уходе Мейерхольда при замечательном директоре Мате Залке прогремела пьеса Ткачева, Колька проходил азбуку театра, будучи вперемежку монтажером сцены, осветителем, немного гримером, чуть-чуть костюмером и выходя временами в мимансе. Но все это было не по нему. Все в театре, к чему Ткачев по своей влиятельности пытался его приткнуть, вызывало в нем волну противоречия. Он не хотел играть. Он не хотел славы. Артисту хочется надеть фрак, смокинг, макферлан на шелковой подкладке — Езерского устраивал обыкновенный пиджак, впрочем, модный, с узкой талией. Театру Революции он предпочитал балаган «Кривого Джимми», жалкую потеху мелких буржуа.

— Это аномалия,— в лицо ему говорил Ткачев.

Колька соглашался, но заявлял:

— Каждому свое.

От службы в рядах Красной Армии Колька сумел увильнуть, это произошло вне ткачевского патронажа. Ни в какой вуз он не стремился, но читал много, перекопал всю библиотеку Ткачевых, обитавших все еще на Леонтьевском. К ним Колька иногда заглядывал с ночевой, но жил, по его слову, где-то.

— Где?! — требовала точности Ольга.

— Где-то!

Она делала вид, что не понимала, а ведь все было просто: у девочек кордебалета, у веселых вдов и советских эмансипе, у закадычных дружков, бездельников его ряда.

В таких обстоятельствах Николай Езерский написал роман. «Пламя в бичузе». Пухлую рукопись он принес Ткачевым. Они изумленно прочли ее. Роман был посвящен восстанию североафриканского племени кабиллов против французских колонизаторов. По авторской воле на берберский берег был выброшен русский моряк, ставший мозгом кабийского мятежа. Ткачев возликовал:

— Так ты революционный писатель!

Колька немного вкось кивнул, соглашаясь. Да, он сыграл в поддавки — в конечном счете не вырвался из общего замысла Ткачева. Но ход его был неожиданным и не без эффекта.

Роман при бурном участии Ткачева был издан. Его не заметили. Беллетристика у Езерского больше не шла, и он ушел в эстраду, в оперетту, в цирк. Их специфическая словесность послужила Езерскому основанием называться драматургом, вступить в Московскую ассоциацию драматургов и подать заявку на квартиру в кооперативно сооружающейся двухэтажной надстройке над старым московским домом. Ткачев посодействовал. Они стали соседями.

Однако Ткачев принципиально не знал номера его квартиры.

IX

Князева пробудила, раздела и провела в душевую Елена. Сердце Князева бухало. Холодная вода падала на каменную голову, как помпейский ливень. Поистине жесткая была вода. Средоточие известковых солей.

Головная боль немного оттянула на себя боль в конечности.

Весь мокрый, он рухнул на койку. Елена была рядом. Или ее не было. Он плохо соображал.

Африканская жара слонем Ганнибала наступила ему на грудь. Ему хотелось в «Яму». Заныл зуб. Подушка стала целиком сырой.

Прозвенел телефон. Голос Соболева звучал еще гуще:

— Как ты там?

— Неважно.

— Поможем.

Ты сможешь. Не сомневаюсь.

Впорхнула Лена-два. Она принесла немецкого пива «Хольштейн» — пять банок в бумажном пакете. Он влил в себя первую банку не отрываясь. Затылок, склеенный с подушкой, все еще заполнял камень.

О, камни Европы! В Африке вы тяжелее.

— Где мы? — спросил он.

— В Алжире, Евгений Николаевич. Пойдете на берег? Или будете отдыхать? Лучше бы вы отдохали, там ужас как жарко, воняет вареными бараньими желудками, и вообще тяжело жить, — тараторила Ленок.

— Ленок, — уточнил он вслух имя, которым окончательно решил ее называть.

Он лежал перед ней — рыхлая развалина древнего рода, на ее глазах продолжая разрушаться в узиле длинной каюты, в скомканном постельном белье, насквозь промокшем, под турбореактивный грохот вентиляторов. Все у него ныло — голова, зуб, щиколотка, все тело. Она стояла перед ним — беленькая, чистенькая, только что из бассейна. Из лазоревой водицы. Из другого мира. Из другого?

Не получится.

— Сядь сюда, Ленок. — Он положил руку ладонью кверху на край койки. Она тотчас присела, и ему примнилось, что она норовила попасть прямо на ладонь, и, если бы так произошло, она уместилась бы там вся. Острые красные коленки смотрели врозь. Он разглядывал ее сбоку, отмечая: шея, пожалуй, коротковата, уголки плеч разлетелись чуть шире общего рисунка фигурки, позвончик заметно змеится, обозначив легкую сутуловатость.

— Рассказывай.

Она только этого и хотела. Из нее полилось. Все, что она говорила, называлось «конец света». Море — конец света. Ее работа — вообще конец света. Терентьев? Сами понимаете. Как не понимаете? Конечно. (Она говорила «конечно» почему-то по-петербургски через «ч».) А как же! А то бы он ее держал! Сейчас? А, надоело. А что он ей сделает? У нее дома нет. Вообще-то он есть. Далеко-далеко. Аж в Туле. Дочь. У мамоньки. Два годика. А сама вот в Одессе этой очутилась. Долго рассказывать. Был муж. В общем, как муж. Бил. Сбежала в посудомойки, в ресторан. Там Терентьев ее нашел. Вот она при нем. Тучки. Доллары, доллары. Чаевые. Кооператив будет строить. У девчонок получается. Два-три года надо, чтоб сумма была нормальная. Трат много. Дочке надо помогать, Терентьеву отстегнуть. Петька? Тот? Югослав? У них там с Терентьевым бизнес. На флоте это «школа» называется, вы же знаете. В Турции возьмет — в Одессе загонит. Все так делают. А то вы не знаете. Без жилья почти все. Стали бы гробиться в море. Через пароходство квартиры не дождешься. Заколачивают на «школе». Все, все. У матроса зарплата восемьдесят рэ. Конец света. Вон наш банщик — в сауне еще не были? — вообще на судне живет. С девками через «до востребования» любовь крутит. Нет, в Алжир не хочется. Алжирское вино? У нас, СССР, с Алжиром, между прочим, осложнения из-за этого вина. Раньше закупали без ограничений, потом отказались, и Алжир

обеднел. Нет, не пробовала. Говорят, на «Солнцедар» похоже. Это пила. С него начала. От «Солнцедара» и дочку заимела. В девятнадцать лет. Бедная моя мамонька. А вообще-то я сама, кажется, от алжирского вина как раз получилась. Отец-то неродной. Тоже не просыхает. Оружие кует с друзьями — мы, туляки, все оружейники. Не знаю уж, чего они там накуют. Все не просыхают. Скучаю. Ой, скучаю! Стала пить — вот плохо.

Типовой случай.

От головы ее физически веяло легчайшим жаром какой-то маленькой безымянной пустыни, прогретой изнутри тульским, что ли, самоварным солнышком. Он коснулся губами рыжеватого вихра.

Тотчас отвалился на подушку.

Она не шелохнулась. Примолкла.

Не получится.

Она легла рядом. Они спали до ужина. Затем она убежала на работу.

Он проснулся уже в Радесе.

Это Тунис.

Яркая зелень огромной бухты в белых барашках бурунов била в глаза. Бухта походила на открытое море... Дул сухой ветер.

Первым на берег сошел белоснежный принц в сопровождении своей свиты. Его встречало несколько машин. Через некоторое время с какой-то площадки совсем неподалеку взлетел небольшой самолет.

— Принца папаша затребовал,— сказал Князеву Соболев. Они стояли на мостике.— Чуть у нас повара своего не забыл, заснул парень на камбузе. Что-то денек начинается с неприятностей. Местные портовые власти нашли у нас какой-то неучтенный алкоголь. Намерены штрафануть.— Соболев пристально взглянул на Князева.— Ты рундук-то запираешь?

— С некоторых пор.

— Не хочешь покататься по Тунису? За тобой намерен заехать кто-то из посольских. Кажется, советник по культуре.

Серебристый «пежо» катился в Карфаген, предместье города Туниса. С посольским советником были его супруга и семилетняя Оля, дочка. С Князевым — Ленюк. Супруга поминутно рвалась затеять беседу на любую тему, а советник автоматически четко обрывал ее:

— Потом расскажешь.

Белые виллы нового Карфагена утопали в субтропической зелени. Было время сиесты. Карфаген спал. По улице одинокий юноша нес на голове лоток с цветами, похожими на жасмин. Африканское солнце палило. «Пежо» нагревался. Надо было проветриваться. Вышли на береговую кромку. Высокие волны раскаленного изумруда грохотали у ног, вдали, во весь горизонт, до небес. Оля прыгала по камням старокарфагенских руин, играя с приبلудной драной кошкой.

В Национальном музее Туниса голый бронзовый Геракл полуметрового роста на колонке подставки размахивал палицей, одновременно справляя легкую нужду,— бронзовая струйка была выполнена на редкость искусно.

— Терентьев меня бросил,— шепнула Князеву Ленюк.

И в Тунисе — конь. Внушительная конная статуя Бургибы, патриарха тунисской свободы, пребывающего где-то в изгнании — кажется, в городке Мо-настирь,— высилась на авеню его имени. Советник сообщил:

— Этого конника здешние русские называют Чапаевым.

Ах, какие хорошенькие тунисочки мелькали за окном «пежо»! Юная негритянка на перекрестке показала пролетающему Князеву язык. Он чувствовал себя молодцом.

Просияли озеро и крепость на островке, где некогда томился в неволе вождь и учитель Бургиба. За спиной Князева щебетали птахи — советница утихла.

Летящей горю за мною несется Вчера. Вот и стихи всплыли в князевском мозгу, заваленном не стихами.

Показался зеленый холм. Пасущиеся серые ишаки расплывались на сером фоне древнеримского акведука. Жирные бараны бродили по гладкому склону холма.

Подъезжали к колизею.

Вышли наружу. Здесь было тенисто и прохладно — кусок субтропического Эдема: пальмы, кипарисы, сосны, мимозы, да розы, да олеандры, да жасмин. Колизей тихо шумел голосами тысячелетий.

Они вдвоем прошлись по ярусам — выщербленным серым камням, начальное тепло которых накопилось еще в гладиаторские времена под копчиками нетерпеливых карфагенян. Семейство советника расположилось под широким крылом сосредоточенной пальмы.

Львятник был зарешечен. Его каменное углубление зияло мраком. Львы ушли в пустыню двадцать веков назад. Два средневековых французских монаха провели в холоде львятника долгие десятилетия — их скелеты потом лежали здесь века.

Князев шевельнул решетку. Ее край отошел от глухого камня стены и дал им войти во тьму. Вдали — извне — что-то шелестело: то ли растения, то ли голоса древних зрелищ, то ли внутрисемейная перебранка князевских спутников. Тьма разредилась немного — до различения девчоночьих фарфоровых очертаний. Двое живых заглянули в погреб смерти. Они мгновенно обнажились, скинув с себя все до нитки. Летучая мышь прозвенела над его ухом. Он забыл себя и не помнил ее. Они быстро и совместно разрешились от гнета полной слиянности. Ничего подобного никогда не было ни у него, ни у нее, ни во всем львятнике вселенной.

Она забыла там свою белую греческую босоножку. На жгучих камнях карфагенского амфитеатра продолжал петь Воронежский хор, гастролировавший здесь прошлым летом.

В Триполи они не сошли с судна. Она прибежала к нему на заре, из бассейна. На стук в дверь — Князев узнал руку Елены, пришедшей с уборкой, — он не откликнулся. Леночка дышала коньяком.

Пароход обдавало пламенным хамсином из Ливийской пустыни. Заправляться водой капитан тут не решился — по Ливии ходила холера. Кроме того, полковник Каддафи сэкономил воду.

Две древних крепости на берегу смотрели в густо-зеленую — совершенно исламскую — воду Ливийского залива.

В иллюминатор Князеву была видна площадь Зеленая. Над ней летел бронзовый конник на тонкой каменной стреле. За площадью ясно голубели большие купола президентского дворца.

В Триполи не было ни души. Вечная сиеста. В пустоте улиц сама по себе бродила пыль.

Жара сковала пароход. Все — экипаж и пассажиры — попрятались по железным норам.

Князев не смог бы себе объяснить, зачем он рассказывает этому подростку о той жизни, которая преследовала его летящей горой. Зачем ей было знать, скажем, о судьбе актера Ливанова, если она слыхом не слыхивала про слово «рецензия»? Что говорит ей слово «цензура», если оно прилетело к ней в школе из страшных учительских сказок о Пушкине А. С. и туда же вернулось?

Его поразил ее дар внимательности. Это был плотский дар — она впитывала его словесный поток всем телом, реагируя на него вибрацией нервных окончаний, приливом чисто женской горячей влаги к каждому его слову, чаще всего не сказанному, окаменением кома, подкатывающего к ее прозрачному хрупкому горлу. Горлу ребенка, упавшего на нож при игре в тычку. Вернее всего, князевский язык был для нее пением муэдзина для неарабского уха. Но он жаловался женщине, кажется, впервые в жизни. Он знал: ей хуже.

Терентьев заявил ей, что она может считать себя уволенной.

— Рейс кончился — иди на все четыре стороны, — спокойно сказал ей бармен еще там, в Алжире, когда она прибежала на работу из каюты Князева.

Ее мечта о доме, таким образом, накрылась. Медным тазом. Князев вынужден был принять эту жертву, не ища себе оправданий и все же в заначке имея их: он понимал случайность своей персоны в этом сюжете. Она, кажется, принадлежит к породе самосожженок, отчаянных дурех, безалаберных русачек, раскинутых по всем морям и землям. Как те «здешние русские», о которых упоминал советник в Тунисе,— повыскакивали за чужеземцев, понарожали детей, увязли в чужом песке, стоном стонут.

Чем же пожертвовал он? Да ничем. С него все как с гуся вода. Он сейчас вдруг понял, что его мимолетная связь с любовницей бармена работает в его пользу, как ничто другое. Его поступок, на чей-то заинтересованный взгляд, вывел его из плоскости якобы коммерческой в чисто отпускную, по-советски традиционную, по-мужски похвальную, всем понятную. Ну, пошел в круиз, кияет, отловил молодую девку — и ладушки.

Приоткрывая глаза, в пластиковой глубине белого подволока, на котором играли волны забортного блеска, он видел перевернутую скачку на себе, и самозабвенная наездница рисковала вот-вот сорваться вниз головой, сломав слабый стебель шеи.

Каждый раз она гнала коня. Что-то конченное было в ее сумасшедшей самозабвенной скачке.

X

Кому как, а Ткачеву нэп ударил по карману и в глаза. Это было в Криворыльске, городке на лермонтовском Кавказе, куда Ткачева занесло случайно. Он ехал зайцем в вагоне ползучего поезда. Подошел контролер. Ткачев развел руками. Вздвигнутый контролер первым для слуха Ткачева открыл это слово:

— Нэп!

Нэп Ткачеву был сплошным штрафом. Но душа его была прирожденной штрафницей. Она платила, как летела.

В станционном буфете Криворыльска на пятиметровой фреске во всю стену плясала грудастая шансонетка, диковинная помесь Индии с Китаем. Местный мазила на козлах утром закрасил экзотическую диву, заменив к вечеру скачущими всадниками в буденовках. Он сказал Ткачеву:

— Эскиз Филонова не утвердили, пишу под Петрова-Водкина.

В Криворыльске с нэпом сражались. В Москве нэп распоясался.

В Охотном ряду, возле церкви Параскевы Пятницы, продавали порнографические открытки и книжки. Неподалеку сверкал витринами шикарный магазин с синей вывеской под маркой «Чернышев», — сбоку теплились огни Иверской часовни. Мчались лихачи на дутиках. Сама в себе путалась кружащаяся толпа, обремененная покупками.

При входе в игорный дом посетителя встречал актер в визитке, который выступал в роли хозяина заведения. Внутри казино было все, что необходимо,— крупье, ромассеры, золотые комнаты: там играли только на червонцы.

В Петровских линиях стояли лихачи-дутики. Они кидали прохожим:

— Пожа, пожа, я вас катаю!

В Петровском театре давали попеременно «Графиню Эльвиру» и «Машинные танцы — истуканирующее тело!».

Произошла денежная реформа. Ушли миллиарды, возник советский рубль.

Начались показательные процессы в форме общественных судов.

На Воздвиженке, в особняке с зимним садом, Эйзенштейн руководил театром Пролеткульта. Актеры ходили по проволоке, кувыркались на манеже, работали на перше. Мейерхольд биомеханизировал всю Москву. В мастерской Форрегера на Арбате доминировало все то же истуканирующее тело.

Кто-то родил производственную пьесу «Висмут».

В Камерном театре воздушно мерцали «Покрывало Льеретты» и «Адриенна Лекуврер».

В кабаке Кошевского цыгане рыдали в постановке «Не рыдай!». В «Кривом Джимми» упражнялась «Блуждающая совесть» — в ее афише уточнялось: «Пьеса по конструкции Америки».

Спектакли назывались проще простого: «Антихрист», «Шут на троне», «Дурные пастыри». Кинематограф завлекал исследованием многострадальных женских судеб: «Нищая Стамбула», «Авантюристка из Монте-Карло».

В результате финансовой аферы лопнуло акционерное общество «Пилюля». Возникло дело Краснощекова. Ткачев с невероятной скоростью написал пьесу. Это была комедия. Ее главное действующее лицо было коммерсантом и говорило с южным акцентом.

Успех был триумфальным. Москва ломилась в Театр Революции, партизан свистел в два пальца, граф Алексей Николаевич Толстой пожаловал на премьеру, а потом дал банкет в «Метрополе», — Ткачев грустно смотрел в ресторанное окно на бессонную Театральную площадь.

Все складывалось более чем удачно. Ткачев познал езду на победной колеснице. Лавровый венок украсил его открытое чело в блесках творческого пота.

Отравлял его существование — Чистоусов.

Морочил ему голову — Чистоусов.

Ткачева задел, но пока что переносимо, роман Чистоусова о ближней истории Киевской Руси, однако взбесила Ткачева комедия Чистоусова о липовом документе, в котором фигурировала фальшивая царевна, — откуда Чистоусов прознал об исповеди Езерского? Чистоусов отнимал у него темы, идеи, интриги, повороты, героев и делал это нагло и безнаказанно. То он писал тот роман, то выдавал ту комедию, то переделывал тот роман в пьесу, то шумел опять-таки романом о зависти и взаимоотношениях поэзии с колбасой, — о нем ходили толки, что он состоит в постоянной переписке и телефонном перезвоне с загадочным хозяином Кремля, что он пожирает сердца первых московских красавиц, что он без уговору пьет, красноречив и дебоширит в литературных притонах, что он наводнил столичные салоны ехидно-враждебными баснями, что он затопил эстраду эротико-антисоветскими ревю, а кинематограф — дорогостоящей клеветой на действительность, и кто-то сказал Ткачеву, что Чистоусов-то не из Киева, а из Одессы, но кто-то настаивал, что он коренной москвич, и все эти разговоры были настолько разнообразны, что в общей сложности должно было быть по крайней мере три Чистоусова, а он был один-единственный, многоликий и многорукий, как индийское божество, идол молвы, заноза в сердце, тем более ранящая Ткачева, что сей писатель — пишет, хотя и пьет без пробуда.

Писал и Ткачев. Как-то к «Ундервуду» Ольги легкой походкой подошел симпатичный человек, представился Николаем Христофоровичем, попросил о знакомстве с ее мужем. Она свела их. Встреча наедине состоялась на пересечении Малого Кисловского с Нижним Кисловским, там, где некогда отверженный Ткачев грозил кулаком и показывал язык Моссельпрому, там, где судьба подарила ему Ольгу. Над мужчинами ронял ржавеющую листву большой тополь, грустно гомонили воробьи, каркала одинокая серая ворона, — близилась осень. Николай Христофорович был доверителен и памятливы.

— Не мне вам рассказывать, Сергей Михайлович, как это было. Но вы же вряд ли забыли. Когда вы показывали свой спектакль комиссии Главреперткомма, на ваш вопрос «Ну, как?» никто из этих чиновников ничего не мог сказать. Такова была беспощадная правда вашей комедии. Так они и ушли, отмолчавшись.

— Да, — печально вздохнул Сергей Михайлович, — мы, то есть я и весь театр, две суток мучились сомнениями и глаз не сомкнули.

— Но тогда товарищи из ЦК устроили общественный просмотр, который превратился в яркую манифестацию поддержки, и тут уже не было спора, так это надо было делать или не так.

— Да, главреперткомовцы сказали: да, по-видимому, это так.

— Вот мы...

— Простите, пожалуйста, кто — мы?

— Мы работаем на Лубянке. Теперь мы просим вас помочь нам. Вы же знаете, сколько сейчас в Москве шуму вокруг пьесы Чистюсова в Художественном театре. Не могли бы вы с большевистской прямоотой...

— Я не член партии.

— Не суть важно. Вы — нашего корня. От вас требуется сугубо внутренняя работа вашей мысли, вашей совести. Это так у нас и называется — внутренняя рецензия. Ваше мнение, ваше суждение о труде своего коллеги. А то мы буквально завалены письмами, в которых трудящиеся протестуют. Нужен ваш просвещенный взгляд. Кому это сделать, как не вам, первому советскому комедиографу?

Ткачев написал. Две странички. Им было честно отмечено классовое нездоровье чистюсовской вещи, наличие в ней неуместной ныне, когда наступает эпоха, чеховщины, ущербба, гнильцы.

Когда он писал, перед его мысленным взором почему-то стоял не столько Чистюсов, сколько Мейерхольд, к этой постановке не имеющий никакого отношения, но уже показавший Москве сотый спектакль чистюсовской комедии, — Мейерхольд со своим птичьим профилем грифона, со своим анекдотическим клювом, напоминающий в то же время старого лубочного персонажа по имени Нос. Сей Нос пробежал по своим пресловутым движущимся концентрическими кругами тротуарам, стуча своим нюхалом по металлу адских конструкций, и в кулисах прокатывался оглушительный грохот, порождая в ушах и сердце Ткачева шум внутренней тревоги.

В будущем Ткачев никогда не встречался с Николаем Христофоровичем, но письменные весточки о себе он ему подавал.

Он знал эту историю с чистюсовскими баснями. Актер Качалов, будучи зван в Кремль, прочел Хозяину эти едкие эзопинки, и тот спросил:

— И что же здесь смешного?

Кому-кому, а Чистюсову стало совсем несмешно. Ходили слухи: болеет. Ходили толки: дебоширит. Ходили разговоры: его нигде не видно.

И не было видно. В Сибири был Чистюсов. Ткачев, наоборот, въехал в свое большое жилье. Не очень долго, но попрохлаждался Чистюсов в густой тайге енисейской.

Николай Дмитриевич по вездесущести своей был вхож в дом знаменитой актрисы Валдайской, и он знал, что Чистюсов ей пишет оттуда, издали, и получает ответные письма. Вся Москва была наслышана о тайном романе, и не последнюю роль в этой коллизии играл уссурийский тигр — о переписке, однако же, знали, пожалуй, только трое: Чистюсов, Валдайская и Езерский.

Узнал и Ткачев — Езерский сболтнул. Ткачев послал весточку Николаю Христофоровичу.

Времена сгущались, общественно-политическая сцена по-мейерхольдовски вращалась, шли процессы, Ткачев откликался на них пьесами, но было ему тревожно, он заболел душой. Он смолodu запомнил мысль Маллармэ о том, что поэзия — атака нервов на бумаге. Он знал и о том, что есть такое словечко *ятрогенция*, означающее болезнь, внушенную пациенту врачом. Он помнил и Белинского: картонная луна дороже настоящей! Он выносил сам или разделял с кем-то понимание анекдота как зерна комедии. Но он давно потерял вкус к анекдотам. Это было и опасно. Комедия для него была равнозначна поэзии, но нервы теперь атаковали его не на бумаге, но изнутри его физического тела. Картонная луна стала еще дешевле настоящей. Некий Главный врач, некогда внушивший ему прекрасную болезнь, умыл руки и ушел — пациент исцелился сам. Процесс Промпартии подвиг его на новую пьесу, но она уже не могла быть комедией, то есть поэзией, пением кутящей компании в древнегреческом смысле этого слова. Он испытывал усталость мозга, головокружение, слабость, невралгические боли. В его драматургию хлынули шпионы. Еще одной особенностью Сергея Михайловича было то, что он писал правой рукой, тогда как во всем остальном был левшой. Кроме того, он как бы не чувствовал правой половины своего тела, но порой в нее словно перекачивалось сердце и бухало

так, что разрывались собственные барабанные перепонки. По-видимому, это было как-то связано с деятельностью его мозговых полушарий.

Он позвонил Езерскому:

— Зайди, Коля.

Тот прибежал. Они сидели вдвоем в кабинете — Ольга Олеговна ушла по хозяйству. Ткачев долгим взором проник в синие глаза пасынка.

— Есть мысль,— выговорил он с трудом.— У меня тут диван прохудился, пружины торчат, Ольга ищет новый, а этот надо бы отнести на чердак. Вот тебе ключ от чердачного замка. Только сделай это ночью, когда дом уснет. Я помогу.

Глубоко за полночь они перенесли диван на чердак. Туда же — маленький стол, свечи. Ольга Олеговна промела в толстой чердачной пыли дорожку от двери до дивана, пристроенного неподалеку от слухового окна. Получилось нечто вроде кабинета.

Ткачев уходил на чердак по ночам, прихватывая книги, бумаги, чернильницу, ручку. За все лето, пока он там укрывался, он ни разу не зажег свечу, не прочел ни страницы, не написал ни строки. В черном чердачном поднебесье он лежал на диване кверху лицом, скрестив руки на груди. Он привык быстро осваиваться в темноте, хорошо различая все балки и спящих на них голубей. В слуховое окно великодушно светили чистые московские звезды, лишённые порока соглядатайства.

Наступала осень, стало холодать. Ткачев пришел в себя, возвратился в домашний кабинет жить полными сутками. Он не знал, что его чердачное затворничество совместилось с семейным событием исключительного свойства.

В тот поздний вечер Езерский на подъеме вернулся в дом с премьерного концерта новосозданного ансамбля Игоря Моисеева, чувствуя упругость в ногах и во всем теле. Пританцовывая, он пошел к Ткачеву домой — поделиться впечатлениями. Он сформулировал и красивую общеэстетическую параллель: моисеевская легкость как бы наследует легкость пушкинскую, и это некий символ в год, когда вся страна небывало празднует столетие гибели Пушкина. Езерский в ударе подзабыл о ткачевском чердаке. Ткачева дома не оказалось. Езерский присел на новую кушетку... Ольга оказалась невинной, и обильные совместные слезы горькой радости залили крепкую грудь Езерского. Она стыдилась слез и всего случившегося, он — не очень.

— Понимаешь, Олюша, секрет слезных желез, так называемые слезы,— говорил он с привычным легким цинизмом,— у нормальных людей, как правило, уходит в нос, а мне вот, негоднику, в детской драке поломали носовую перегородку — и весь секрет моих желез выходит наружу из глаз, особенно на ветру, да и по разным пустякам. В общем, глаза на мокром месте. Но сейчас это простительно, не так ли?

Она ответила не ему, а себе:

— Полная бессмыслица! Ведь он там ни от кого не спрячется!..

— Затмение разума. Будем надеяться, пройдет.

Прошло. Ткачев возвратился, и все мгновенно кончилось: ее жемчужные слезы, его добродушные шутки, соблазн опасности, по-кошачьи тихие его шажки через ночную лестничную площадку, безмолвное всезнание Виолетты, звезда в окне — та же самая, что перед глазами горемычного Ткачева.

Ольга Олеговна давным-давно оставила работу в учреждении, целиком уйдя в мужнины заботы. Она переводила на машинку каждую его строку, и все его строки были овеяны ее спокойным, уверенным дыханием. Тем памятным летом она узнала о Езерском больше, чем за всю предыдущую жизнь. Она и не представляла, сколь ясно трезв этот вертопрах прежде всего в самооценке.

— Я случаен в творчестве, незачем пыжиться, что-то там изображать из себя. В конце концов я владею редким ремеслом, мне этого достаточно. Надо просто жить, поелику возможно.

Однако и он болен. Этот недуг называется *фантазийный синдром*. Езерского заносило в сказках о себе. Она не верила ни одному его слову, когда он в лицах показывал свое участие в молодежных вечеринках за Кремлевской сте-

ной или, напротив, повествовал о своих похождениях где-то в дбрях Индостана.

— Когда ты успел там побывать, дорогой? — посмеивалась она.

Он никогда не боялся попасться на вранье, его это попросту не интересовало.

— Успел, матушка. Когда ты самоотверженно перепечатывала новую драму нашего небожителя.

Ее уколола насмешка над мужем. Она нахмурилась:

— Лучше ври про Индостан.

Почти через двадцать лет, когда Саша захотела в дальние края, а Булганин с Хрущевым посетили Индию, у Езерского появилось новое присловье:

— Хинди, руси, бхай, бхай.

Он начеркал собственное «Хождение за три моря», несколько футуристско-филологическое в основе своей, посвятив его памяти Хлебникова и академика Н. Я. Марра.

Ольгу Олеговну давно беспокоило: что за разговоры он ведет с Сашей, вытаскивая девушку каждый вечер на прогулку по их переулку? Там зимой любил прогуливаться в своей интеллигентской шубе с большим бобровым воротником Сергей Михайлович.

Их прогулки не умещались в трехстах метрах своего переулка. Езерский был заинтересован в ее сопутствии, потому что она была его новыми глазами — она видела Москву свежо и остро, а он понял, что уже неважно различает черты городского лица. Он привел ее на Театральную площадь, сменившую имя, — впрочем, она уже тогда, в его прошлом, официально называлась не Театральной — и увидел вовсе не пожар и не свое провисание над Москвой, а как раз наоборот: было дело, оборванец забрался на колесницу Аполлона и, стоя около колоссальной ноги бога, ощутил вперемешку с восторгом предельный страх перед реальной возможностью унести в небеса: гигантская чугунная четверка лошадей лишь по недоразумению еще оставалась на краю пропасти, и Кольке захотелось кошкой прыгнуть ввысь и зацепиться за кольцо венка в руке Аполлона, потому что, даже если колесница улетит из-под его ног в бездонные небеса, кольцо венка останется здесь, над человеческим морем, подобно спасательному кругу, на котором он когда-то, спрыгнув с высокого борта «Сан-Пьетро», добрался вплавь по ночному Босфору до обрывистого берега Царьграда.

— Сашенька, в стране было шесть миллионов беспризорников!

Саша с большими глазами слушала Езерского, и его несло дальше и выше. Впервые в жизни он, приблизительно сорокапятилетний человек, рассказывал кому-то одиссею своего детства. Она узнавала сходства, совпадения, параллели, сдвоенную линию их столь различных судеб. Теперь она понимала, почему ее, онемевшую от ужаса войны девочку, на неизвестном ей вокзале подобрал незнакомый человек в мятой шляпе и блестящих штиблетах, немного стоптанных.

Словно чуя неизбежное, они ходили по околоарбатским местам, по Композиторской улице, по Кречетникову переулку — по всему тому, чего скоро не станет. У фонтана на Собачьей площадке он остановился и, оглядывая бронзовую львиную голову на мраморной грани фонтанного столба, вскользь поведал Саше о цирковой трагедии на Урале. Фонтан журчал, речь Езерского текла тихо, неназойливо:

— Знаешь, Сашенька, у Рубенса есть картина «Охота на львов». Там в центре изображен охотник — бедуин в зеленом халате на белом коне, ему вцепился в плечо лев, защищающий свою львицу, у которой в материнских зубах зажмурил глаза львенок, а сзади всадник в латах и каске с плюмажем замахнулся на зверя то ли мечом, то ли саблей, я не разбираюсь в оружии. Так вот, я ощущаю себя порой этим львом, прости за высокопарность, и мне кажется, что моя настоящая жена — Истина с таким вот крохотным львенком-грудничком в зубах. Может быть, этот грудничок — девочка? Ты?

Дабы сбавить пафос, он хотел процитировать Чистоусова: «Картина не что иное, как крик души, наслаждение органа», — но удержался.

В Кречетниковом упал тополь. Он упал сам по себе, от старости, сломав изгородь палисадника. Два обнаженных до пояса мужика в алом свете закатного солнца, отвалив тело дерева, двуручной пилой выравнивали пень, на глазах становящийся чем-то вроде столешницы. Визг пилы, сильный запах древесины, тело покойного дерева подействовали на Сашу и Езерского угнетающе. Она не спала всю ночь, а утром, пойдя во дворик вытряхивать половики, встретила под березой — их, берез, там было две — растерянного Езерского в войлочных тапочках.

— Сашенька, нам больше не надо встречаться. Я имею в виду наши прогулки. Заболела Виолетта. Да и Ольга Олеговна...

Он не закончил, но Саша сама все поняла. Они договорились, что он будет писать ей письма, — и, подведя ее к глухой кирпичной стене соседнего дома, смотрящей на дворик, он вынул из стены кирпич, сказав, что образовавшееся углубление будет им почтовым ящиком. Он вставил кирпич назад, выпрямился и легко удалился, Саша села на половики, сложенные на скамейке, и поплакала без слез.

Его письма были бессмысленными. Взрослый человек, он порол ерунду. Он строил химеры, развертывая фантастический план совместного их отъезда на какой-то остров Соловецкого архипелага, где под стеной старинного монастыря он поставит дом и по ровной, как стекло, озерной глади они будут плавать на лодке, ловить сетями рыбу и слушать печальный крик чаек, а вокруг будут дышать вековой тишиной девственные боры корабельных сосен.

На третьем письме Саша не выдержала и засобиралась на целину.

XI

Сначала ходили по Пирею. Ленок повела его к Степану — одесскому греку, лет десять назад обосновавшемуся здесь. Она знала, чего недокупила для семьи Князева тогда, в Стамбуле, и сейчас, кое-что узнав о составе этой семьи, взялась довести дело до конца. Какое-то количество драхм он получил сегодня в кассе, этого хватало на скромные закупки, остальное она брала на себя.

На пороге магазина они столкнулись с Терентьевым, оттуда выходящим. Он спокойно поприветствовал Князева.

Откуда-то возник сублильный шатен, спросил Князева шепотом:

— Рубли есть?

Князев отрицательно мотнул головой.

Серебряноголовый Степан улыбался золотыми зубами. Он заговорил с Князевым о Москве. Выяснилось, что молодость он провел там, в кафе «Космос» на улице Горького, был стилигой, за это его бивали в подворотнях Марьиной рощи, куда он заглядывал из нужд своего маленького бизнеса.

— Ну да разве может быть бизнес в СССР? — вздыхал Степан. — Здесь — да. Но надо шевелиться, а я вот что-то постарел, довольствуюсь маленьким магазинишкой и люблю советских моряков как родных братьев. И сестричек, — повернулся он к Ленку. — Ну что, красавица? Всё оки-доки?

Ленок нагрузилась опять точно такой же сумкой, что и в Стамбуле.

— Пойдем на пароход, оставим вещи, — сказала она Князеву.

— Простите, можно вас на минутку? — из-за спины позвал Князева мужской голос.

Князев обернулся. Перед ним стоял матрос, тот самый банщик, хозяин судовой сауны, следящий и за работой бассейна. У него были доверительное выражение лица и таинственная интонация:

— Все нормально?

— Нормально. Но я вас не совсем понимаю.

Банщик сделал движение головой, похожее на озирание.

— Отойдем немножко?

Они вышли из магазина. Было безлюдно. Палило солнце. Узкий тротуар дышал жаром.

— Вы получили конверт?

Князев молниеносно нашелся:

— Какой конверт?

Матрос на полсекунды задумался, затем решил:

— У вас есть знакомая Светлана?

— Конечно. Светлан я знаю многих.

— Девушка из Одессы, — уточнил матрос. Он понял Князева: тот прячется. Но матрос также понял: надо договаривать. — Когда мы отваливали из Одессы и уже трап начали поднимать, ко мне подбежала эта самая Светлана, высокая такая, волосы до плеч, дала конверт и попросила передать вам.

— И что же?

— Я узнал, где вас поселили, только через день. Заглянул к вам, а вас не было или вы спали, не знаю, в общем, положил его на стол и ушел.

— И все?

— И все.

— Спасибо. Но, честно говоря, ни Светланы никакой я не знаю в Одессе, ни конвертов никаких у себя в каюте не находил. Это какая-то ошибка, извините.

Матрос подумал: не хочет колоться. Князев враз все осознал и все вспомнил.

Той ночью в гостиничных креслах они с Ланой, полупридремывая, вроде бы говорили о том, что в Стамбуле можно за недорого разжиться хорошей дубленкой для нее. Теперь он слышал ее тогдашний наставляющий голос:

— В Пирее у Степана выгодно обменяешь мои рубли на любую валюту, я завтра занесу их тебе на судно, и на обратном пути в Стамбуле возьмешь мне вещь, и тебе еще хватит для своих что-нибудь прикупить.

Он хотел не согласиться — не смог: уснул.

Стало ясно — она припоздала, еле-еле успела к отходу судна, поймала матроса на поднимающемся трапе. Господи, у нее всегда так. Бежит за подножкой последнего вагона, хорошо еще, если не ошибется поездом.

Князев бурно возликовал. И тут же огорчился. Какую напраслину в мыслях своих он возвел на старого товарища! Прости, Валерка.

— Вот оно что! — просиял суровый Соболев. — Ты спас мою душу.

Они сидели в капитанской каюте. За широким иллюминатором сверкал Пирей, солнечный город-порт-спутник Больших Афин. Соболев приоткрылся:

— Ты себе не представляешь мою ситуацию. А может, и представляешь. Старпом сидит у меня на пятках. Ждет. Чекист следит за каждым моим чихом. Не спит. Помполит в судорогах — скоро, по слухам, их всех, раздолбаев, на флоте отменяют. И в это время — эти блеванные рубли. Выходит, я пригласил тебя для проведения тут какой-то колоссальной «школы» с моим участием. Усек? Еще не утихло дело рыбаков, ты же знаешь... — Князев, конечно же, знал о глобальной афере рыбного министерства, верхние чины которого хорошо поработали на манипуляциях своей продукцией. — Ты думаешь, эти ребята не знают, что лежит у меня в сейфе? Твоя козочка, прости меня, пожалуйста, у тебя что — зря пасется?

Он остановился — Князев побледнел.

— Прости, старик, но ты же не маленький.

— Он уволил ее.

— Возможно. Но не за то, за что тебе кажется. Она слишком квасит. К концу смены на ногах не стоит.

— Не заметил.

— Молодая. В бассейне очухивается. Но в любом случае мы с тобой, если мне не брешет мой внутренний голос, ушли от большой неприятности. Нужно вот только банщика чем-нибудь заткнуть. Ну, ладно. Рванешь в Афины?

— Она меня ждет.

— Правильно. Сейчас отправится от парохода экскурсионный автобус с экипажем. Советую поехать, петь и смеяться, как дети.

Уходя, Князев пробормотал:

— Зачем же ты мне ее подкинул?

— В Стамбуле? Затем и подкинул, чтоб ты сразу просек, что к чему. Но он тебя переиграл.

— Да. Переиграл.

Князеву не составило труда держаться с Ленком как ни в чем не бывало. Они вместе подошли к автобусу. У дверцы пепельноволосая гречанка-гид обратилась к нему на греческом языке. Он молча развел руками. Однако удивился: когда он успел тут превратиться в эллина?

Автобус катил по опрятному и стройному городу Афины. Голоногие мотоциклистки с развевающимися гривами обгоняли его. Пепельноволосую гречанку звали Ника. Она чрезмерно певуче говорила по-русски, поднося микрофон к носу, как черную розу. Князев полуслушал ее. Он обнимал за плечо Ленка. Могучие ноги античности — белые, прямые мраморы колонн — встречались его глазам чаще, чем он мог вообразить. Вечность стояла на белых ногах колонн, явно женских. Крошечным было все, что случалось с ним и случится.

Князев верил и все еще не верил Соболеву. Если Ленок просто-напросто пособница сексота, то есть, по существу, сама сексотка, — все легко объясняется. И ее щедрость, и ее пылкость, и ее внимательность — в общем, все. Он по достоинству оценил план Соболева — более чем дружеский — вытеснить из князевского пространства своей большой, обильной Еленой, поистине телой, эту, как он выразился, козочку. Заблуждаешься, капитан. В этой козочке огня на сто тигриц.

А если все это не так? А вдруг? Вдруг его дикарка правдива, ее страсть гибельно безоглядна, он родился вторично и навсегда?

Нет сомнения, за ним здесь присматривают, и Терентьев несет свою параллельную службу, и Лена-два вышла на него, Князева, как на работу. Но что-то в ней щелкнуло, сломалось, не захотело врать. Вдруг? Он опять, как мальчик, барахтался в полном неведении относительно себя, своих дел, своих близких. Он не знал даже, кого он сейчас обнимает.

Краем уха Князев уловил голос Ники:

— Проезжаем русскую ортодоксальную церковь в византийском стиле. Через нее прошла вся ваша эмиграция первой волны.

Античное прямоугольное здание, колоннада, башня с куполом. Никакого тебе пятиглавия. Колокольня сбоку, на здании же. Далеко занесло *тогда* неведомых родных и близких. Так далеко и так глубоко. Греция. Князев за эту чертову дюжину дней своей одиссеи присмотрелся к островкам Архипелага, как к чему-то знакомому настолько давно, что начала у этого знакомства просто, кажется, и нет. Оказалось, колыбель Европы имеет быть, и Князев кожей знает ее недровое материальное тепло. Все Средиземноморье грохотало у него под подушкой, когда он смотрел в искаженное восторгом личико своей безумной амазонки. Зной этого древнего мира сам по себе был жарким широким следом небывалых страстей, дыханием бессмертных богов и означал реальную несомненность всей той долгой катавасии на Олимпе и в его необозримых окрестностях. Все здесь свидетельствовало о том, что бывшее — было. Но как же потрудилась Европа в сфере самоистребления! На голых островках Архипелага, казалось, не нашлось бы ни дерева, дабы вытесать кол на предмет ослепления Полифема. Греция натужно воскрешала свою героическую родословную, существующую, помимо ее усилий, в самом ее воздухе. На Грецию несметным стадом шел мировой турист. Он по камешку разносил Акрополь, не в силах его окончательно разворовать, ибо Акрополь — единственное в космосе и в хаосе существо, умеющее восстанавливать свои нервные каменные клетки.

Шелудивая кошка под Парфеноном словно прибежала из Карфагена. Она ко всем приставала, попрошайничала.

Опять, как в Помпеях, запах человеческой — по преимуществу женской — плоти стеной стоял над Акрополем. Толпа трудилась ногами, идя вверх-вниз по мраморным ступеням. Море человеческого пота пропитало гору. Камни дышали похотью. Фигуры мраморных дев были одеты в прозрачные мраморные хитоны. Среди них не было полностью голых и грудастых. Князев усмехнулся, вспомнив бабелевских одесских кариатид.

Непроизвольно Князев с Ленком отделились от своих спутников. Стало тревожно. Где он? Кто с ним? Куда идти?

Они заблудились. Мировой турист затопил Акрополь самоизвергающимся потоком Зевесова семени. Дышать было нечем. Бесчисленные лица слипались в бесформенную беловатую массу, и только желтая смуглота японцев, увешанных кинофотоаппаратурой, была одухотворена почти враждебной различаемостью. За их группкой слепо увязались Князев с Ленком — и внезапно оказались на смотровой площадке Акрополя. Весь мир лежал перед ними в волнистой мгле тысячелетий. Рядом с солнцем в зените светилась белая церковь св. Георгия. Дыхание Князева пресеклось. Дикое желание изнутри ошпарило его волной старого стиха: *порывом пылких ласк и язвою лобзаний она торопит миг последних содроганий*. Его сотрясло. Он ужаснулся себе и тотчас нашел самооправдание — бес стоял рядом, трепеща. Вот эта мальчигодевочка, этот пляшущий язычок пламени, направленный прямым на него без малейшего любопытства к целому миру у своих ног. Дикой кошкой она перемахнула через весь бассейн Средиземноморья, вырвала каменистый клочок Африки и перенесла айдов мрак льявятика на ослепительную вершину Греции.

— Ви пляж? — учтиво спросил Князева серьезный юноша советской наружности.

— Рашен! — гаркнул Князев.

Японцы всей группкой вздрогнули. Юноша обрадовался:

— Я вас ищу, товарищ Князев. Все уже собрались. Ждут только вас.

В автобусе Ника продолжала петь о своей родине:

— Статуя Аполлона стояла у подножия Акрополя. Ее украли. Украли и золотую Афины. Это сделали турки. Потом она исчезла где-то в Константинополе.

— Скорей бы Константинополь, — прошептал Князев.

В каюте он срочно принял душ. Вода была жесткой.

XII

По-езерски резко прозвенел телефон.

— Чего тебе? — проворчал Ткачев.

Трубка тяжело, хрипло дышала в ухо Сергея Михайловича. Его пронзила догадка: Чистоусов.

Чистоусов! Неужели соскочил с высоты своего великолепного презрения? Или ударил черный час его торжества?

На другом конце провода дали отбой. Ткачеву захотелось принять хорошую, теплую, душистую ванну. Он вдруг заскучал по Ольге Олеговне. Там, на даче, среди редко разбросанных сосен, сейчас веранда залита солнцем и, возможно, у крыльца уже зацвел жасмин. Она, видимо, сидит в шезлонге возле торшера в своем любимом платье из светло-серого кашемира.

Он позвонил Езерскому. Ответила больным голосом Виолетта:

— Коля выбежал в магазин. Послезавтра у нашего Женьки день рождения, надо подготовиться, пока у Коли есть время...

Сергей Михайлович, переведа дух, решил закончить большую, взволнованную, сумбурную запись. Стремительные строчки магнитофонной лентой бежали по бумаге. В ушах звучал собственный голос:

— Какой год! Гидростроители установили мосты для укладки бетона в стену камеры первого агрегата Иркутской ГЭС; там же устанавливается гидрогенератор мощностью 82,5 тысячи киловатт; на Новосибирском турбогенераторном заводе уже выпущены два турбогенератора по 30 тысяч киловатт с водо-

родным охлаждением; торжественно отмечено открытие металлического моста протяженностью в 500 метров через устье Днестровского лимана; по новому мосту уже курсирует поезд Одесса—Измаил; в Рустави сооружен Дворец металлургов; уголь в Кангаласских коях (Якутия) добывается с помощью мощного горного комбайна «Донбасс»; киевский (!) завод «Красный экскаватор» выпускает гидравлическую машину для выемки и отвала грунта с емкостью ковша в 0,15 кубометра! А тут вступила в строй первая очередь Московского молочного комбината. Весь процесс обработки молока полностью автоматизирован. С помощью насосов молоко, доставленное автоцистернами, по трубам из нержавеющей стали направляется в аппаратный цех. Здесь молоко очищают и охлаждают. Затем молоко попадает в огромные эмалированные танки емкостью в 10 тысяч литров каждый и отсюда — в разливающий цех.

Какой год!

Ангарстрой, Братская ГЭС, Жак Дюкло, Вильгельм Пик, виноградары Молдавии, рыбаки эстонского островка Кихну, горняки Шураба, шахтеры Донбасса, советская правительственная делегация в Индии, Бирме и Афганистане, Рокуэлл Кент («Пусть голуби совьют гнездо в шлеме воина!»), Поль Робсон (замечательный лингвист к тому же), Говард Фаст, телевидение в Угличе (205 км от Москвы! трансляция футбола — в Угличе!), А. Софронов в Голливуде, Директивы XX съезда по 6-му пятилетнему плану, 6-ю пятилетку выполним на базе преимущественного развития тяжелой промышленности, построим в течение 1956—1960 годов атомные электростанции общей мощностью 2—2,5 миллиона киловатт, Тарапунька и Штепсель, 10-летие провозглашения Албанской Народной Республики, квадратно-гнездовой метод, система Мальцева, севооборот и перекрестный сев; турнир в Гастингсе В. Корчной — Ф. Олафссон; кузнец Ушаков перековал за 20 лет 400 тысяч тонн металла; учреждение в Праге Политического Консультативного Совета Варшавского Договора; начиная со второй половины 1956 года все жилые дома в наших городах должны строиться только по типовым проектам, индивидуальные проекты возможны только с разрешения правительственных органов; в Китайской Народной Республике проходит преобразование частных промышленных и торговых предприятий в смешанные, государственно-частные, а кустарных предприятий в кооперативные; с территории Западной Германии запускаются целые стаи воздушных шаров с подвешенным к ним грузом листовок подстрекательского характера (250 миллионов листовок!), эти баллоны наполняются легковоспламеняющимся газом, при приземлении шара происходит взрыв, разрушаются дома, люди получают ожоги, при столкновении с шарами гибнут самолеты, для запуска шаров используются американские воинские части и их техника; извержение камчатского вулкана Безымянный, считавшегося потухшим; визит в СССР премьера Дании Х. К. Хансена, восстановление панорамы Ф. Рубо, визит премьера Швеции Т. Эрландера, извлечение из сердца девочки проглоченной ею иголки — хирург И. Ф. Лизко; молодой писатель В. Солоухин в чудесном очерке о рязанских женщинах приводит новую народную частушку:

В нашей области немало
Достижений трудовых.
Наша область отставала,
А теперь в передовых.

Нижеследующие мысли Сергей Михайлович не записывал.

— Достоевщина началась с самого начала *февраля*. «Огонек» на первой странице обложки поместил известный портрет Федора Михайловича работы В. Г. Перова. Безумец и эпилептик в полосатых сиреневых штанах, сидя нога на ногу, руки на колене, то ли в пальто, то ли в арестантской робе с одной-единственной пуговицей, болезненным взглядом человека, прошедшего ночь за игрой в рулетку, смотрел в глаза здорового, молодого общества, свидетельствуя семидесятипятилетие своей смерти. И что же? Он воскрес.

Сергей Михайлович задохнулся от возмущения, быстро погашенного усиленным воли. Черные предчувствия последних лет сгустились в сплошное гри-

фельное пятно на его душе. Он тотчас уничтожил свои записи пятьдесят треть-его года.

Сергей Михайлович не сомневался: страну, слава которой — большой ге-ний, ждет катастрофа.

Ударил телефонный звонок.

— Я тебе нужен? — спрашивал Езерский.

— Нисколько.— Сергею Михайловичу было уже предельно ясно, кому принадлежит бессловесный звонок, а Езерский — что ж, пусть занимается сво-им пащенком.

Совсем недавно Николай Дмитриевич пришел домой веселым, возбужден-ным и крикнул сыну с порога:

— Женька! Я поздравляю тебя! Ты — летчик!

Он вынул из кармана плаща свежий номер какого-то журнала и, раскрыв его на нужной странице, предложил Жене прочитать вслух статью о Герое Со-ветского Союза летчике Гражданского Воздушного Флота Дмитриии Езерском.

Сын не без некоторого восторженного недоумения выполнил его просьбу.

— Ах, Женька! — скинув на койку Кольки коверкотовый пиджак, разва-лился на ней Николай Дмитриевич.— Знаешь ли ты, что вообще-то ты должен носить имя Дмитрий, как твой дед? Ах, откуда тебе знать? Я так и намеревался тебя назвать. Но тебя, милый, угораздило родиться 15 мая, а это несчастный день для мальчиков по имени Митя. Увы! В этот день в Угличе погиб царевич.

— Значит, фактически я Митя?

Отец расхохотался.

— Фактически да! Митя!

Женя не хотел быть летчиком. Он мечтал стать мясником.

Мама все время болела. Она лежала в постели с книжкой в руках и глота-ла бесчисленное количество таблеток различной величины. Женькина комнат-ка была рядом, за деревянной стенкой, позволяющей ему находиться в курсе всех родительских разговоров и телодвижений. Кроме столика, за которым он делал уроки, и кочки, на которой он — тоже лежа — читал, в комнатке стоя-ли две железные кровати, на которых постоянно, днем и ночью, сидели две старушки, две Женькиных бабушки, совершенно неразличимые, потому что они были сестры-близняшки, и одна из них родила маму, Женя не знал, какая именно. Бабушки в одинаковых байковых халатах круглосуточно тарачились в большое трюмо в ясеновой оправе на ясеновой подставке с изогнутыми по-венски ножками (трюмо было не так давно выселено из родительской комна-ты, потому что мама смотреть на себя не могла). На подставке трюмо внезап-но, как грибы, выросли пудра «Красная Москва» и одеколон «Волна», откуда-то из-под спуда извлеченные старушками.

Иногда мама чувствовала себя лучше. Это чаще всего совпадало с суббо-той и воскресеньем. Она вызывала по телефону такси и ехала на Центральный рынок. Женя увязывался за ней, потому что знал, что главная цель у нее — дру-гая. Цирк на Цветном. Ее знали все билетеры, и вообще все ее там знали. Во время представлений, которые поначалу Женя смотрел жадно, мама пропадала в цирковых уборных, подолгу там засиживалась с друзьями, а Женя, когда ему надоедали эти клоуны и акробаты, гулял по Центральному рынку, кишевшему рядом с цирком.

Он приходил смотреть на работу мясника. Это был грандиозный человек, помощней Ивана Жеребцова и Григория Новака,— огромные, красные с белы-ми прожилками туши животных он играючи бросал на плаху и с маху, в единый дых, превращал их в отдельные куски мяса, самого по себе Жене неинтересно-го. Женю влекла самобытность профессии. Ему осточертели отцовы песни о святом искусстве, которые тот заводил и на лестничной площадке, и над лежа-щей матерью, и по телефону, и даже с бабушками, становясь спиной к трюмо и перекрывая им лицемерие самих себя. Все мужчины, заходящие к ним, были дохляками. Соседи тоже, за исключением немцев, отца и сына. Дядя Фридрих

был богатырь. Сын его, Конрад, — жердь под потолок и, кроме того, советский боевой офицер, фронтовик с наградами во всю грудь.

Был и еще сосед, дядя Жора. Он носил черный китель с орденскими планками, потому что был военный моряк, воевал на Черном море и писал книги о море. Женя спросился к нему в гости — посмотреть на кортик и вообще. Дядя Жора не улыбочиво встретил его, кортик показал, а потом нежданно-негаданно сказал:

— Вот я слышу иногда, как вы тут с пацанами носитесь по лестнице и почему-то ругаетесь друг на друга словом «ишак». Дай-ка я тебе, брат, прочту маленький рассказец на эту тему, называется «Утром». Слушай. «На рассвете поют петухи. Так заведено. В Новороссийске не было петухов. Едва солнце сиреневым бликом окружило вершины гор, мы услышали странные, неприятные звуки — точно где-то качали воду старым, ржавым насосом. Такие же звуки слышались с другой стороны. По всему Новороссийску прокатилась эта непонятная переключка неведомых водоевов. Это кричали ишаки, пришедшие с Малой земли, те самые ишаки, которые долгие месяцы подвозили на передовую патроны, мины, сухари и консервы. Их радовало солнце, взшедшее над освобожденным городом». Все понял, Евгений?

Женя был поражен, но ненадолго. Остальные творческие люди, живущие по соседству, вообще не занимали Женино воображение.

Его устроили в музыкальную школу. Мечтой матери был сын-скрипач. Она не обращала никакого внимания на то, что Женя — из гудошников. Так называла учительница музыки 110-й школы Антонина Васильевна ребят с плохим слухом. В кружевном белом воротничке на черном платье, в круглых очках, она наигрывала на пианино какую-нибудь мелодию — например, французскую народную песню «Пастушка» — и требовала угадать, что это. Некоторые угадывали.

— А эта? — спрашивала она, настукивая на клавишах «Нашу армию родную» композитора Зары Левиной, и тут ребята проявляли себя уже лучше. После этого она звала:

— Иванова! Настрой класс!

Выходила Иванова, что-нибудь запевала, и класс дружно подхватывал. С гудошниками приходилось заниматься специально. Женька сбегал с таких занятий. Он был нормальный пацан, стриженный под бокс, в серой школьной форме. По пути домой он забегал в соседний гастроном и, бросая пятнадцатикопеечную монетку в автомат, только что там появившийся, пил газировку.

Дома он пилил у себя в комнатке на скрипке. Глухие бабушки сидели на кроватках с каменными лицами. Мама за стеной читала в постели.

Между двойными дверями при входе в свою квартиру Женя нашел плотницкий топор, взял его, вынул из материнской сумки только что купленное на рынке мясо, вынес все это на лестницу, положил мясо на ступеньку и саданул по нему с правого плеча топором. Топор взял неверное направление, глухо встретился с бетоном ступеньки, выскочил из рук и, задев топорщем Женину левую голень, улетел в угол лестничной площадки. Произошел грохот. Из постели на площадку выскочила мама в черной комбинации. Красные рубцы горели на ее груди. Женя сидел на мясе ни жив ни мертв.

Отец рассмеялся, узнав о происшествии. Женя со смешанным чувством относился к родителю, но больше, наверно, все-таки радовался ему, потому что тот появлялся перед Женей, как красное солнышко. Одно время отец много ездил где-то далеко, потом осел в Москве, но приходил домой поздно, Женя уже спал, и вставал отец рано, слишком рано, уходил на кухню и, часто прикладываясь к трехлитровой банке чайного гриба на белом подоконнике, в золотых солнечных лучах, щедро льющих в окно, выходящее на восток, писал серьезно, постоянно и сидя так, что Женя на досуге придумал новый остроумный термин «Человек прямосидящий». Он и Женю учил не горбиться, легко шлепал его по лопаткам, когда заходил в Женину комнатку и заставал его за столиком.

Но можно ли сказать, что отец вообще чему-нибудь учил его? Вряд ли. И это было еще одним свойством отца в его пользу. Но он, когда выдавалось время, любил что-нибудь рассказать сыну.

В рассказах для сына Николай Дмитриевич не отказывался от фантазии. Он поведал Жене известный в военной истории эпизод: Женин дед, генерал русской армии Дмитрий Стефанович Езерский, вывел на поле брани двух своих сыновей — армия только что вышла из Мазурских болот, — и один из мальчиков, старший, погиб, а младший, хвала Господу, жив, и вот его фотография в форме поручика Тенгинского пехотного полка. Николай Дмитриевич вынул из фанерного чемоданчика, хранящегося на антресолях, свой фотопортрет, где он был запечатлен в ту пору, когда выходил в мимансе на сцену Театра Революции.

Женя уже знал первоисточник генеральской истории, но отцу в конечном счете верил. В его крови было знание о том, что все повторяется, что есть совершенно одинаковые лица и судьбы, что человеческие жизни идут по каким-то заранее предопределенным и прописанным схемам. Рассматривая фотопортрет, он поражался одному загадочному обстоятельству, осознаваемому им как озарение или открытие. Прошло столько лет, исчезла вся прошлая жизнь, а вот эта узкая полоска дрожащего сияния на козырьке отцовской фуражки никуда не делась. Солнце сгорело — отблеск остался. Дрожит, живой. Как вот это понять? Это и было самым убедительным в рассказах отца. Детали подтверждали правду его сюжетов. Женя как-то слышал слова отца, кого-то поучавшего по телефону:

— Необходимо галантно гутировать тонкие детали!

Ах, как Езерский хотел написать анти-ЖЗЛ о Сергее Михайловиче. О его тяжбе с Чистюсовым. О всей жалко-чудовищной липе его жизни и творчества. Что-то в духе Андре Моруа относительно Гюго и обоих Дюма, только наоборот. Не памфлет, нет. Он не хотел быть неблагодарным. Он обязан ему всем: и тем, как он, Езерский, задуман, и тем, каков он стал. А ведь можно было бы в эту антижизнь подбавить еще чего-нибудь от себя, от собственных щедрот. У, какую интригу можно было бы закрутить вокруг дружбы Сергея Михайловича с актером Малого театра М. Ф. Лениным! Анти-ЖЗЛ, антироман, антимастер, антибоевая-подруга-антимастера, нет, он ничего такого не делает, ему стыдноавато слышать свой внутренний голос: «Я тоже к золотым яблокам тянулся, а ты их жрал, сволочь!» — и лучше он расскажет Женке что-нибудь из области нас возвышающего обмана. И он вывел Женю во дворик, показал пыльные, слепые, черные окна подвала, прижал палец к губам и отвез на лифте на последний этаж дома. Здесь он вынул из брючного кармана ключ, открыл чердачный замок, и они вошли на чердак. Разрывая густую паутину, висящую на балках, как тяжелые рыбацкие сети на вешалах, он подвел сына к дивану, удивительно не тронутому гниением. Диван и столик были пастозно забелены голубиным пометом.

— Женя, — сказал отец, — там, в подвале, работал на Советский Союз во время войны один немецкий разведчик, его имя разглашать рано, и там он отстукивал Гитлеру шифровки с дезинформацией, в результате чего мы победили в войне. Здесь, на чердаке, сидел я. В мои обязанности входило следить за антенной. Я приходил по ночам, ставил антенну, а после сеанса связи со ставкой Гитлера сворачивал антенну и уходил. Об этом не знал никто в мире, кроме Сталина. Кстати, я был единственным москвичом, кто не сдал радиоприемник и радиодетали. Ключ я теперь отдаю тебе. Можешь с мальчишками здесь бывать. Но о государственной тайне, доверенной тебе, никому ни слова. Второй ключ есть только у Саши. Но, судя по всему, здесь никого давно не было.

В квартире Езерских раздался телефонный звонок. Николай Дмитриевич подскокал к телефону. Говорила Ольга Олеговна:

— Коля, я целый час не могу дозвониться до дому, там все время занято, я начинаю волноваться. Сходи посмотри, что там. И вот что. Пришел сторож известной тебе дачи. Ну да, он, Костя. Тот самый. Письма уже нет. Его увезли. Да. За ним приезжали специально. Важные люди. Костя видел своими глазами.

Увезли, увезли! — Ольга Олеговна вынуждена была кричать, потому что в трубке что-то загудело, зашуршало, заверещало.— Кончаю говорить! Передай, пусть едет сюда!

Сергей Михайлович битый час сидел с телефонной трубкой около уха. Оттуда шло бессловесное хриплое дыхание. Ни он сам, ни его собеседник не прекращали немного разговора. О, сколько они сказали друг другу! Убийственным аргументом Сергея Михайловича было их энциклопедическое соревнование: да, в первое издание БСЭ (1926—1947) их обоих включили, но из второго, начатого в 1950-м, Чистуосова-то вычистили! Том с «Ч» еще не вышел, но он, Сергей Михайлович, твердо знает об этом.

— Бью вашу десятку козырем! — услышала на кухне Саша кабинетный голос Ткачева, за весь день, кроме просьбы о кашке, ничего не сказавшего.

И не имеет никакого значения, что пьеса о самоубийце у Чистуосова уже была. Русь напичкана лжепророчествами. Важен документ, и не липовый. Мейерхольд? Он трюксист. И шпион в пользу четырех фашистских государств.

Прозвенел дверной звонок. Саша открыла. Езерский мимо нее пробежал в кабинет. Ткачев положил трубку. Езерский передал сообщение Ольги.

— Саша! — скомандовал Сергей Михайлович.— Иди за машиной.

Саша удивилась, как ей повезло: серая «Победа» с шашечками уже стояла под домом.

— Вы свободны? — спросила Саша у светлоглазого таксиста в форменной фуражке.— Подождите, пожалуйста.

Ждать не пришлось. Элегантный Сергей Михайлович в светлом габардиновом пальнике, в светлой фетровой шляпе, изящно раздвоенной по верху тупи, с легкой стройной тростью стремительно вышел из подъезда. Он приветливо кивнул шоферу, ловко юркнул в машину. «Победа» быстро тронулась с места.

Прошло три часа с момента переделкинского выстрела.

XIII

В Стамбуле Князев с помощью Соболева и в его обществе обзавелся дамской дубленкой. После базара они заглянули в портовый ресторан. Там шла шикарная турецкая свадьба. Пришлось вернуться на судно. Свадьба заняла весь ресторан.

Князев стоял на пеленгаторной палубе. Вечерело. Визжали стрижи. Прямо перед ним сквозь распахнутые двери ресторана церемониально развивалось действо турецкой роскошной свадьбы. Высокая невеста с серогранитными очами и низенький жених с плешкой принимали поздравления всего богатого Стамбула. Ресторан утопал в цветах и пальмовых листьях. Стрекотали кинокамеры.

Стрижи не унимались. Днем, когда судно ошвартовалось в Стамбуле, Князева опять поразили поляки. Они сносили по трапу на причал немислимых объемов тюки, чемоданы, сумки с вещами. Одну пожилую пару, еще остававшуюся на палубе, встречал на причале сын, примчавшийся из Польши через всю Европу на мотоцикле. Рослый и светловолосый, в шортах, он радостно махал родителям рукой, они громко перекрикивались, а Князев подумал о своей душевной юности, за железным занавесом не без добровольности запертой.

Стемнело. Оранжево озарились мечети и Девичья башня. Запел муэдзин. Пароход пошел по Босфору. Князев бросил в пролив копейку. Когда проходили под мостом, Князев инстинктивно пригнул голову, чтоб не удариться. До моста было, как до звезд.

Завтра Варна, потом Одесса. Финал.

Через полтора часа, оставив за кормой восемнадцать миль Босфора, вошли в родное Черное море.

В солнечную Варну Князев не пошел.

Жара не спадала. Князев лежал в каюте. Вентиляторы грохотали. Сердце бухало. Опять занула щиколотка, о которой Князев забыл было.

Он позвонил на мостик, попросил сделать объявление. По трансляции проговорил голос вахтенного штурмана:

— Официантке бара зайти в каюту товарища Князева.

Она вскоре пришла.

Она осунулась, одеревенела, неподкрашенные губы съехали чуть вкось. Она знала, что он вызвал ее прощаться.

— Ленок,— сказал он, не вставая,— сегодня ночью перенесешь свои сумки к себе.

— Зачем?

— Затем.

Он убивал двух зайцев: на всякий случай избавлялся от компромата и помогал ей разжиться на «школе» — в случае ее увольнения. Как всегда, он пытался совместить ушлую оглядку с благородством.

— Ладно,— сказала она без души.

Ему ничего не хотелось: ни обнять ее, ни выгнать, ни удариться в пафос, ни просто пошевелиться. Он оставил себя на Акрополе, кажется.

Ночью она пришла пьяная. Он лежал при слабом подводном свете ночника. Она заревела навзрыд, бросилась к нему на койку, кусала его ключицы — он еле оторвал ее от себя, сел, спустил ноги на палубу, поставил ее перед собой.

— Иди к себе, девочка.

Он только что вернулся с мостика. По радиотелефону его министерский шеф сообщил ему новость.

— Как хотите, Евгений Николаевич. Либо сразу же вылетайте в Москву, либо идите на «Достоевском» к месту события.

В Одессу вернулись рано утром. Одесса хмуро смотрела с высоких размывающих берегов. Пока таможня трясла «Достоевского», капитан собрал весь экипаж в музыкальном салоне. Соболев сообщил людям о событии, происшедшем сегодня — в ночь на первое сентября.

— Посторонние покинут борт судна. Мы уходим туда.

Князев одиноко спустился по трапу. Арабы остались в Африке, поляки — в Европе. Он оглянулся. Его иллюминатор смотрел ему вслед ее глазами. Сумки... Она так и не зашла за ними.

Он оставил в камере хранения морского вокзала свой чемодан. Узел с дубленкой понес по лестнице к Дюку.

Он остановился под круглой пяткой женственного герцога. Взглянул вниз.

Синее море, белый пароход.

Черное море, белый пароход.

Полмесяца назад он стоял здесь, и вот их нет, пятнадцати дней, и что? Что, собственно, произошло? Как всегда, почти ничего. Все то же время катастрофических пустяков или пустяковых катастроф текло по его кровеносной системе, отравленной пойлом десятого сорта. Похоже, приходил конец такому времяобращению. Конец удручающему убожеству поводов и причин. Что-то порвалось в мелкочаеистой железной сети державного регламента, накинутой на жалкую жизнь частного человечка. В дыру, крохотную поначалу, прорвалось кромешное месиво Мессинского водоворота. Тысячи пловцов исчезают бесследно. Ночные птицы кричат с крутой скалы, где обитает Сцилла.

Ворковали горлинки. Приморский бульвар заливало полуденное солнце. Князеву казалось, что это он занес сюда жару из заморья.

Он был в морской бежевой форме и выглядел молодцом.

Он шел на улицу Розы Люксембург. Его память лишилась темных глубин, став целиком прозрачной. Он видел Лану в ресторане «Пассаж», ее свойское обращение с обслугой, будничность и привычность каждого ее жеста, кивка, улыбки, приветствия — приветствий было много: она знала там всех. Князев сухо понял: это ее рабочее место. Он, Князев, в тот вечер был ее клиентом. За-

платила ему она. Но не это открытие потрясло его. Только сейчас его сознания достигла ее беспечная фраза:

— Я ухожу в круиз по Черному морю.

Он нажал на дверной звонок. Дверь тотчас распахнулась. Перед ним стояла Лана, в два раза старше себя. Седая Лана, перенесшая кораблекрушение.

Он не знал имени ее матери. Ее мать огромными глазами спросила — звук шел из глаз:

— Она жива?

— Этого сейчас никто не знает,— ответил он.— Сколько жертв и как их зовут, еще никто не знает.

Он протянул проклятый узел старой Лане.

— Возьмите, это ей.

«Федор Достоевский» полным ходом шел в Новороссийскую бухту. Там продолжались поиски пассажиров «Адмирала Нахимова».

ЛИСТ ТРЕТИЙ

*Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава...
А. Пушкин. Езерский*

На двери Департамента труда и занятости был наклеен плакат с рекламой гербалайфа. Его трепал ветер.

Князев с трудом открыл эту дверь, потому что она полувисела, что называется, на одной петле, а ему надо было поставить наземь свои две сумки, звенящие стеклотарой. Эти большие черные сумки из прорезиненной материи оттянули ему руки. Боком он проник в подъезд, холодный, как прорубь. Грязные стены были испещрены латиницей просвещенных подростков. Sex тоже из трех букв, усмехнулся Князев. На лестнице, ведущей вверх, сидела пыльная, но радужного окраса кошка. Князев пришел за полчаса до открытия.

Он встал сегодня рано. Сеньковский еще дрях за стеной. Тихо было и в комнате Пьера.

В полуподвальных трех комнатах Сеньковского они жили втроем.

Вернее, вдвоем — Пьер приболел недавно. Князев шел по мартовскому скверу с сигаретой в зубах, его окликнул движением сероватых рук негр, полужающий на скамейке, — движение означало просьбу закурить. Князев полез в карман плаща, негр, одетый по-летнему, подскочил к нему, и, при передаче сигареты соприкоснувшись с ним пальцами, Князев заметил некую пятнистую ошкуренность на его пальцах с длинными черными ногтями, легко передернулся и на вежливое «эскузи» кивнул, норовя побыстрее удалиться, однако у негра не оказалось и огня, и пришлось дать ему прикурить от сигареты. Тот сказал русское «спасибо». Пришлось притормозить. У Пьера нашлась бутылка «Амаретто», лишь початая. В тот же день Пьер поселился в пустующей аварийной комнате Сеньковского. Кроме той бутылки, у Пьера не было ничего.

В подъезде биржи труда Князев замерз окончательно. Его подколачивало еще поутру, после пробуждения, но не с похмелья: месяц он в рот не брал спиртного — бегал исправлять документы для департамента. Это было хлопотно. Многолетний перерыв в рабочем стаже заполнить уже было невозможно. Выручил случай. Чуть не в том же мартовском скверике, где ошивался бомж Пьер, Князев повстречал Мухина, бывшего сослуживца. Разговорились. У Мухина недавно лопнула фирма, где он был хозяином.

— Слушай, хозяин, зачисли меня к себе,— осенило Князева.

— Зачем? — прищурился Мухин.

— Да надо бы годика два отметить в трудовой книжке, с увольнением по ликвидации предприятия.

— Хоть сейчас.— Мухин печать фирмы носил с собой.

Так и сделали. Но не сразу. Пока Князев ходил на биржу за бланком для справки о зарплате, Мухин куда-то пропал на пару недель. Когда он отыскался, выяснилось, что, помимо его подписи, на справке требуется еще и подпись бухгалтера. Таковую Князев вынужден был подделать собственноручно, поскольку бухгалтер фирмы вообще исчез в пространстве. В трудовую книжку Князева была внесена запись о том, что он трудился в фирме на должности вице-президента. Его среднемесячную зарплату они с Мухиным определили в три миллиона.

Первый раз Князев отстоял в очереди на бирже пять часов, и тут раздраженная чиновница ему сказала, что на справке недостает углового штампа. Князева это потрясло.

— Как же быть?

— Отметить: «Штампа нет».

— Кто должен отметить?

— Руководитель предприятия.

Опять двадцать пять. Князев бросился искать Мухина, естественно, пропавшего. На это ушла неделя, и бесполезно. Не было Мухина. Время бежало и поджимало. Дело в том, что Князев по трудовой книжке был уволен 31 января — это означало, что претендовать на достойное (поначалу, в течение трех месяцев, 75% от среднесекторской зарплаты) пособие по безработице он мог, лишь встав на учет до 1 мая. Потом начиналось время, с которого ему бы платили по минимуму: что-то тысяч шестьдесят. Почитай, ничего.

29 апреля он заставил Сеньковского и Пьера принять утренний жесткий душ, засадил их за стол на кухне, очищенный от всякой гадости, и велел по подписи Мухина реконструировать почерк онтого. Сюрприз преподнес Пьер, не знавший русского языка. Не бывший актер государственных театров Сеньковский, природный русак, но беглый нелегал из далекой Нигерии точь-в-точь под Мухина изобразил необходимое «штампа нет».

Сквозь мрак подъезда проходили хмурые чиновницы. Апрель под занавес выдал похолодание — ветер, морось. Прически женщин поломались.

Постепенно за Князевым выстроилась очередь, забившая подъезд. Люди были невеселы и малоразговорчивы. В это учреждение приходят натяжеле, как в больницу или милицию. Всех преследует скользкая тень позора. А чего, по существу, стыдиться? Вот Князев. Он за бортом. Но только ли он виноват в том, что произошло с ним? Тогда потонул не только «Адмирал Нахимов». Вся держава стала идти на дно. Что же до «Нахимова», то за него должно было кому-то отвечать. В Минморфлоте тоже. Ответили не те и не за то, но сейчас это не имеет никакого значения. Ибо прошло без малого десять лет. Вначале его тогда понизили в должности, затем и вовсе он почти угодил под сокращение, но заблаговременно ушел сам: начались кооперативные времена, и кучка тех, кто полубезвинно ответил за «Нахимова», сколотила какую-то малопродуктивную конторку, поначалу процветавшую, но рухнувшую в разгар гайдаровского землетрясения. Возвращаться в чиновники Евгений не мог, потому что не хотел, потому что не видел никакой в этом для себя необходимости.

У Сеньковского Князев оказался, когда ушел из дома. Хотя, может быть, последовательность была иной. Он ушел из дома, поскольку попал к Сеньковскому. В этом трудно было разобраться, потому что постепенно смотался клубок из тысячи порванных и перепутанных нитей, составивших жизнь Князева. А суть дела была в том, что жизнь Князева кончилась, то есть давно уже происходила смерть Князева. В самом прямом смысле этого слова. Евгений Николаевич Князев погиб.

Он погиб то ли под открытым небом, то ли в каком-то фойе, то ли в коллекторе под набережной, то ли в трубе на Трубной — это было неясно да и не важно, потому что на Хованском кладбище была его могилка и на ней табличка с его фамилией-именем-отчеством и датами рождения-смерти.

Сейчас жил Князев, но он не был Князевым, вернее, это был другой Князев, однофамилец и полный тезка прежнего. Своеобразие этого, другого, Князева было в том, что он доподлинно знал всю жизнь своего предшественника.

Он плохо помнил последние десять лет, точнее, семь лет до своей гибели плюс почти три года смерти.

Он совершенно не запомнил самой гибели, той временной точки, когда из глаз его посыпались искры, затылок ударился обо что-то каменное, а перед этим что-то каменное опустилось ему на голову. Ведь была ночь. Все бежали. Вокруг стреляли. Где это было? Нет, правда, где это было? И когда это было? И было ли?

Как он там оказался? С кем он там пил? Ведь почти весь сентябрь они с Сеньковским не вылезали из логова в Лялином переулке, и все чесоточно-педикулезные обитатели Курского вокзала перебивали у них. Сеньковский время от времени приходил в себя, подымался с материнского ложа и принимался вышвыривать гостей. Он ревел громово:

— Бомжатник! Клоповник! Блошинник!

Прямо из окна он вышвыривал страшных косматых людей на асфальт внутреннего прямоугольного двора, где неподалеку от окна догивал его разбитый вдребезги «Жигуль».

Князев помнил, что так длилось почти весь сентябрь, и шли дожди, и темные листья с дворовых двух тополей витали в воздухе, как души вылетающих из окна и как бы разбивающихся насмерть гостей.

Тем не менее была ясная секунда, когда Князев ощутил вокруг себя другие стены, и публика была несколько иной, и наружные стены здания отражались в кровавых заоконных лужах белым мрамором, и забытый тяжелый воздух государственного учреждения непереносимо давил на легкие, но эта секунда кончилась, и вновь сырая атмосфера подземелья спасительно вернула ему автоматизм дыхания, а где-то высоко над головой шла пальба, гремели речи, кто-то куда-то звал, все куда-то пошли, поехали, собрались в единую хрипло дышащую массу, и жуть всеобщей удали упразднила какой-либо страх, отменила оглядку, а затем все опять побежало, и камень величиной с конское копыто — или само копыто — что-то такое тупое и круглое обрушилось на нелысеющую голову Евгения, опрокинув его навзничь.

Он очнулся уже в Лялином переулке у Сеньковского. Как он добрался туда, не знали ни Сеньковский, ни он сам. До конца октября он не мог оторвать разбитую голову от черной подушки и окончательно очухался лишь тогда, когда кто-то из гостей оглушил его новостью:

— Да ты же лежишь на Хованском!

Он съездил на кладбище. До места своего упокоения Князев шел очень долго, не менее трех километров от входа на кладбище. Глядя на могилу, он тяжело дышал. Так оно и есть. Вот уже месяц, как свидетельствовала табличка, он пребывал в смерти. По странному стечению обстоятельств его могила соседствовала с могилой матушки Сеньковского. Они с Сеньковским выпили там и там. Чувство великого освобождения посетило душу Князева. Сперва он обрадовался: вот и началась пресловутая новая жизнь. Как часто — всю свою прошедшую жизнь — он дожидался сакраментального понедельника, с которого пойдет отсчет нового времени, где не будет всей этой бодряги, всей этой рутинной безнадёги, заблокировавшей все выходы из пустоты устающего сердца. Новая жизнь? Черта с два. Это совсем другое. Это наоборот. И все-таки другое.

Он гадательно, но довольно быстро понял причину своей смерти. Она была проще мычания. В те роковые дни и ночи при нем было удостоверение служащего Минморфлота, не сданное в свое время в отдел кадров при увольнении. Когда он, Князев, где-то валялся бездыханным, его попросту вытряхнули из пиджака, и грабитель, потом павший по-настоящему, был идентифицирован похоронщиками по князевским корочкам. Наверняка это случилось так, а не иначе, тем более что фотокарточка на корочках давным-давно лишилась малейшей внятности.

В девять часов пятнадцать минут людей впустили в помещение департамента. Князев со своими звенящими сумками вошел первым. Он чуть не вприпрыжку поскакал по коридорчику вдоль ряда стульев, с тем чтоб усесться на первый стул. Сделав это, он положил на стул кепку (занято) и вернулся к нача-

лу коридорчика, где стоял старый пустой письменный стол, под который он и поставил свои сумки. Посуда громыкнула.

Очередь поделилась натрое. Одних вызывали «по времени» (Князев не знал, что это такое), других — «по справке» (?), третьих — на первичную регистрацию. Князев возглавил третьих. Его пригласили в кабинет № 7. В тесной комнатухе за столами, уставленными компьютерами, сидели встрепанные чиновницы. Князева усадила на стул возле стола без компьютера сухопарая брюнетка в очках. Она и сидя была под потолок.

Холодок беды пронизал Князева. Во внутреннем кармане плаща не оказалось документов! Он обхлопал и обшарил всего себя. Бумаг не было.

Князев взмолился:

— Запомните меня. Я сейчас буду. Забыл, склероз. Маразм. Запомните меня!

Он подхватил сумки с тарой и выскочил на апрельский ветер. С чего начать? С пункта приема стеклопосуды? Наверно. Время еще есть. Хотя и усеченное. Биржа труда сегодня работала почему-то лишь до трех. Но время есть, а сухопарая посулила не забыть его.

Князев побежал в Козицкий переулок, миновав двор, где когда-то взяли Солженицына, перед выбросом за бугор, и спустился в подвал приемного пункта. Началось знакомое: закрыто. Сердце уже бухало. Князев поспешил в Камергерский. Серый конструктивистский дом, на котором висит беломраморная мемориальная доска М. Светлова с отбитым нижним углом, пережил обновление фасада. У глазуновской академии появилась антикварная лавочка с купецко-царским крыльцом, на крыше которого заблестал трехголовый — подразумевался двуглавый в зависимости от точки смотрения на него — орел, осеняя крылышками надпись «Мир искусств».

— Хорош мир искусств под государственной птичкой, — на ходу съехидничал Князев, углубляясь под свод высокой арки. По каменной лестнице, отдуваясь, он поднялся во двор, где в укромном пункте надеялся опустошить свои сумки. Но закон подлости сработал и здесь. Закрыто.

Дело стало припахивать катастрофой. Князев остро чувствовал такие вещи. Вся его посмертная деятельность была хождением по краю. Он чуял: скоро конец и тому, что у него вроде бы как бы есть. Крыша Сеньковского вот-вот должна была не то чтобы обрушиться, но исчезнуть. Сеньковский последнее время отдалялся от своего жилища в какую-то неясную сторону, называя ее бизнесом. Сеньковский стал бывать трезв, бриться, надевать костюм, галстук, подолгу не бывал дома, имел деньги. Сеньковский даже отремонтировал своего «Жигуля». Именно обуржуазивание Сеньковского натолкнуло Князева на мысль о бирже труда. Гордость и сегодня поутру понудила Князева собрать в доме все пустующие бутылки, отереть их от пыли, отмыть, сложить в сумки, дабы обзавестись ближайшим независимым прокормом. На деньги, предлагаемые ему Сеньковским, он жить уже душевно не мог. Ему казалось, что они как-то нехорошо пахнут, а, главное, Сеньковский как-то нехорошо ему их предлагал. Как кость собаке. Кстати, Пьера Сеньковский попросту считал псом. Тот спал на голом полу в голой аварийной комнате днем и ночью, свернувшись калачиком, не говорил ни слова, иногда поскуливал, отлучался ненадолго неведомо куда, возвращался в свою будку побитым и безгласным.

— Наркобарон вонючий, — брезгливо бурчал Сеньковский. Частично это было правдой. Раньше Пьер приторговывал героином, но теперь как раз скрывался от своих компаньонов.

Катастрофой же дело пахло потому, что Князев шкурой отсчитывал бешеный бег времени. Уже два часа он ухлопал попусту. Ни денег, ни документов. А на Лялин еще надо ехать. И есть ли там кто? Сеньковский явно умотал. А если и Пьер вышел на самовыгул? Нет никаких гарантий, что ключ под лопиком у входной двери дожидается Князева. Что делать с сумками?

А то и делать — оставить здесь.

Князев осмотрелся. В углу двора на свежей сырой траве под кирпичной стеной лежала пожилая баба в лохмотьях, уткнув голову в небольшую тележ-

ку на двух колесиках. К тележке был привязан какой-то куль, или мешок, или узел,— по-видимому, весь ее скарб. Все это охраняла бурая лайка на поводке, пристегнутом к тележке. Лайка дремала рядом с хозяйкой. На женщине были ботинки — итальянские, черно-коричневые, под замшу, такие же, как у Князева, который взял их по дешевке в недорогом магазине на Остоженке.

Князев пробудил спящую. Они сговорились быстро. Все свое добро (вместе с сумками) он за бесценок отдал ей.

Он невольно присмотрелся к этой старухе. Что-то глубоко знакомое было в ней, и, пожалуй, не в самом ее лице, которое, если взглядеться, было вполне правильное, но в той нечетко видимой печати, которой отмечены некоторые лица. Это была печать совершенно отдельного существования и природной отрешенности от общего течения жизни. Где же он ее видел, эту странную старуху? Не сделав никакого умозаключения на этот счет, поскольку он вообще отказался от всяческих выводов и обобщений, он мельком почему-то подумал о том, что из всей истории угличского заклания агнца его больше всего некогда удручил тот факт, что, когда толпа посадских по набату растерзала убийц царевича, попутно пострадала и некая *женка юродивая*. Зачем они ее убили, женку юродивую? И где он видел *эту*?

Так или иначе дело он с ней сладил. Он немного повеселел и, пробегая мимо ущербного Светлова, пропел тихо:

— Гренада, Гренада, Гренада моя!..

Под половиком ключа не оказалось. Князев нажал на дверной звонок три раза. Никакого отзвука не послышалось. Князев в отчаянии вышел во дворик. Тополя начали опушаться легкой зеленью. Серая вата неба клоками висела на их подпиленных ветвях — муниципальные службы, как ни странно, следили за московской растительностью. Князеву не нравилось издевательство над деревьями. Всех вы нас стрижете под одну гребенку. Он стал кругами ходить по дворовому прямоугольнику, изредка бросая взгляд на два черных окна Сеньковского. В нем нарастал гнев. Он готов был с разгону прошибить головой оконное стекло. Как назло, сегодня и форточки были захлопнуты наглухо. С тех пор как Сеньковский стал заниматься своим загадочным бизнесом, в его жилье повеяло духом осажденной крепости. Поставив стальную входную дверь, Сеньковский поговаривал о решетках для окон. Да, все шло к тому, что Князева и Пьера из этого Бреста скоро попросят. И Бог с ним. Что-нибудь придумаем. Но что делать сейчас, не когда-нибудь, а в данный момент?

В глубине оконной черноты пробрезжило человеческое лицо.

Князев знал его. Оно смахивало на курносое губастое лицо Пьера, присыпанное то ли пылью, то ли пеплом. Князев и Пьера-то подобрал на улице из-за этого сходства. Вот уже года два этот человек приходил к нему регулярно, и, что характерно, не во сне, а наяву. Ни разу он не приходил во сне. Князев назвал его Гришкой, то есть самозванцем, пройдохой, выдающим себя за него, Князева. Гришка утверждал, что его зовут Евгением Николаевичем Князевым, что это он лежит на Хованском, но еще хуже то, что он там не лежит, а мучается в самом настоящем аду. Он мучается тем ужасней, что не за свои грехи.

— Нет, ты понимаешь,— говорил Гришка,— что ты со мной натворил? Нет, ты не понимаешь. Мало того, что я сам по себе прожил не ангелом, но я хотя бы не выначивался, а был таким, каким родила меня мама родная, но мало мне моего дерьма, так ты нагрузил меня своим, и от моего собственного уже ничего не осталось. Ко мне являются твои знакомые, твои родичи, какие-то дохлые старики, нерожденные младенцы, преданные тобой друзья, обиженные тобой девки, обойденные по карьере сослуживцы, уязвленные соседи, утопленные котят, отравленные тобой мухи — и те ко мне прилетают, и все меня казнят, а я с ними дурак дураком, я впервые их вижу, я не виноват, это не моя жизнь, не моя — почему я должен отвечать за тебя?

— По кочану,— отвечал Князев.— Ты вор.

— Вор! — гордился Гришка.— Но я погиб. Я погиб. А не ты.

— Вот это неправда. Ты ничего не смыслишь в делопроизводстве. Погиб я. И давно. Но ты — доселе неизвестный феномен. За гробом расщепляющаяся личность. Ответчик перед небесами за другого. Такого еще не бывало.

— Кочумай, тварь! — свирепел Григорий. — Ты хоть знаешь, кто меня похоронил?

— Догадываюсь.

Как-то, по весне заглянув от нечего делать на Хованское, на подходе к своей могиле Князев заметил долговязую девушку с цветами, входящую в оградку его могилы. Князев спрятался за деревьями. Дочь долго сидела на лавочке. Он сбежал. Километра три бежал без оглядки. Он и раньше понимал, что его похоронила семья. Конечно же. Кто еще? Кому еще сообщили о его смерти? Повидимому, Гришка был обезображен той ночью до неузнаваемости, и жена Инга в слезах, не глядя, попросту покорно согласилась с неизбежным фактом его ухода. Не мудрено. Она сама все время предрекала ему финал под забором. Семь лет его физически не было для нее. Она успела его забыть и зрительно. Гришка сошел за Евгения.

Стальная дверь была не заперта. Князев вошел в прихожую. Первым делом он сунулся в аварийную комнату. Пьер спал на полу, вздрагивая.

— Почему не закрываешься? — проворчал Князев. Пьер разомкнул один глаз в пленке неразумия, вздохнул, перевернулся на другой бок.

Гришка, естественно, развоплотился. Он всегда это делал внезапно. Князев вынул из пыльного коричневого секретера Сеньковского целлофановый пакет с документами. Слава Богу, хоть они на месте. На всякий случай он обошел все жилище, заглянул на кухню, в совмещенный санузел — никого. Пьер вздрагивал, поскуливая. Князев захлопнул стальную дверь.

В коридорчике биржи труда на стульях сидели, казалось, те же люди. Очередь двигалась крайне медленно. На одну персону, первично регистрируемую в качестве безработного, уходило не менее часа. Князев взглянул на свои часы. Полпервого. Через тридцать минут обед. Он спросил у людей, давно ли зашел на регистрацию последний очередник. Ему сказали, что с полчаса назад. Князев стал прокручивать в голове: с учетом обеденного часа...

Вышла сухопарая.

— После обеда приму только одного человека.

— Вы меня запомнили?! — вскричал Князев как ужаленный. Сухопарая сквозь туманные очки зыркнула на него невидящими глазами и молча скрылась за дверью. Катастрофа приближалась. Он оставался ни с чем. Сердце Князева заныло.

Он стал сбивчиво объяснять очереди, в чем тут дело и отчего он должен быть следующим. На него смотрели как на сумасшедшего.

От него отвернулись. Все переговаривались о своем. О своем, но об одном и том же: как так получилось, что они оказались здесь. Чаще всего звучало слово «конверсия». Он осознал, что у него из рук уплывает единственная возможность существования, последняя государственная халява, — если не сегодня, то все, кранты, конец, ни полушки. Ингин забор. Мир становился предельно ясным. Князев видел его до детали. Вот и эти человечки, каждый из них, до мельчайшей морщины были видны ему насквозь. Вот этот, аккуратно причесанный пожилой человек в кожаной куртке, — он рабочий, но похож на ученого, и у него радикулит. Вот армянка средних лет, крашенная блондинка, у нее муж как раз ученый, но последний раз ему выдали зарплату еще в январе, и она устала чего-то ждать, надо готовить тылы. Вон у той, в углу, лупоглазой пышки, которая, сняв черное пальто, оголила белые руки до плеч, — у нее на шее сидят двое детей, а работа на домашнем телефоне — видимость заработка, да и детям надо днем спать, а не вслушиваться в ее телефонные трели.

Словом, ясно. Его не пропустят. Он прав, но и они правы.

Стол в начале коридорчика был пуст, и Князев устало взгромоздился на него. Все князевское существо электрически напряглось. Мимо людей, жужжащих на стульях, прохаживалась пыльная радужная кошка. Неожиданно она подошла к столу с Князевым и, продемонстрировав необыкновенную прыгучесть,

взлетела ему на худые бедра. Сперва села кувшинчиком, потом свернулась клубком, нагревая князевский пах. Все очередики как один повернули к нему головы с легким удивлением.

— Спасибо за доверие,— сказал Князев кошке. Он почувствовал признаки некоторого уважения к нему со стороны сограждан.

Мимо всей очереди четким шагом прошел в комнату № 7 круглолицый человек лет пятидесяти в реглане. Дверь за ним закрылась, и все услышали его рокочущий баритон:

— Привет, девоньки, с праздником вас пролетарским. Ничего, милые, все скоро будет в порядке. Не верите? Я не шучу. Райкомы восстановим, все дела поправим.

Князев вспомнил о предстоящих президентских выборах. Баритон продолжал:

— Нет, я не шучу. Все отнимем. А что? Они нахапали, а мы вернем. Держись, девоньки. Ждать недолго.

Объявили обед. Все оставались на своих местах. Мозг Князева вскипал. Рыхлая массивная чиновница с желтым кофейником проходила вдоль стульев. Вдруг она провещала:

— Граждане, что вы тут делаете? Дайте нам покушать. Выйдите все на улицу.

— Узнаю родной совок,— отозвался как бы про себя рабочий в кожаной куртке.

Князев дождался, пока все вышли, стряхнул с себя кошку и рванулся в комнату № 7. Женщины ели. Пахло апельсинами. Баритон в реглане был румян. Не успел Князев открыть рот, как услышал железное:

— Выйдите вон.

Он побрел по коридорчику на выход. Спиной он услышал:

— Учтите, вас вообще нет.

Он оглянулся. В дверях комнаты № 7 стояла сухопарая. Он наконец-то присмотрелся к ней. Это была соседка по лестничной площадке. Из той, былой жизни, когда у него еще были дом, семья и самая жизнь. Она все про него знала.

— Вас нет, Евгений Николаевич.

Он и сам знал, что его нет.

...В тот вечер он, где-то недопив, заглянул в ресторан ВТО на предмет последних пятидесяти капель коньячка, больше ему не надо было. Предположительный ресторан опустевал, веселый народ шел оттуда, а не туда, несколько жаждающих стучали в стеклянную дверь, подавая пальцами выразительные знаки швейцару, скалоподобно неприступному. Швейцар знал Князева, не шибко уважал, но пропускал.

Князев взял в буфете сто граммов коньяка, ибо понял, что пятидесяти ему все же не хватит, и сел за пустой столик в большом зале неподалеку от входных дверей. Гасили основной свет. Актеры, забежавшие после спектаклей, в попытках опрокидывали по маленькой, преимущественно прямо в закутке буфета. По существу, Князев сидел в зале один, если не считать большого стола с тихой компанией патлатых голубых,— Князев забыл принца со свитой, но его раздражали своей совершенно наглой легализацией в новые времена эти страдающие меньшинства. В полумраке он смотрел в дальний угол ресторана, на то окно, под которым в далеком далеке своей молодости он как-то вечерком остановился со стороны улицы Горького в состоянии легкого недопития, столь ему свойственном,— перед приоткрытым окном внутри ресторана сидел киноартист Рыбников, и Евгений решил подучиться:

— Мне — надо.

— Заходи,— сказал Рыбников, широким жестом руки указав на стул рядом с собой. Князев вошел в окно. Они душевно посидели, пили перцовку и в два глоса читали Есенина. Евгений никак не назвался, делал вид, что не знает, с кем

плет, и это с ним всегда так было — не имея имени, он и за другими людьми имен как бы знать не хотел.

Но знал, знал. Всех знал.

Раздался внезапный шум, звон стекла, перебранка на повышенных тонах, форсированный монолог о величии артиста — Князев узнал мужественный, прекрасно поставленный голос. Сеньковский в обнимку с неизвестным шагнул в полумрак пустого зала. Ничего другого не различая, он побежал на свет буфета. Его спутник брякнулся на стул поблизости от Князева. При перебежке Сеньковского из тени в свет Князев моментально сфотографировал глазами эту фигуру: всклооченная шевелюра, потертые синие джинсы, кремовая рубашка с погончиками, растянутая до пупа, белые кроссовки с волочащимися толстыми шнурками, по-видимому, развязанными.

Сеньковский вернулся с графином коньяка и двумя тонкостенными стаканами, весьма ловко держа все это в длинных пальцах левой руки, правой рукой на ощупь ища стол с собутельником.

Князев окликнул его:

— Юра, я здесь.

Сеньковский спокойно поместился рядом и разлил напиток по стаканам до половины. Выхлебав свою дозу до конца, он задумался мучительно с лицом подурневшим и искривленным и сказал:

— Так. А откуда мы приехали?

— Из Анадыря, — ответил Князев.

— Ба! — Лицо артиста прояснело. — А где мой летчик?

Летчик — это был человек в летней летной рубашке — сидя дремал по соседству, оперев подбородок о широкую грудь. Сеньковский растормошил его, перетащил за князевский столик, хотел было побежать в буфет за третьим стаканом, но таковой у них уже был, и, когда коньяк сел в стаканы, Сеньковский начал повествовать:

— Я, вишь, надысь, Женька, на Колыму слетал развеяться немножко. Вот. С ним.

Князев понимал, что Сеньковский врет, реконструируя личную версию известной истории с Высоцким, за которым действительно в оно время прилетал откуда-то с Дальнего Востока скучающий китобой и, отвезя его на недельку в свои края, где они хорошо погудели, вернул назад в целости и сохранности.

Юрий Сеньковский страдал фантазийным синдромом. Перехватив понимающий взгляд Князева, он предложил ему поменяться носками. Он работал по колодке. Аттракцион с носками — обросший мохом старый номер. Впрочем, от предложения Сеньковского веяло некоей ностальгией по былому. Так на традиционных школьных сборах стареющие одноклассники разыгрывают сценки прежних регулярных шалостей. И Князев готов был подыграть. Но тут обнаружилось, что на Сеньковском всего один носок. Видимо, он сегодня уже встречался со старыми друзьями.

Князев проснулся в разных носках, в черном и сером. За стеной похрапывал Сеньковский. Светало в три, на часах было пять, и Князев знал, что Юрка сейчас проснется. С трех до пяти — время самоубийц, Юрий всегда пробуждался именно в это время. Так и произошло. Сеньковский вошел тяжелым шагом, во вчерашней рубашке, в зеленых плавках и черном носке.

— Ты откуда? — хмуро спросил он.

— От верблюда.

— И что? — Сеньковский осмотрел журнальный столик около лежбища Князева, заваленный окурками, хлебными корками, пустыми консервными банками, вилками и ножами. Пойла не было.

— Да ничего. Хорошо, что гаишник любит твой прекрасный лик. Отпустил.

— Я опять был за рулем?

— Опять.

Сеньковский подошел к окну, посмотрел: колымага на месте. Затем он увидел ноги Князева, догадался:

— Значит, ВТО?

— Там.

— А кто еще был?

— Летчик.

— Какой он летчик! Доктор. Васька Филиппов. И где он?

— Не знаю. Ты вышвырнул его на Курском.

— И там были?

— И там.

— Так где же оно? — возмущенно потребовал Сеньковский.

Князев неохотно достал из-за секретера поллитровку самогона, взятую ночью на Курском у бабушки-предпринимательницы.

Так они стали жить вместе.

Совместная жизнь складывалась непросто. Быстро гибнуть Князеву не хотелось. Он время от времени устраивался на работу в самых разных качествах — от страхового агента до ночного киоскера. Подолгу нигде не задерживался — зачем? Более или менее прилично заработав на том или ином месте, он мог позволить себе неслужебную свободу, крайне жестко экономя на нуждах повседневности. Он в одностороннем порядке расторг свой договор с государством, а оно попросту забыло о нем. Славненько. Ни начальника, ни стукача. От своей одежды он требовал сносного вида, а не новизны или щеголеватости. Ел он мало, Сеньковский вообще, кажется, ничего не ел, тем не менее ухитряясь наливать декоративной матеростью. Обрастая пустым мясом, Сеньковский напоминал толстого чугунного Алексея Петренко в роли А. Н. Островского под Малым театром, как сострил Князев.

Их кормила аварийная комната. Она пустовала все чаще. Все московские дворники, казалось, куда-то испарились. Сеньковский пускал на постой разномастных гостей столицы, отлавливая их на Курском. Гости гостевали кто неделю, кто месяц-другой — работал конвейер, принося хозяину транзитной точки достаточно средств для всех его житейских упражнений. Князев сбегал на какую-нибудь временную работу, в сущности, из чувства самосохранения. Многофигурное мелькание под низкими потолками его пристанища давило на душу, как сами потолки.

Каких только видов заработка у него не было! Его позабавил вариант литературный. Когда появились частные издательства, ему предложили перевести с русского на русский польскую книжку о кулинарии. Это выглядело так. Князев, глядя в развернутую перед собой книгу, тут же отстукивал на машинке своими словами ее пересказ. Получался новый перевод. В результате издательство избегло выплат автору-поляку и прежнему переводчику. От этой работы Князев получил поистине творческое наслаждение. Еще бы. Известный малоед, он сделал книгу о еде — это во-первых. А во-вторых, впервые в жизни он выполнил совершенно необходимую — реально — для людей работу, послужил конкретной пользе, а не каким-то там сомнительным отвлеченностям.

Вид из окна был замечателен. Весь Кремль, за ним Зарядье, далее высотка на Котельнической, вся Москва. Из кремлевских сооружений Ингу еще в детстве волновали только бело-золотой Иван Великий да красная Троицкая башня, порой приближающаяся к самому окну Инги, но башне не давал хода, становясь поперек ее движения, дом Женьки Езерского с двускатной крышей, которую постоянно перелатывали. Вечно на ней сверкали свежие светлые заплаты. В тылу Женькиного дома когда-то гремела родная музыкальная школа. Сейчас от нее остались лишь кирпичные сталинградские осколки стен, внутри которых по ночам трещали костры бомжей. Из персонажей детства еще жил, многократно увеличившись, тополь во дворе напротив. Он стал шестиэтажного роста, так что, вероятно, лез в мастерские художников на мансардах соседнего дома. Но что происходило в соседних домах, Ингу не интересовало. Она отключилась от заоконного мира. Это в детстве она выскакивала утром на балкон, делала ручкой Ивану Великому и Троицкой башне — они в ее сознании были брачной парой, хотя она и знала, что невестой Ивана в старину считалась

башня Сухаревская. Но Инга все делала по-своему и сама сводила вещи, явления и людей. Для нее, например, неразрывны были монументально вышагивающий по переулку одетый во все коричневое драматург Ткачев и летящий в другом направлении изысканный блондин Николай Езерский, отец Женьки. В сущности, не Женька, а его строго-франтоватый отец привлекал ее, девочку, когда она сдавалась игре воображения в пространствах солнечного будущего. Она не знала, почему Ткачев и Езерский-старший составляли для нее некую пару. Это было ее интуицией, тем, что развилось с годами в дар прорицания. Судьбу Евгения Езерского (он в Инге жил, как в детстве, Езерским) она загодя просчитала от и до. Ей стало неинтересно жить. Она все знала.

После ухода Евгения из дома они оба поначалу почувствовали некоторое облегчение. Тяжесть, скопившаяся в воздухе дома, на какое-то время разределась. Но Инга достаточно быстро припомнила присловье Евгения, унаследованное, кажется, от отца: недолго музыка играла. Заскучала Дашка. Заскучав, обнаружила норы. С ней стало невозможно разговаривать, ее нельзя было улестить ни добрым словом, ни новой тряпкой, ни благодушной трепкой — Даша в четырнадцать своих лет по стопам отца ушла в опрощение и ни за что бы не выбросила поношенных джинсов, кабы не разрасталась вширь и в длину. Особенно в длину. Бросила школу Дарья, когда ей стукнуло пятнадцать. В доме топтался табун ее подружек и дружков, внешней разницы между которыми не существовало. В комнате Дарьи грохотала музыка, стояли то гвалт, то великая тишина, из-под двери тянулся сигаретный дым, постоянно падали какие-то предметы, звучали неведомые Инге словечки, а сама Инга в глубочайшем недоумении часами сидела с опущенными руками у себя в комнате перед слепящей до слез клавиатурой раскрытого «Беккера».

Когда Дарья выходила на улицу, Инга заглядывала в ее комнату, уже не удивляясь отличительной странности дочери: в ее девичьем обиталище не оставалось ни следа беспорядка. Слово никто у нее не собирався, не гоготал, не опрокидывал стулья, не стряхивал пепел где попало, не впечатывал в блестящий паркет черную грязь, приносимую на пудовых рубчатых подошвах гигантских ботинок. Однако однажды Инга наткнулась на шприц и осколки ампулы, обреченно уставилась на них, но тему эту не поднимала в утренних встречах с Дарьей на кухне; кофе по утрам они пили все-таки вместе, молча и сосредоточенно; Инга была уверена: Дашка не колется, руки ее были чисты и белы.

Похоже, Дашка верховодила своей тусовкой. Данные для атаманства у нее нашлись. Зычногосой верстой коломенской стала она к шестнадцати. Инга в ревнивой растерянности смотрела на ее могучее грудное двухолмие с острыми розовыми вершинками, когда обнаженная Дашка с полотенцем на шее не спеша проходила из ванной в свою комнату. Дарья на ходу встряхивала головой, сверкающие перлы капель с ее тяжелых долгих русских волос долетали до свернувшейся клубочком под зеркалом в прихожей Ласки, и та воспринимала их как дружеский призыв и обещание прогулки. С исчезновением хозяина Дарья стала ее полномасштабной владелицей.

Инга впала в прострацию, у нее разладились дела на работе. Ее лишили курса, урезали количество часов, она неизвестно чем занималась в консерватории, а времена невротически уплотнялись, коллег лихорадило, Инга подумывала об уходе с работы, да уйти было некуда — и кто ее будет кормить? Не набирать же учеников на дом. Здесь ад, а не дом. Какие-никакие деньги в свой ад она приносила, но Дарья сие обстоятельство как бы не касалось. Инга поражалась, на что живет ее дочь, но, видимо, у тусовки были свои источники существования.

Инга тихо наблюдала за развитием Дашкиной жизни. Как-то она решилась на серьезный разговор с дочерью. Ну хотя бы вечернюю школу надо ведь закончить. В очередной раз поразив мать, Дарья тотчас согласилась и, где-то фиктивно закрепившись на работе, что было условием для приема в вечернюю школу, стала исправно посещать занятия. Час от часу не легче: поздние возвращения Дашки из школы по черным улицам доводили Ингу до умоисступления.

В свое семнадцатое лето с подружкой Лялькой Дашка уехала на юг. В Грузии уже стреляли, но путешественницы знали дело туго — в Батуми было тихо. Лялька Инге была известна слишком хорошо. Ее родители гужевали с Князевым лет двадцать подряд, пока не сгорели в спиртовом пламени, и Лялька в одночасье кругом осиротела, жила где-то на Профсоюзной вдвоем с болезненным колли Джимом. Жаль было Джима, шерсть его тяжело свисала грязными буклями, глаза тускло светились голодной скорбью, при встречах с Лаской в нем начисто отсутствовал самец. Зато Лялька по неизвестной причине жарко дышала здоровьем, свежестью, щеки ее пылали огнем, и она всегда просила у тети Инги жрать, приходя со своим собачьим доходягой чуть не ежедневно. Незадолго до отъезда на юг у Ляльки с Дашкой произошла вспышечная размолвка. Лялька призналась Дашке, что ее отец, Князев дядя Женя, прошлой ночью зарулил к Ляльке и у них кое-что было. Ляльке Дашка тут же прогнала взашей, Инга на прозвучавший сюжет только иронически улыбнулась, но, увидев страшную потрясенность дочери, нашла в себе слова в защиту глубокой порядочности ее отца.

— Ты же знаешь, какая Лялька фантазерка. Как можно верить этим сказкам, Даша?

Она уговорила девчонок помириться. Лялька неопределенно повинилась, и они отправились к морю, оставив на Ингу двух собак и невозможность забыться в тишине и покое: Дашкины визитеры непрерывно звонили в дверь и по телефону.

Из Батуми девушки вернулись в конце лета дочерна загорелыми, пахнущими морской солью и хурмой, а для Инги и тусовки Дарья привезла ведро золотого фундука. Собаки встретили хозяек ликующим лаем. Вернее, лаяла лишь Ласка, но и Джим радовался, подвывая в унисон.

К этому времени большие перемены произошли у Инги. Однажды, выгуливая собак по Арбату, она наткнулась на Джуну, в окружении атлетической охраны посылающую свои пассы на податливую, всецело ей подчинившуюся толпу. Инга поняла: она так может. Соотнести себя с телепсихотерапевтом, харьковский выговор которого отторгало ее московское ухо, или даже с благообразным, похожим на седого петуха зарядателем воды, которого она знала еще по молодости в качестве заурядного шелкопера, она не могла и не хотела, это был жанр чужой, хотя и по соседству с территорией ее упрятанных умений. Джуна была неприятна Инге многогранной дилетантщиной, вульгарной агрессивностью и бьющей в глаза практической хваткой. Целая орава менеджеров стояла за этой выскочившей из бездны безвестности поджарой ассирийкой. Но Инга честно признала ее энергетическую силу, впрочем, бездуховную. К тому же Джуна, как все парвеню, непреклонно перла из грязи в князи, ее слепило блистание научных регалий и прочих доспехов вождельной элитарности. Инге этого не нужно было.

Еще нянька, большая теплая баба из Коломенского, в Ингином младенчестве что-то такое шептала ей и певала, от чего Инга, рожденная девочкой слабой и малоулыбчивой, сравнительно мало и не слишком серьезно болела и сосала грудь кормилицы до трех лет. Главное же, никогда не учась никакому колдовству, Инга всегда чувствовала людей на заочном расстоянии и умела воздействовать на них так или иначе. Ее благодатной аурой восхищались.

Это не касалось только своих — мужа с дочерью.

В Князеве ее оскорбило — почти в самом начале замужества — непризнание им вот этих особых ее свойств. Он смеялся над ее доморощенным ведьмачеством и очень удивлялся, когда она в том или ином прогнозе оказывалась пророчески права, — он отмахливо бросал: «Совпало!» — и продолжал пренебрегать ею, слепо переступая через дарованную ей свыше особенность. Дочь, разумеется, пошла по его стопам. Увидев как-то по телевизору старую ленту «Колдунья», Дашка заявила:

— Вот у тебя откуда все это. Под французенку косишь. Старо все это, мама, как и все эти ваши хриплые песенки про альпинизм.

Так или иначе Инга в отсутствие Дарьи дала объявление в «Вечерке». В результате какой-то корректировки в недрах газетной редакции объявление получило крен в сторону излечения от мужской немощи. Шквал звонков вдребезги разнес ее телефонный аппарат. Она определяла по голосу, стоит ли принять. Если голос ее устраивал, давала адрес, номер кода в подъезде, принимала. Приходили страдальцы ее лет. Они были все на одно страдальческое лицо. Она встречала пациента в строгом черном платье, распустив волосы, — тут Дашка была права: кинореминисценции имели место. Успех ошеломил ее саму. Семеро из десяти ощутили прилив сил, рвались на вторичный прием.

Она укладывала больного вверх животом на своей софе, велела закрыть глаза, негромко играла на рояле простейшее из классики, больной отрешался, Инга подходила к нему, уже наделенная властью воскрешения, водила ладонями надо всем распростертым телом, журчливо шепча старинный заговор: «Господи Боже, благослови, Отче. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. И пойду во чистое поле, и помолюсь истинному Христу, Царю Небесному, и как стоит пут железный жерновной, не тряхнет, не ворохнет, не шатается, так бы и у раба Божия (имярек) стояли семьдесят жил и одна жила. Семьдесят суставов против полого места, против женского, не погнулся бы, не ворохнулся бы, не пошатался бы. Всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь».

Инга не вполне сознавала, что все это было ее продолжительным, издевательским, горестным посланием к Евгению Езерскому, ее несчастному мужу. Она, безусловно, знала, где он преклонил голову. Как же пропадать без Юрия Сеньковского? Самое то. В точку. Она не окликала мужа, даже когда дочь бросила школу. И когда обнаружила в доме наркотики. И когда чуть не поверила в его ночной визит к Ляльке. На объявление в «Вечерке» он отреагировал. Колокольной силы звонок ночью потряс Ингину тишину. Она подняла трубку, он молчал, грустно залаяла пожилая Ласка.

Так прошло лето, вернулись ее чернокожие южанки, прием больных пришлось прекратить, а затем последовало нашествие гостей из Батуми.

Как оказалось, Дашка с Лялькой, сначала сняв на месяц за небольшие деньги веранду в грузинском доме, постепенно пригрелись в многодетной семье и продолжали жить в ее лоне уже бесплатно. Их там кормили, поили, обласкивали и проводили в Москву, как родных. Приехала Диана, игрушечная аджарка, по существу, турчанка, эластичного возраста, в сопровождении огромного груза всяческих вещей на продажу. Поторговав с рук на задворках ЦУМа, перекормив Ингу с Дарьей огненной пищей собственного приготвления, сплошь состоящей из аджики, Диана покинула Москву — тотчас явился двадцатилетний Пушкин, брат Дианы. Как Пушкина звали по-настоящему, Инга так и не узнала. Не знала этого и Дарья. Но он действительно походил на прототипа как две капли воды. Инга сразу увидела, что Дарью связывает с Пушкиным нечто нерядовое. Когда Дарья беседовала с ним на утренней кухне, Инга видела, что их вздымает и покачивает млечное парное Черное море, — они лопотали о своем при Инге, совершенно забывая про ее присутствие. Дашка влетала в речь много грузинских слов, звучащих на удивление сочно. Инга удивилась ее выбору — Пушкин был Дашке по плечо. Пушкин для приличия начинал ночь на кухонной тахте, но Инга прекрасно слышала, где он пребывал до рассвета. Так было две ночи, а потом на дом обрушились все они.

Их было человек десять. Гиви, Мамука, Нодар, Вахтанг, Георгий... нет, Инга не смогла их всех запомнить. Ярче всех, теперь она в этом убедилась, был и впрямь этот чертов Пушкин. Остальные были близнецовые красавцы как на подбор. Вольтеровское безобразие возлюбленного ее дочери польстило Инге как зеркальное подтверждение их фамильной наследственной непохожести. Самый эффектный из грузинских юношей Вахтанг попробовал оказать исключительное, особое внимание взрослой хозяйке дома. Придя вечером с цветами — безуханными астрами, — Вахтанг сел за рояль. Его дикий высокогорный Шопен чуть не разорвал Ингу изнутри спрессованным комком хохота. С началом ночи Дашка подкатилась под бок Инги, юноши дружно захрапели в Дашкиной комнате, Инга спросила:

— Надолго они?

— Не знаю,— счастливо ответила засыпающая дочь.

Кончилось это плохо. В течение месяца весь табор не трогался с места. Юноши торговали в подворотнях и пивнушках травкой и чаечей, привезенными с собой в изобилии. Ингу угнетала их постоянная небритость. В доме звучала исключительно чужая речь. Пушкин стал вести себя хозяином, покрикивать на Дашку, гонять друзей, как подручных, и выгуливать Ласку. Прежняя тусовка Дарьи рассосалась разом. В дом приходили лишь Лялька да Машка — Малёпочка, как называли ее в семье. Малепочка, хорошенькая шатенка, Дашкина бывшая однокашка, жила по соседству — единственная дочь состоятельных родителей.

Все они вповалку возлегали на полу в комнате Дарьи, набросав на паркет кучи каких-то пестрых тряпок. Отдыхали они там круглосуточно, время от времени по частям или всем составом выходя из дому. Дашка уже не приходила к Инге с ночевой, все девчонки теперь торчали там, в таборе. Дым конопли пропитал квартиру. Из унитаза несло чаечей.

Инга не выдержала.

— Почему вы не тусуетесь у Ляльки? — спросила она Дарью.

— Ты хочешь, чтоб я ушла из дома?

Инга затихла, ужаснувшись.

Беда стряслась в доме Машки. Малепочка, скорей всего накурившись конопли, с кухонным ножом бросилась на отца. Он получил семь ран. Отца и дочь развезли в разные стороны: его в реанимацию, ее в милицию. Отец выжил. Дочь освидетельствовали на вменяемость, каковая подтвердилась. Батумцы от греха подальше испарились.

Суд состоялся, но пропал в трехдневном патетическом ливне легендарного августа. Дашка мгновенно очутилась в прежней тусовке, разросшейся на всю площадь у Белого дома. Инга в одиночестве сквозь мокрую ночную тьму смотрела в окно на Кремль, еле светящийся. Полночный бой курантов звучал усталым набатом. Белый дом был за ее спиной. Затылком и позвоночником Инга знала, что там происходит. Дашку она не звала — не придет.

Началась новая эпоха Дашкиной жизни. Пока у нее был Батум, а потом пришлый батумский содом, тусовка сколотила рок-группу. Терпеливо ждали заблудшую Дашку — дождались. В подземном переходе под Арбатской площадью, отрегулировав все дела с милицией и рэкетом, группа работала вечерами. Днем они релетировали у Инги. Это была кошмарная каша из блюза, тяжело-го рока, рэпа, каша несъедобная, ведущая напрямик к завороту кишок. Краем уха Инга пыталась отловить звук самой Дашки. Дашка орала, как оглашенная, и только по-английски. То ли Тина Тернер, то ли Элла Фитцджеральд были ее образчиками. Опять-таки странно: Дашка любила старух, а не что-нибудь вроде Мадонны. В доме хранились инструменты и аппаратура. Давно знакомые гаврики, свои, московские, снова окружили Дашку, и это как-то грело, но Инга сбегала из дому.

Инга вечером пошла посмотреть, что они там выкамаривают. Подземный переход был набит подростками, как бочка сельдью. Дым стоял горизонтальным столбом. Мир завалило набор. Петушки хохолки и полуобритые черепа, мерцающие вериги на худых невымытых шеях, черная кожа косух на коротко-стриженных качках и белые девичьи овалы в джинсовой синей бахrome отхваченных штанин, битое бутылочное стекло, отстрелянные гильзы пустых пивных банок, сплошняк потных сорокаградусных тел — все это покрывал разрывающий уши грохот синтезатора, сквозь который прорывались гитарные аккорды, дробь ударных, кошачий вой саксофона, а внутри всего этого шумового шабаша — Инга услышала — звенел на запредельной высоте голос ее бедной Дарьи. Ингу прижало к добела раскаленному стволу колонны, крытой скользким кафелем. Косматые головы плечистых гигантов заслонили певичу, но, когда лицо Дарьи, подобно серебрянке из морской пучины, выскакивало на поверхность подземного штормового месива, Ингу всякий раз поражало это измученное лицо светом самозабвения и чего-то большего, чем просто исполнительский восторг.

Инга возвращалась домой в отчаянии. Она, воспитавшая десятки музыкантов, у себя под боком прозвала истинную артистку. Бесконечная тоска по музыке, озвученная голосом дочери, стояла сейчас в ее ушах и терзала сердце. Только что Инга воочию видела начало еще одной — потомственной — колеи недоволощенности. Уличная певичка, девочка ты моя, кто поставил эту круглую роковую печать на твоём чистом лбу?

Вскоре у Дарьи все круто поменялось. Она родила. В отцы своего ребенка она выбрала Павлика, опять классически миниатюрного и столь же бойкого. Инге он казался цыганенком. Он заправлял концертными делами и вел их, судя по всему, неплохо. Деньги у молодых были.

У Князева родился внук.

Выступления в подземелье оборвались. Дашка катала по Арбату коляску с сыном, приветствуемая со всех сторон своими поклонниками, — это был сын Арбата. Дашка назвала его Женей. Когда ребенку исполнился год, пришла весть о смерти его деда. Снайперы уже ушли с чердаков их переулка, но еще слышалась трещотка стрельбы на Новом Арбате. Павлик сунулся туда, попал под обстрел, уцелел. Погиб Князев. Ингу вызвали в морг. Всю ее заколодило. Глаза ее были сухи, но ее покинуло тайное зрение.

Похоронами занимался Павлик, Инга пребывала в столбняке. На Калитниковском кладбище, где покоились родители Евгения, места ему не нашлось. Его хоронили из морга.

Сразу после похорон Инга захворала. Повяло холодом онкологии. На операцию с Павлика запросили бешеные деньги. Он отыскал их. Дарья навещала в больнице мать и приходила на Хованское.

С пением она рассталась.

— Видишь ли, я вырос на джазе. Мелодически я беден. Мне не понять твоей теперешней сложной музыки.

Обычно Князев старался избегать густой метафорики в разговоре, но тут некуда было деться — Сеньковский сидел перед ним в кресле с гитарой в руках. Он не играл. Лишь изредка хлестал всей пятерней по струнам.

В середине мая вдруг затопили. По системе отопления проходили потоки гортанного звука. На дворе стояла двадцатишестиградусная жара.

Неделю назад хозяин выпер Пьера. Пришел черед Князева.

— Какая музыка? — отвечал Юрий. — Все проще. Сам видишь. Работают по специальности. Работы по горло.

Князеву стало недавно известно из нетрезвого откровения Сеньковского, в чем заключается его бизнес. Фирма по торговле недвижимостью наняла его, солидного мужчину аристократической наружности, представлять на переговорах с контрагентами. Сеньковскому не надо было говорить ни слова. На удачное заключение сделок влияло самое его присутствие, легкий кивок, сухое «да».

Дело шло к новой машине и евроремонту. Стальная дверь сама по себе уже стала между Сеньковским и его вчерашним прошлым, за гранью которого оставались все его действующие лица. Шел отсев, шел отбор, выживал сильнейший.

Князев не очень-то верил в силу Сеньковского. Сейчас актер, разумеется, восхищен собой. Роль хороша, прибыльна, очень нова и свежа, так сказать, зрительским составом. Но музыка будет играть недолго. Несть числа спектаклям, которые заваливал Юрий Сеньковский. Это с ним случалось на пике успеха, вместе с которым достигал потолка его сплин. Капля алкоголя низвергала его с горы. Он падал, отворачиваясь от жизни, как от отлюбленной женщины. Впрочем, Князев понимал, что Сеньковский своим финансово-творческим взлетом пользуется лишь как возможностью отделаться от него, Князева.

— Жарко у тебя, — сказал Князев.

— На улице ветерок.

И Князев ушел.

Он шел по Воздвиженке, прихрамывая. Краем глаза за могучим квадратным плечом Библиотеки имени Ленина он заметил сверкнувший золотой шлем храма Христа Спасителя. Еще не облицованный мрамором, издали коричневый храм смахивал на склад,— вчерашнее зрение задержалось в глазах Князева, времена поменялись местами. Князев шел по Воздвиженке, и тень Троицкой башни следовала за ним. Дул сухой ветер.

На троллейбусной остановке у девушки, прорывающейся в утробу троллейбуса, из руки выпал кожаный кошелек. Ветер понес тысячные бумажки по улице. Здесь было непрерывное движение, без единой паузы, машины шли потоком, однако на сей раз случай подарил недотепе возможность собрать хотя бы часть утерянного: на какое-то время Воздвиженка чуть не опустела.

— Бог из машины на твоей стороне,— сострил Князев,— подбирай, пока не поздно.

Девушка оказалась гордой. Ее деньги летели по ветру — она двинулась в обратном направлении. Да, русский менталитет, подумал Князев про гордячку, но и сам, будучи бедней церковной крысы, не побежал за купюрами. Он оглянулся на девчонку: Подмоскowie, ПТУ, текстильный городок.

В просвете между библиотекой и усадьбой Талызиных, в том промежутке, что раньше назывался улицей Маркса-Энгельса, в глаза Князеву вновь блеснул золотой шлем. Отсюда храм казался более приземистым.

Он не был здесь сто лет. Дома выглядели чуть не черными, уличный транспорт делал свою работу, и те куски фасадов, что не были покрыты выхлопной сажой, контрастировали с ней ослепительной свежестью недавней покраски. Все здесь было не такое. Не такое, какое было в детстве и в памяти. Другие вывески, другие цвета, отсутствие гранитного Калинина по кличке Козел-в-пенсне, потемневший, потерявший державно-мавританскую важность Дом дружбы, торговый ряд, захвативший куртину, с каштанов которой сыпался густой снег обдуваемых ветром свечей, ресторан «Прага», целиком закрытый пыльно-серебристым занавесом реконструкции,— от всего этого сердце Князева сжалось, и, зачем-то причесав железной расческой отпущенную за эти две майские недели седую бороду, он свернул в свой переулок.

Вот его дома. Родительский дом и дом Инги. Он осмотрел родительский — и порадовался: десять лет назад родной фасад был грязно-фиолетовым, точно из него выползли и замариновались дождевые черви. Этот его дом, по видимости, разрушался. Неожиданно фасад подновили, покрыли светлой желтизной, и к мемориально-бронзовому Ткачеву с вывернутой ноздрей сапогоподобного носа прибавили черно-гранитную доску немцев, отца и сына, пару профилей один на другом,— Князев начисто их забыл. В их честь, собственно, и преобразили фасад. Водружение доски практически совпало с падением Берлинской стены. Доска выглядела ее замечательно отполированным осколком.

Между родительским домом и домом Инги, на месте слияния двух переулков, в густых квазикремлевских елях за каменными островерхими столбами железной ограды самоуглубился двухэтажный особняк в стиле сталинского ампира. Что здесь было прежде, Князев никогда не знал,— у ворот стоял милицейский постовой, подъезжали и молча мерцали черные «Волги». Постовой исчез, на стене у входа в особняк появилась весьма скромная вывеска, где мелко золотым по черному было выведено: «Клуб ветеранов МВД». Девушка в наколке официантки мелькнула в окне особняка. На крыльце рядом с вывеской толпились нарядные мужчины и женщины.

Заканчивался каскад майских праздников. Эти люди, похоже, вдогонку отмечали День Победы.

Настало время посмотреть на дом Инги. Пятнадцать лет, прожитых там, пролетели, как лепестки каштанового цветка,— свечка погасла. Князев запрокинул голову — ему стало больно: дом был пуст. Черные щербины окон белыми рамами оскалились на Князева. На балконах он увидел сваленные скелеты балконных рам, кучи мусора, одну детскую коляску, один псевдовенский стул, какие-то деревянные щиты, по периметру обитые железом.

С балкона седьмого этажа — это был этаж Князева — его окликнули.

— Подымайся! — кричал человек в широких рабочих штанах с помочами, красной каске и резиновых сапогах.

Дверь подъезда была новая — металлическая, темно-малинового колера, с бронзовой львиноголовой ручкой. Князев пешком поднялся к себе на этаж, по пути поглядывая на раскуроченные внутренности опустошенного дома. В квартирах не было полов и, следовательно, потолков. В дверном проеме его квартиры — дверей не было — стоял тот человек. Кажется, в Ингиной квартире единственной сохранился пол.

— Подзаколотить хочешь?

— А то,— твердо ответил Князев.

— Тогда давай.

Что осталось от хором! Ничего не осталось. Потолка не было. Над Князевым зияло пустое пространство до крыши. Груды прошлой жизни лежали кучами штукатурки, извести, дранки, досок, кусков ломаного дерева, бесконечного рваного шнура проводки, выламывали елочку паркета, вырванных плитусов. Отдельно чернел лежащий чемодан. Там был архив князевского отца. Этот архив Евгений перенес сюда после смерти матери. Здесь его и позабыли, съезжая. Откуда-то слабо пахло Лаской.

Оказалось, дом выселен.

— Куда же делись жильцы?

— Откуда мне знать? Я вот даже не знаю, где моя бригада закирляла-загуляла.

Они выносили мусор в бумажных мешках, картонных ящиках, на носилках, додалбывали и доскребывали штукатурку со стен, сдирали дранку, подметали и опять мусорили, выламывали елочку паркета, сбивали плитку в ванной и на кухне,— Господи, Князев и не знал, как богато и фундаментально он жил. Вынесенный мусор они сбрасывали в огромное корыто железного контейнера, бортом прижатого к дому.

— Дом закупили богатенькие,— говорил князевский бригадир.— Тут теперь на каждую семью будет по этажу.

День пролетел. Когда были вынесены мойка, унитаз и ванна, они последний раз вытерли пот со лбов. У Князева заныла щиколотка. Наломались до предела. Появилась бутылка «Старой Москвы», потом вторая, и все это под польскую колбаску, молодую редиску и зеленый лук с только что привезенным в «Новоарбатский» свежим хлебом, еще горячим. Князев признался:

— Это мой дом.

Бригадир усмехнулся:

— Я так и понял.

Наступила темнота. В стороне Кремля взлетело несколько цветных ракет — остаточная вспышка ежевечерних майских салютов.

Они договорились, что Князев проведет тут ночь. Бригадир ушел, пошатываясь. Из клуба ветеранов МВД оглушительно выливалась, как из тюремной параша, всякая шуфутинско-звездинская дрянь.

— Киса, киса, киса, милая Лариса,— хрипел уголовный голос, отчего-то, однако, волнуя Князева. Он сидел на балконе, на фанерном чемодане отца, уставясь на золотую луковичу Ивана Великого, на его могучий белый ствол, навывлет пробивающий черную московскую ночь. В небе над колокольной возник старый фотопортрет отца в форме царского офицера. Наконечник отцовского аксельбанта при соприкосновении с крестом колокольни высекал искры — или это был веер салюта? Так или иначе лицо отца существовало — и не только в небе над Москвой, но и, напротив, под задом Евгения. Он на нем сидел. Он никак не мог открыть чемодан, поближе взглянуть в глаза молодого офицера. Им обоим нечего было сообщить друг другу. Сквозь тело сидящего на нем сына Николай Езерский смотрел на самого себя, юного и нетленного, сияющего в голубоватых прожекторных лучах победительной Москвы. Николаю Дмитриевичу было тесно в чемодане, его сдавливали и душили никому не нужные рукописи ста начатых, оборванных, скончавшихся от собственного страха пьес. Он не мог от них освободиться и там, далеко отсюда, потому что его дрябля

душа записного острослова все равно осталась здесь, — пока существовал этот проклятый чемодан, его фанерное узилище, не подверженный тлению гроб с поржавевшими железками замков.

Светало. Князев понял, что он обязан сделать. Он впервые пожалел родителей, потому что впервые услышал его. Металлическая дверь подъезда была заперта, Князев нашел черный ход. Ломом, тут случившимся, он выломал деревянную старую дверь. В корыте контейнера, набитом горючими дранками, лохмотьями обоев, линолеумом, плитусами, паркетинами, он развел огонь, вспыхнувший мгновенно. Бешеная крыса, выскочив из пламени, промчалась по стене дома, как мотогощица. Чемодан сгорел быстро и бесследно.

— Что же ты тут творишь, охламон?!

К поджигателю бежала дворничиха. Она размахивала метлой и еще что-то кричала, а Князев думал: зачем на ней эта оранжевая роба? Имя дворничихи было Марина. Ее лицо не имело бровей и ресниц — круглое мучнистое лицо в желтых веснушках старой девушки. Татарка небось, подумал Князев, ошибаясь. Казалось, одна из веснушек залетела ей в рот, став тусклой золотой коронкой в верхнем ряду несвежих передних зубов.

— Не брани меня, родная, — сказал он ей, — давай я тебе лучше помогу.

— Чего помогать? Чего ты тут костры палишь? — Она как-то сразу простила его. Наверно, у Князева был убедительный вид. Весь в известке, в пыли, в паутине, в плесени, и к рукам прилипли черные хлопья сгоревшей бумаги. Из пожарного депо, расположенного рядом, они на пару принесли по ведру воды, тщетно заливая полыхающее содержимое контейнера. На помощь приехала пожарная машина. Пожарники нехотя развернули шланг, и один из них направил стальную струю в корыто. Густой столб черного дыма встал над переулком. Пахнуло угаром. В корыте пошуровали штырем. Черная лужа распространилась вниз по переулку.

— Вот так и сожжете Москву.

Князев вырвал метлу из рук Марины, которая не упиралась. Он мел свой переулок, она молча наблюдала, позевывая. Переулок был короткий, метров триста, с изломом посередине, где и стоял родительский дом, ныне ослепительно залитый лучезарным весенним солнцем. Среди нового мусора, наметенного Князевым в кучу, были окурки с золотым фильтром, много пивных бутылок и банок, пластиковые емкости из-под пепси, серебряная сережка, какие-то бланки, куски афиш и объявлений, еще не увядший букет красных роз, белый карандаш «Bic», воткнутый в банановую кожуру. Москва была завалена банановой кожурой.

Они покончили с уборкой улицы. Марина взяла в руки метлу с лопатой и ведро, второе ведро прихватил Князев, и они вошли в подъезд его родительского дома. Лифт не работал. От лестницы веяло свежей убранныостью, Князева это удивило.

— Работаю, как мерин, — без нажима обронила Марина.

— Поэтому ты не Мнишек, — непонятно сказал Князев.

До третьего этажа лестница была некогда сделана из белого камня, за столетия обесцвеченного. Два следующих этажа продолжались бетонными ступеньками. На четвертом этаже одна из ступенек покачивалась. Углубление в ней было наскоро, давно и безуспешно заделано цементом. Князев усмехнулся. Щербинка на бетоне постепенно стала трещиной, затем ямкой, знаменуя собой наличие Жениного следа в жизни.

— А мясником так и не стал, — произнес он.

— У тебя как с крышей? Не едет?

— Нормально.

Мимо своей квартиры он прошел, намеренно не взглянув на нее, заметил только, что многие двери в подъезде обновились, опасно посверкивая дерматиновой обивкой. Кажется, только двери его квартиры остались прежними, дощатыми.

Короткий лестничный пролет на чердак, где Марина складировала свой инвентарь, представлял из себя самую настоящую клетку. В такой железной клетке, видимо, привезли на казнь Емельку Пугача.

— Что это? — остоленел Князев. Марина не поняла его. Князев конкретизировал: — Филиал Лефортова?

— А! Это от бомжей. Повадились. Со всем РЭУ переругалась, пока привела сюда сварщиков.

От бомжей. За кого же она держит его? Он вошел на чердак. Пахло пылью, родной пылью детства. Все эти отдающие гнильцой балки, два высоких слуховых окна, материнское тепло нагреваемой кровли — Князев как бы и не выходил отсюда. Даже диван, сгнивший до пружин, был тот же. Здесь десятилетний Женя условно потерял первую невинность в голубиных соприкосновениях с соседской Люськой. Здесь в объятиях ткачевской домработницы Саши смертью Рафаэля закончил свои дни Николай Дмитриевич Езерский. Здесь Женя и застал тело отца после того, как полоумная Саша поймала его во дворе, мыча и воздевая палец к небу, — Женя понял, что надо бежать на чердак.

Князев вспомнил, где он видел женку юродивую.

Голуби продолжали жить на чердаке, воркуя о том же и там же теми же доводящими до слез грудными голосами.

Князев высунул голову в слуховое окно. Правильно. На жестяном карнизе старухи Вольперс сверкают ядрышки пшена. Так оно и было всю его прошедшую жизнь.

Марина навесила на клетку неподъемный амбарный замок. Заработал лифт. Они съехали вниз.

— Прощай, Марина, — сказал он, когда они оказались на солнечном асфальте тротуара под зеленой ноздрей Ткачева.

— Как это? Поматросил — и бросил? Пойдем. Головка небось вава.

В торговом ряду «Воздвиженка» они набрали очень много бутылочного «Жигулевского» и в двух пластиковых авоськах принесли его к Марине в Брюсов переулок. Это был аналог аварийки в Лялином. Однако здесь жила женщина. Жилье не изобиловало предметами обстановки, но то, что было: стол, два стула, платяной шкаф, кровать с ковриком над ней, — содержалось в деревенской, что ли, чистоте.

Выведя Князева в заросший дикой сиренью дворик своего дома, Марина влажной щеткой почистила его с ног до головы. Он принял приблизительно пристойный вид. Они сели за стол. Потекла беседа. Между прочим он спросил, кто там теперь живет у Ткачева, она ответила, что никто, что там теперь пусто, потому что это теперь какая-то гостиница сибирской конторы, связанной с золотом, деятельность которой, поговаривают, оказалась панамой вроде Мавроди. Логично, подумал Князев, имея в виду переход от бронзы Ткачева к золоту нынешнему веку. Истощенный организм Князева сдался быстро. Через полчаса он плел несуразицу и плохо понимал собеседницу, но той, кажется, и не надо было полного понимания. Ясно было, что они обмениваются сведениями о себе для себя же, но она все-таки осознала, отчего он тут с самого ранья вертится, а он уловил некоторые большие моменты ее судьбы, о чем наглядно свидетельствовала синяя наколка в форме перстня на безымянном пальце ее левой руки, и вставленная к слову пословица «Попробуешь пальчика, не захочешь мальчика» подтолкнула Князева к соотнесению этих частностей с той железной клеткой, но весь поток их беседы был сплошным лишь по кажимости, поскольку то он, то она временами отключались от говорения и с открытыми глазами, сидя, падали в иное пространство, впрочем, являющееся частью первой действительности, но частью боковой, периферийной, не ощупываемой руками сознательного осязания. Время в тихой дворничкой набрало дикую скорость, так что московская ночь упала на Брюсов переулок камнем, как южная тьма.

Ноздря Ткачева втягивала в себя, приносиваясь к близко соседствующему с ней граненому стакану наружной лифтовой шахты. В былые времена, ныне упраздненные, Князева, когда он мельком, проходя мимо, взглядывал на эту ноздрию, всякий раз темно тянуло прокатиться внутри этого носа до самого чердака.

ка, наверняка находящегося во лбу бронзового демиурга. Там явно хлопали крыльями непостижимые тайны. Не голуби, а нетопыри.

Князев и Марина задремали каждый на своем стуле, положив подбородок на грудь, и на выходе из дремы в полуявь Князев увидел сквозь приоткрытые губы Марины ее желтую фиксу, и в расстроенном мозгу его за долю секунды проскочил когда-то от кого-то слышанный рассказ о том, что колымская вохра на приисках в те золотые времена из уворованного металла делала коронки для своих свирепых собак, таким образом набивая собачьи пасти несметным потайным капиталом, и рот ни в чем не повинной Марины на глазах у Князева заполнился лающим лютым золотом. Князева пробилла мгновенная дрожь, очаг которой был где-то в нижней части затылка.

— Дай мне ключ от клетки,— негромко попросил Князев.

— Ложись здесь,— махнула Марина на кровать.

— Дай ключ!

Она резко и окончательно отказала. Он вспыхнул. Уходя, сильно хлопнул дверью.

Его понесло по Москве. Похолодало. Начались черемуховые холода. Москву, казалось, трясло: знобило. Брюсов переулоч выкинул его на Тверскую напрямиком под копыто княжеского коня. Нет, Князев нисколько не испугался широкогрудого всадника. Но, в шальноватой бессмысленности обежав площадку Деда, он беспамятно потрусил куда глаза глядят. Он отрывочно обнаруживал себя то у пастушковаго Есенина на Тверском, то под одним из шести белокаменных львов на воротах Английского клуба, то под гофрированным алюминиевым навесом над тротуаром возле неясной стройки; он продвигался неведомо куда, пока не поймал свой взгляд на усилиях узнать внушительное здание с чернотермальными окнами и многоэтажными эркерами — и узнать не мог, потому что его никогда не было, а на его месте стоял дом, на боку которого целую вечность чернела ломаная трещина во всю глухую стену; он понял: он на пересечении 1-й Тверской-Ямской и Большой Грузинской; он понял: он под «Якорем».

Но «Якорь» был не «Якорь». То есть название заведения, если уж говорить точно, существовало как ни в чем не бывало. Все же остальное — то, что было доступно взору Князева,— было не то. Слишком роскошно, слишком мраморно, слишком холодно и скользко на ощупь. Князев попробовал пронирнуть в ресторан вслед за высокой элегантной парочкой. Ему заступил путь юный вышибала, железной десницей вынеся за шиворот бородатого бродяжку на улицу, в ночь. Евгений приземлился на корточки, кепка его упала рядом. Торопливый прохожий бросил в кепку тысячерублевую бумажку. Нищий хохотнул.

В его висках стучала чья-то фраза: «Кончено. Все погибло. Все люди настоящие».

Он очутился в своем переулке. Пока он добирался сюда, к нему пристала стая бродячих псов в семь-восемь голов. Сопровождаемый животными, в крошечной тьме он поднялся на седьмой этаж. Шагнул в дверной проем. На лету осознал: пола уже не было. И еще он успел подумать о том, что никакой он не Евгений и никакой он не Князев, а звать его Митя и вообще он Езерский. Летчик. Сердце его разорвалось до приземления на холодный фундамент. В Угличе ударил колокол.

Хоровой собачий вой стоял до утра на всех этажах выселенного дома.

Сеньковский плутал по своему пустому жилью. В три часа ночи что-то толкнуло его изнутри. Он включил свет в комнате, где так долго обитал Евгений. В кресле сидел некто, курносый и губастый.

— Ты кто?

— Григорий.

Сеньковский протер глаза.

Никого не было.



Светлана АКСЕНОВА

На том берегу...

Земля

Маленькая моя, безысходная
(поскольку идет последний исход).
Это судьба моя сумасбродная,
времен и пространства круговорот!

Маленькая моя, безответная
(поскольку лишь Богу дано отвечать).
Столетия, словно войска несметные,
бежали вперед, а вернулись вспять!

Маленькая моя, заветная
(поскольку была завещана мне).
Это тоска моя предрассветная
не оставляет даже во сне!

Маленькая моя, бесстрашная
(наших страшных дум тебе не унять):
Родина там, где родился, не спрашивая,
или там, куда сам пришел умирать?..

* * *

Расшвыряла гнездо из соломы,
Что сама собирала по крохам.
Собралась улететь из дома,
Где было так сладко, так плохо!
Разбросала по белу свету
Ненаглядных друзей и деток.
Все равно была песня спета
В этой самой лютой из клеток!
Затянуть другую — не в силах,
Одурев от чертополоха,

Потому что под корень косила
Разнотравье свое эпоха.
Чтобы нам насовсем не сгинуть,
Наберемся отваги — кануть!
Словно листья, прошлое скинуть,
Оно тянет ко дну, как камень.
Как горячий камень на шее
Или ржавый якорь причала.
Отвяжи его поскорее
И шагни в пустоту начала.

* * *

Это — я в декорациях. Море и пальмы.
И влюбленный мальчишка на Том берегу.
Раздвигается занавес. Падают парус
Бездыханный, как лебедь на белом снегу.

Это я — в декорациях. Пусто и глухо.
Застревает корабль в кромешности зги.

Приплывает мальчишка и видит старуху
(Относительность времени, места, тоски!).

Это я в декорациях. Встреча — разлука,
Траектория смерти и жизни пунктир.
От последнего стога до первого звука
Сочинившая свой опрокинутый мир...

* * *

Есть плечо, но оно — не твое!
Речь родная, да ты ей — чужая!
Бродишь белой вороною в стае
Воронья и вранья. И вдвоем

С одиночеством — строишь семейство,
К миражу прислоня мираж.
А кругом — карусель, и кураж,
И пророчество, и фарисейство
В смертной схватке любовной сплелись.
Разорвать эти узы и связи
Невозможно. Краса безобразий
Называется коротко: Жизнь!



Два рассказа

НЫНЕ ОТПУСКАЕШЬ

То есть в этом как раз ничего странного: бухгалтер Лычкин Трифон Семенович зашел к приятелю Карпухину в половине третьего ночи. Они же соседи, на одной площадке живут. Поговорили о погоде и разошлись. Пенсионер Жуков из той же квартиры слышал, как они на кухне сидели, даже стучал им в стенку. Странное в другом. Возвращается Лычкин Трифон Семенович к себе, к своей супруге, и видит, что его место уже занято. Лежит кто-то возле Сусанны Власьевны. Рукой ее обнимает и голову на плечо положил.

Трифон Семенович сразу подумал: «Кто бы это мог быть?» Кинулся к постели, смотрит — а это он сам. Лысина, бородавка за ухом — все его, даже дыра на майке. Лычкин так и застыл: уж не двойник ли? Аж в пот бросило. А тот дрыхнет себе мертвецки и похрапывает с присвистом.

Как прошла ночь, Трифон Семенович не помнит. Только просыпается он утром как ни в чем не бывало в своей постели. Вокруг все на своих местах, из кухни рыбой жареной тянет. Тут и Сусанна Власьевна входит в новом халате.

— Лежишь, ровно колода, — говорит. — Проспишь царство небесное.

Стал Трифон Семенович на работу собираться в свою бухгалтерию, чувствует — руки не слушаются, ноги отнялись. Один выход — Карпухина разыскать. А Карпухина по утрам дома не застанешь. По утрам он всегда в подземном переходе, на своем месте — возле лестницы. Его музыку издали слышно, еще со ступенек. А как спустишься — так сразу и он: телогрейка, очки темные, в ногах пакет от молока. Слушает Карпухин Лычкина, а сам флейту от губ не отрывает. А когда прервался, говорит спокойно так:

— Ты не сомневайся. Это душа твоя ко мне приходила.

— Как это — душа? — удивляется Лычкин.

— Очень просто. Ты же спал с закрытыми глазами. И видел себя. Стало быть, глядел ты духовным зрением. Понимаешь?

Лычкин задумался, а потом говорит:

— Не может быть!

— Может, может, — отвечает Карпухин. — Душа может запросто выходить из тела. Со мной такое было, я тебе расскажу.

Тут парень какой-то усатый, с костылем под мышкой, в тельняшке толкнул Лычкина.

— Что ты лезешь со своими вопросами? Не видишь? Мешаешь нам! Сейчас самый народ идет.

Народу в переходе, и правда, много, все спешат, торопятся, а тут еще дождь. На другом конце старуха в платке у стены сидит. Парень с костылем между Карпухиным и старухой ковыляет, за ручкой следит. Через час, наверное, пересчитал он деньги Карпухина в пакете, часть себе забрал и говорит:

— Можешь идти.

Пришли Лычкин с Карпухиным домой, хотели у Карпухина в комнате расположиться, а там Жуков, сосед, на диване лежит. На полу бутылка с вином отпоята, стакан.

— Жена, наверное, выгнала, — говорит Карпухин.

Стол у Карпухина маленький, весь посудой грязной заставлен, тараканы бегают. Карпухин посуду сдвинул, место немного расчистил и афишу какую-то старую со шкафа достает: «Филармонический оркестр».

— Ты думаешь, я всегда в переходе играл? Я раньше в оркестре был. Только пил очень. Пил, пил, а потом помер. Как раз после концерта. Банкет у меня дома, гости, а я помер, прямо за столом. Смотрю только: где я? Батюшки святы — под потолком. Прямо у люстры, что Наденька покупала. Гляжу на люстру, а у нее плафон один треснут. Как же, думаю, Наденька выбирала? Потом глянул я вниз, а там на кровати лежит кто-то, гости вокруг. Опустился пониже: мать честная, да ведь это я сам, то есть собственное мое тело. Точь-в-точь, как у тебя сегодня. И голос Наденьки слышу: «Уж не умер ли он?» А я смотрю на ее затылок и завитки на шее вижу.

Тут Карпухин очки темные снимает и достает из кармана телогрейки истрепанную фотографию. Блондинка в шляпе улыбается с зонтиком на плече.

— Где она сейчас, моя Наденька? Может, замуж вышла. Я тогда еще сверху приметил — Черняев возле нее вертится. Галстук на нем новый, а сам норовит за талию ее взять.

Тут Жуков на диване открыл один глаз.

— Что вы здесь делаете? — спрашивает. — Что вам здесь надо?

А Карпухин афишу трубочкой свернул и к глазу приставил.

— Оглядел я тогда стол сверху, расстроился: посуды-то грязной — не перемоешь. А Блинников, первая скрипка, так за столом и сидит. Все возле меня столпились, а он остался. Закусывает, рюмку наливает. Часы еще хорошо видел, стрелка — большая и маленькая. Половина третьего ночи, как сейчас помню. А тут кто-то над ухом: «Как же им теперь домой добираться?» Оборачиваюсь — тетя Рая покойная. Плавает себе под потолком. «Господи, — думаю, — поправилась-то как. Такая тощая была».

Жуков спустил ноги с дивана.

— Ну и что это все значит?

— А то, — отвечает Карпухин, — что тело — это одно, а душа — другое.

А Жуков как хватит бутылкой об пол, все вино расплескал.

— Ерунда все это! Ерунда!

Тогда Карпухин достает из футляра свою флейту и Жукову под нос сует.

— Смотри, Жуков. Мертвый инструмент. А дыхание вложишь — звучит. Так и тело. Нет дуновения — мертво оно. Вот они и живут друг для друга — душа и тело. А так, чтобы уничтожиться вместе, — как же можно? Это даже представить себе нельзя! Ну, тело, конечно, сгниет, ничего не поделаешь. А душа — нет, душа сама по себе.

Лычкин в это время был занят тараканом, который убежал от него по столу. Трифон Семенович наконец изловчился и прихлопнул его возле тарелки.

— Так я и думал, — сказал он после этого. — Давно у меня такое подозрение есть. Мол, жизнь наша со смертью тела не кончается.

— Вот, вот! — подхватил Карпухин. — После смерти самая жизнь начинается.

Он приложил к губам флейту и издал несколько нежных звуков.

— Вот она, какая там жизнь... — Потом доверительно на ухо Лычкину: — Готовиться только надо... Непременно готовиться...

Домой Лычкин пошел поздно. Звонил к себе, звонил. Наконец за дверью шаги, голос:

— Не пускай его! Не пускай!

Лычкин слышит — голос дочери и говорит:

— Это я, Катенька...

Катенька долго с замком возилась, дверь дергала, а как открыла — в ногах у нее кот Тимофей: хотел на лестницу выскочить. Увидел кот Трифона Семеновича — зашипел, спина колесом, шерсть дыбом. Катенька на руки его скорей.

— Ты что, Тимофей?

А Трифон Семенович спокойно так:

— Покойника чует...

И в квартиру проходит.

— Умру я скоро. Вот и желудок отказывает. Вчера рыбы жареной поел, знаешь, что ночью было? Душа тело оставляла. Скиталась сама по себе. Не знаю, уж не рак ли?

— Замок у нас сломан, вот что, — говорит Катенька и дверью хлопает.

Трифон Семенович задрал рубаху и показывает живот дочери.

— Вон печень какая. Так и выпирает. Непременно умру.

А Катенька Тимофея перед собой держит, в усы ему дует.

— Мы такие здоровые, такие крепкие, нам ли о смерти...

— Не говори так! — оборвал ее отец. — Могут призвать каждую минуту. Никто не знает своего часа. И тогда я должен сказать: «Вот он я, Трифон Лычкин! Готово сердце мое!»

Позвала Катенька Сусанну Власьевну из кухни:

— Отец помирать собрался!

А Трифон Семенович стоит перед зеркалом, живот свой разглядывает.

— Вот похороните меня и будете думать: нет его больше. А я тут, рядом с вами. И не ищите меня в могиле, там только тело мое. Приду к вам и скажу: не убивайтесь так по мне. Мне теперь хорошо. Даже если просить будете: вернись в свое тело, — не вернусь. Мне там лучше.

— Это почему же лучше? — спрашивает Сусанна Власьевна.

— А что я у вас видел? Одни поношения, ругань. А там меня никто не обидит.

— Ну и оставайся там! — сказала Катенька и в комнату ушла.

Сусанна Власьевна ей вслед:

— Все ты! Отца не уважаешь!

Они еще потом долго в комнате ругались, спать легли поздно. Новый день — и опять Лычкина Трифона Семеновича нет на работе. С утра как ушел, так и пропал, неизвестно где. На службе, конечно, переполох — бухгалтер пропал. Звонили домой, интересовались: не болен ли? Потом позже, днем уже, кассир Моисеева видела человека, вроде бы похожего на бухгалтера Лычкина. Она как раз из банка выходила, тепло, солнышко, видит — на другой стороне вроде лицо знакомое. Она-то сразу не признала, а потом смотрит — точно Лычкин, лысина, костюм в полосочку. Главное, что ее сбило, — женщина какая-то рядом, нестарая еще. Одета скромно так, не накрашена. Моисеева нарочно улицу перешла, а как мимо проходила, слышит:

— Прости, родная... Перед тобой больше всех виноват... Перед тобой и Любочкой... Вы уж там как-нибудь меня простите...

В бухгалтерии, понятно, только и разговоры: кто такая? что за женщина? Ну, Моисеева и расписала: брови выщипанные, ноги кривые, сама тощая, как говорится — ни рожи, ни кожи. А Клава из канцелярии, она давно здесь работает, говорит:

— Да это же первая жена Лычкина...

А на третий день и сам Лычкин на службу заявился. Рабочий день в разгаре, все на своих местах, тут и он по лестнице поднимается. Пронесся по коридору и напрямик к Хохлову, директору. Шурочка за машинкой нарочно дверь в кабинет не прикрыла. И хотя она весь разговор слышала, но понять — поняла не все. Сначала-то Лычкин у директора прощения просил.

— Камень на душе, — говорит. — Сколько болтал про вас всякого... За спиной... Как только не обзывал... И про грубость вашу, про хамство. Мужик, мол, безграмотный... И прочее...

А дальше Шурочка понимать перестала.

— Не могу я с таким грехом... Уйти надо с покоем и миром. Чтобы ни одного пятнышка...

Хохлов, директор, слушал Лычкина, слушал, а потом как хватит кулаком по столу, шея багровая.

— Вы почему на службу не ходите? Почему прогуливаете?

Шурочка-то думала, выскочит Лычкин из кабинета как ошпаренный, на-смотрелась она на таких. А Трифон Семенович хоть бы что — выходит как ни в чем не бывало, не спешит. Ей показалось — улыбочка на губах даже. И бор-мочет: «Вот и хорошо. Вот и слава Богу...»

Видели его потом во многих отделах, на всех этажах. В плановом до смер-ти напугал пенсионера Сысоева — на колени перед ним упал. В канцелярии и вовсе смех — руку Клавдии целует.

— Отпусти, Клавдия, грех! Осуждал тебя вместе со всеми!

А Клава спрашивает:

— За что же вы меня судили, Трифон Семенович?

— За что и все! С мужиками, мол, гуляешь при живом муже. Гордость это, прости! Не держи зла!

Тут Клава как вспыхнет:

— С чего это вы взяли, что я гуляю? Много о себе думаете, Трифон Семенович!

И большой дырокол на пол кидает, хорошо — народу в канцелярии мало.

А Лычкин себе дальше. В кассу к Моисеевой голову в окошко просунул.

— Не держи на меня зла, Моисеева... Зонтик я тебе продал, помнишь? Мне он полсотни стоил, а я с тебя всю сотню содрал. Корысть проклятая, корысть и обман!

После обеда поймал Лычкина в коридоре Воняйло, кадровик, затащил к себе.

— Прекрати комедию, Лычкин! Я врача вызову!

А Трифон Семенович палец в потолок тычет.

— Земная жизнь для чего нам дана, Воняйло? Чтобы подготовиться! Ук-репить в себе начало к небесному... Человек-то рожден для вечности...

• Когда уже уходил, увидел Лычкин вахтера Поварчука.

— Ведь не знаешь ты, Поварчук, что я против тебя голосовал. Когда ты у нас в бухгалтерии работал. Сокращение тогда шло пенсионеров. Думал, сократят тебя, а нам зарплату прибавят. Шиш с маслом! Сократить тебя сократили, а зарплату — дудки. Какая была, такая и осталась.

Сусанна Власьева теперь видела своего супруга только вечерами. Попьет чаю — и спать.

— Сегодня у сестры был, у Верки, — рассказывает. — Вот ведь характер! Всегда терпеть ее не мог! Сегодня пересилил себя. Пришел и говорю: прости, мол, за все! А она, конечно, переступить через себя не может. «Чистеньким хочешь быть? — спрашивает ехидно так. — Не выйдет! Все равно в вечном пламени гореть будешь!» И откуда столько зла в человеке? Вроде бы в церковь ходит...

Сусанна Власьева не знала, что делать: совсем Трифон Семенович с пути сбился, работу бросил. По ночам не спит, беседует с кем-то. Она слушает, думает, он к ней обращается.

— Дома тоже... Равнодушие, эгоизм. Грех ведь это или как?

Хочет Сусанна Власьева ему ответить, а он уже сам себе говорит:

— Грех, грех! Все, что не по сердцу, все ложь и грех.

Однажды и того хлеще — является к ночи, лицо свое прячет. Сусанна-то Власьева сначала не приглядывалась, а тут Катенька как закричит:

— Полюбуйтесь на него! Доигрался!

Смотрит Сусанна Власьева — батюшки! Синяк здоровенный под глазом! Ну, сделала ему, конечно, компресс, уложила. Трифон Семенович лежит, охает.

— А мне все равно хорошо... Покаялся — и легче... Так бы всегда...

Наконец Сусанна Власьева не выдержала. В один прекрасный день Трифон Семенович только за шляпу — звонок. В дверях — толстяк низенький, ру-ку протягивает.

— Куропаткин.

И Сусанна Власьева тут как тут.

— Проходите, доктор, мы вас ждем.

Трифон Семенович еще подумал: «Что же это за доктор? У нас и нет такого в поликлинике. Я не видел его никогда». А Куропаткин уложил Трифона Семеновича на кровать, сам рядом садится, руку его берет.

— Что ж... Пульс слабый, мягкий. Лицо вялое.

Сусанна Власьева тут же рядом, не отходит.

— Вы не представляете, доктор. Сплошное страдание нервов. Все о смерти, о смерти...

— Очень интересно,— говорит Куропаткин.— И что же о смерти?

Трифон Семенович и объясняет спокойно так:

— А смерти нет,— говорит.— Есть калитка. Дверца в будущий век. А там, за ней, не новая жизнь какая-нибудь, а прежняя. Продолжение, так сказать. И перерыва никакого нет. Всего лишь временное разлучение души и тела. Вы с Карпухиным поговорите. Он вам лучше расскажет. Переход это, а не смерть.

Куропаткин опять говорит:

— Очень интересно. Душа, тело... Телосложение-то у вас ослабленное. Худосочие и грудь узкая.

— Человек по телу, как свеча,— продолжает Трифон Семенович.— Свеча сгорает, и человек должен. А душа нет, душа нетленна.

— Вы так думаете? — спрашивает Куропаткин.

А сам берет голову Лычкина в руки с двух сторон и сжимает, как арбуз.

— Что ж... Одна сторона лба больше другой...— И к Сусанне Власьевне оборачивается.— Беспорядок в нервной системе. Неправильное проявление душевных способностей.

— С чего вы взяли? — спрашивает Трифон Семенович.

— Да как же? Вы сами поглядите. Верхние части ушей раздуты и синие. Чего же вы хотите?

Проводила Сусанна Власьевна Куропаткина и говорит:

— Ты не волнуйся, ничего страшного. Тебе только вставать не надо и ходить нельзя.

— Да как же мне не ходить? У меня грехов сколько... Целый список. Все расписано.

Поднял Трифон Семенович палец вверх.

— ТАМ покаяния нет. Все покаяние на земле. Здесь покаяться надо! Как же не ходить?

Тут он потянулся и на ухо что-то Сусанне Власьевне, а она говорит:

— Ну так я подам...

И приносит посудину ночную, какая от Катеньки осталась, когда она маленькой была.

— Как же не ходить? — продолжал Трифон Семенович, возвращая горшок.— Последние минуты на земле самые важные. Может, важнее всей жизни. Все зависит, какой ты перед уходом. Каким застанет, таким и ТАМ будешь.

Но вставать Трифон Семенович больше не вставал. Сусанна Власьевна так и говорила по телефону:

— Трифон Семенович теперь не встает, подойти не может.

Среди родственников, конечно, волнения, разговоры. Все спрашивают: как у него желудок, не надо ли чего? Первой зашла проведать крестная с мужем. Они за городом живут, а в город по магазинам ходить приезжают. Наташили гостинцев Лычкину, как положено,— яблоч, варенья. Муж крестной, Сенечка, как вошел, сразу говорит:

— Не унывай, Трифон Семенович! Ты еще поживешь с нами!

Лычкин только рукой слабо машет.

— Нет уж, довольно! Пора мне! Я и так задержался здесь с вами...

А крестная, та сразу к Трифону Семеновичу на постель садится. Она раньше в аптеке работала, кассиром. Сначала лоб потрогала, потом одно веко оттянула, другое.

— Молодцом сегодня, молодцом! И цвет лица крепкий!

После этого стала живот Трифону Семеновичу мять.

— Клизму бы хорошо. Стул давно был?

— Толченый горох тоже,— советует Сенечка.— Все как рукой снимает. Дождался Трифон Семенович, как Сусанна Власьевна стала крестную чаем на кухне поить, и говорит Сенечке:

— Грех на мне, Сенечка. Не могу уйти так... Ты уж прости...

— Бог с тобой, Трифон Семенович! О чем ты?

— Книгу твою присвоил. Взял и не вернул.

— Это какую? — насторожился Сенечка.

— «О вкусной и здоровой пище». Помнишь?

Сенечка покраснел и отвернулся.

— А я-то голову ломаю: куда она делась? Ну, знаешь... От тебя я не ждал...

Он еще посидел немного для приличия, потом поднялся и ушел, даже чаю пить не стал.

Вечером Трифон Семенович говорит Сусанне Власьевне:

— Не забудь Сенечку на поминки позвать. Виноват я перед ним. А вообще много народу не собирай. И поминок пышных не надо.

— Как же? — удивляется Сусанна Власьевна.— Неужели хуже, чем у людей, сделаем?

А Трифон Семенович строго так:

— Гроб чтобы простой, никаких украшений. И цветов тоже не надо. И упаси тебя Господь — памятник. Только надпись скромную: «Ушел, мол, от нас». Ушел, а не умер. «Душа его с нами».

Трифон Семенович поднялся на локте, огляделся.

— И комнату хорошо бы прибрать. Занавесочки, что ли, сменить... И обои тоже... Вон в клопах все...

— Ты что же, совсем не боишься? — спрашивает Сусанна Власьевна.— Не страшно?

— А чего бояться? — отвечает Трифон Семенович.— Пусть глупые боятся. А я — нет. Я теперь самый счастливый человек. Жил сорок пять лет и не знал настоящей жизни. «Что ж это я мучаюсь? — думаю.— Ведь никакой радости. Одна тяжесть душевная». А теперь повинился перед людьми — и хорошо: покой, теплота. Душа у меня теперь радуется.

И вот, значит, вечером он так говорит, а ночью все и случилось. Лежит Сусанна Власьевна, чувствует, кровать трясет кто-то. Открывает она глаза — фонарь с улицы прямо в лицо бьет. И голос Трифона Семеновича:

— Беда! Помираю!

— Вечно этот фонарь,— говорит Сусанна Власьевна и штору задергивает.

А Трифон Семенович спиной о кровать трется, видно, не в себе человек, с собой совладать не может.

— Вспомнил! — говорит.— В детстве с дивана упал. Прямо на спину. Тогда вроде ничего, думали — обошлось. Вот, значит, когда сказалось.

Поворачивается он спиной к Сусанне Власьевне и майку задирает. Сусанна Власьевна рукой провела — опухоль какая-то, под одной лопаткой и под другой.

— С вечера все чесалось, зудело. Теперь точно помру!

— Так ты же давно готов... Ты же не боишься...

Трифон Семенович как крикнет:

— Не понимаешь ты ничего!

Он с этой ночи совсем переменялся. Лежать перестал, все больше по комнате ходит, сам с собой разговаривает.

— Если бы еще естественно, как все. Пришло время, пожил — и пора. А то ведь нестарый еще. И так сразу: был — и нету!

Сусанна Власьевна извелась, на него глядя, не знала, что делать. Пожаловалась она Марье Григорьевне с третьего, а та и говорит:

— Ты Собакину позови. Если рак, только она... Врачи не могут...

Сусанна Власьевна и подумала: «Собакина так Собакина». А Трифон Семенович не знает ничего. Ходит себе по комнате в одном белье, небритый, никого не ждет, а тут извольте — дама в дверях.

— Здравствуйте,— говорит.

Сама строгая такая, в очках, по виду — работник научный, лекции, наверное, читает. В руках портфель раздутый. Трифон Семенович, конечно, смутился, скорей под одеяло. Собакина тем временем портфель раскрывает, а там у нее все, что нужно, — веничек небольшой, плетка ременная, соль в пачке, миска, бутыл с водой. Посмотрела она на Трифона Семеновича и говорит:

— По-настоящему тебе бы соняшницу хорошо... Да сгореть можешь...

Поставила Трифону Семеновичу на живот миску и стала воду в нее лить из бутылки.

— Вода не простая, не питая, наговорная...

Потом вынимает пакетик с иголками и высыпает их в воду. Трифон Семенович лежит, не шевелится, боится воду расплескать. А Собакина по комнате ходит, соль по углам сыпет, плеткой во все стороны машет. Лычкин только глазом косит: «А ну как хлестнет случаем?» Ну, Собакина, слава Богу, плетку вскоре оставила, веник в миску на животе окунает и на Лычкина брызжет. Бормочет: «Парамон... Плакун... Глаз вороний...»

— Мне бы только знать... Рак у меня или что? — спрашивает Трифон Семенович.

А Собакина ему говорит:

— Были бы у вас чирьи — другое дело. Тогда могильную косточку — и дело с концом. А сейчас и не знаю что. Есть колотье, родимец, потрясиха еще. А вашу болезнь не знаю.

— Нет, но почему именно я? Живут же другие, ничего...

— Попробуйте воды с заваренным тараканом. Или паука сушеного. Это когда озноб и душа зайдет. Ну а если пупок рушится — грудь парить в кислом квасу с медом.

— Может, все же поживу еще, а? Ну, немного...

Уходя, Собакина сунула ему крестик на шелковой тесемочке.

— Крестик хороший, с покойника...

Навещали больного теперь каждый почти день. Тетя Дора с племянником Гошей, еще какие-то люди, которых Трифон Семенович и не знал вовсе. Иной день набьются в квартире, не продохнуть. Два дня жил какой-то Егор Артамонович из Калуги. Тот больше в прихожей сидел, курил. Сусанна Власьева всем гостям одно и то же:

— Вот профессора вызвали... Частным порядком... Сколько денег — не рассказать. Но нам не жалко... Последняя надежда... Судьба решается.

А как-то Трифон Семенович пошел по нужде, идет мимо кухни, а там девочка какая-то: худенькая, жилки все светятся. А обратно как шел, узнал.

— Любочка! Дочка!

— Мама вот прислала проведать тебя, — говорит Любочка, а сама волнуется, голос дрожит.

— Помираю я, дочка, — сказал Трифон Семенович и заплакал.

— Что же ты плачешь? — говорит Любочка. — Разве смерть враг наш? Тебе же лучше будет, а ты плачешь...

— Как это лучше? — спрашивает Сусанна Власьева и недоверчиво так на Любочку косится.

— Видите ли, есть другой мир, не такой грубый, как этот. Совсем тонкий и духовный. Там наша духовность и живет.

«Вот ведь как говорит, — думает Трифон Семенович. — Умница какая. Жена воспитала. Это потому, что без меня...»

— Ты не бойся, — говорит Любочка. — Это не страшно. Сложить с себя грубую плоть. И только...

— Так-то хорошо говорить, — поджала губы Сусанна Власьева. — У кого вся жизнь впереди. Вот они и говорят...

— То, что из земли, в землю и воротится, — продолжает Любочка. — А на небе легкость и чистота... Вы посмотрите, что здесь творится. Грубость одна и ругань. Зла-то сколько. Все обижают друг друга. Ненависть и вражда. Люди все перегрызлись. От всей этой грязи очиститься надо. Господи, да если бы... Там бы только и жить...

— Ты так думаешь? — спрашивает Трифон Семенович. — Вот и Карпухин так говорит. Тебе с Карпухиным надо встретиться. Он все знает.

Перед сном Трифон Семенович еще раз вспомнил Карпухина — проститься с ним надо. Может, не увидятся больше. А Карпухин не стал ждать, сам к Лычкину явился — в половине третьего ночи. Трифон Семенович лежит, чувствует тяжесть в ногах, и глаза вроде в темноте светятся. Шевельнул он ногой.

— Брысь, Тимофей!

Смотрит, а это не Тимофей, а Карпухин. Сидит, глазами сверкает. «Где же Тимофей? — думает Лычкин. — Куда же Тимофей делся?» А Карпухин берет Лычкина за руку и ведет куда-то. Сначала в темноте шли, потом на свет вышли. И тут навстречу им двое. В одном Трифон Семенович сразу признал своего ангела-хранителя: лицо у него такое. А другого не знал. «Тоже, — думает, — чей-нибудь ангел». А Карпухин указывает на этого второго.

— Знакомься! Мой двоюродный брат Жора. Год назад только схоронили, сгорел от водки.

Трифон Семенович руку брату пожал, а тот повернулся спиной и отходит. Отодвинулся так немного и через плечо:

— В другой раз увидимся.

Карпухин говорит:

— Брат Жора, когда умер, ему под шестьдесят было, а здесь смотри — и тридцати не дашь.

Лычкин и сам видит — брат молодой, лицо свежее, никаких следов пьянства. И весь счастливый такой, прямо светится.

— Чудеса! — удивляется Лычкин.

— Образ бытия здесь, конечно, выше нашего, — поясняет Карпухин. — Потому Свет здесь немеркнувший и День невечерний.

Свет, и правда, вокруг странный. Солнца не видно, а светло, как днем, и тени нет. Лычкин сразу Любочку вспомнил — легкость и чистота. Все, как она говорила, — очиститься и грязь сбросить.

— Вот видишь. — Карпухин мысли его читает. — Я же говорил. После смерти самая жизнь начинается.

И тут вдруг слышит Лычкин Трифон Семенович голос:

— Готов ли ты?

Ласковый такой голос, тихий, даже, можно сказать, вкрадчивый. Лычкин сразу подумал: «Проверяют...» Он тогда возьми и ляпни:

— Нет, не готов!

Потом подумал и добавил:

— Мне долг вернуть надо Водянкину. Сосед это с первого этажа, в магазине работает.

Почему он тут Водянкина вставил, Лычкин и сам сразу не понял. Говоря откровенно, он эту трешку и не собирался возвращать: невелики деньги. Но какая-то особая теплота шла от Света — чистая доброта и любовь. Такую любовь Лычкин даже от матери в детстве не видел. Вот он и вспомнил про Водянкина: долг, мол, отдать надо.

После этого все уже пошло своим чередом. Чихнул сначала Трифон Семенович, потом смотрит, а он уже в своей кровати. На кухне Сусанна Власьева посудой гремит. А как очнулся Трифон Семенович, первое что — просит соседа позвать. Сусанна Власьева бросила все, пошла за Карпухиным. А Катенька, та в комнате стоит, на отца смотрит.

— Ты сегодня новый какой-то... Будто свет вокруг тебя...

— А это внутренний человек во мне открылся, — улыбается Трифон Семенович. — Теперь мне все безразлично, что снаружи. И ничего мне не надо. Чужой я всему, чем вы живете. Умер я для этой жизни. Любочку все вижу... Она мне будто глаза развязала...

Тут и Сусанна Власьева возвращается, спешит, лицо перекошенное.

— Преставился твой Карпухин. Сегодня ночью. Жуков там поминки уже справляет.

Трифон Семенович даже речь потерял. Глянула на него Сусанна Власьева и перепугалась: челюсть у Трифона Семеновича отвисла, глаза закатились.

— Что с тобой? — спрашивает.

А Трифон Семенович сказать ничего не может, только рукой шевелит, к себе подзывает. Нагнулась к нему Сусанна Власьева, а он еле языком ворочает:

— Отхожу... Теперь уж точно...

— Да погоди ты, — просит Сусанна Власьева. — Еще немного... Профессор с минуты на минуту будет. Ведь деньги какие уплочены...

А Трифон Семенович не слушает.

— Утаил я... Грех один... Открыться должен...

— Какой еще грех? — отмахнулась Сусанна Власьева. — Знаю я твои грехи, лежи уж... Прощаю я...

— Две с половиной тысячи помнишь? — шепчет Трифон Семенович. — Пропали они тогда. Три года назад. Так это я взял.

Тут Катенька к отцу метнулась, глазами сверкает.

— Как ты мог, отец? Ведь мама на меня думала, на гостей моих. Ремнем лупила...

Сусанна Власьева дочь отталкивает.

— Цыц, ты! Не видишь — отец помирает?.. А ты о деньгах!

Трифон Семенович глаза закрыл, губами шевелит.

— Бес попутал...

А в дверях звонок — профессор. Шубу снимает, покашливает, руки потирает — все, как положено. Выпроводил всех из комнаты, стал Лычкина выстукивать. Крутил его и так, и этак, во все стороны. Долго опухоль под лопатками щупал. И снова вертит по-всякому, слушает.

— Вот тебе на! — хмыкает.

— А что, доктор? — интересуется Лычкин.

Профессор снова опухоль щупает.

— Да нет, вы не поверите.

— Вы уж говорите, мне все равно.

Профессор очки протирает.

— Крылья, голубчик, крылья.

Лычкин так и сел на кровати.

— Какие еще крылья?

— Ну, уж не куриные, разумеется, — отвечает профессор и инструмент свой собирает.

— Это что ж, выходит... Не рак, значит? Не смертельно?

— Жить будете, — уже в дверях.

— Господи, что же это? — шепчет Трифон Семенович. — За какие заслуги? Ведь жизнь скверная, грешная... За что?

Слышит он голос профессора в коридоре, с женой и дочерью разговаривает. «Вот им-то сюрприз, — думает. — Переживали очень. Теперь обрадуются».

Еле дождался, когда они в комнату вернулись. Постель прибрал, поднялся. А они вошли и, куда глаза деть, не знают. Потом Катенька говорит:

— Как же теперь жить, отец? Мы тебя честным считали... А тут эти деньги.

Сусанна Власьева тоже глаза в угол прячет.

— Сколько собирала... Во всем себе отказывала... С ума тогда чуть не сошла. Как же теперь с тобой — не знаю.

А крылья у Трифона Семеновича Лычкина дальше расти не стали. Так, перышки на лопатках наметились, пушок легкий — и все. Их под рубашкой и не видно даже...

В ЗЕМЛЕ ПРЕИСПОДНЕЙ

Сына своего Митрошу Трофим Трофимович, конечно, ждал, но не так скоро. Срок-то у Митроши не очень большой — два года. А тут год, наверное, всего и прошел, может, даже меньше. Днем как-то сидит Трофим Трофимович

на кухне, чай с хлебом пьет, слышит — звонок в дверь. Сосед это Никифоров, запыхался весь (лифт у них не работает).

— Там тебя спрашивают,— говорит.— Спустись на улицу.

Трофим Трофимович сына своего даже не узнал сразу. Сидит на лавочке парень стриженный в телогрейке, лицо в пятнах красных. А Митроша увидел отца и спрашивает:

— Засады нет дома?

Сам по сторонам оглядывается.

— Надо же! — говорит Трофим Трофимович.— А у меня сегодня все из рук валится. Как раз возле твоей фотографии, у двери. Прямо заколдованное место. Как иду мимо, так все и падает. Чашку разбил и стакан. А оно вон к чему...

— Только бы соседи не увидели,— опять говорит Митроша.— Непременно донесут.

Трофим Трофимович тоже по сторонам поглядел.

— Ты домой тогда не ходи. Ступай к гаражам. Где мы велосипед с тобой собирали, помнишь? Я тоже туда приду.

Дома Трофим Трофимович кинулся было еды собрать, а у него, как на зло, хоть шаром покати. Хлеба немного, луковица, банка горчицы. Ну, бутылка, конечно, тоже была — вино красное. На лестнице опять Никифоров встретился, будто нарочно стоит.

— На кладбище я,— объясняет Трофим Трофимович.— Антонину свою проведать.

Никифоров вслед ему смотрит.

— Сперва замучил, теперь проведать.

Трофим Трофимович сразу не пошел в гараж, долго кружил задворками, следы путал. Митроша открыл ему на условный стук. В гараже духота, вонь. Разложил Трофим Трофимович закуску на ящике, стаканы поставил. А как выпили вина, он на колени перед сыном.

— Прости меня, Митроша. Это моя вина... Не жил я в семье, пьянствовал. Нарушил закон человеческий... Вот и наказание... Через меня ты и воровать стал.

— Ты здесь ни при чем,— отвечает Митроша.

— Нет, нет, ты не говори! Это ты нарочно. Жалеешь меня.

— Да нет же! Я тебе говорю: ты ни при чем. Я проверить себя хотел...

— Как это — проверить? — вытаращился Трофим Трофимович.

— А вот так! Могу ли я, думал, самое низкое зло совершить? Вынесу или нет? И как, думал, жить после этого стану? Прочитал в газете — старуха какая-то помощи просит. Лежит одна, нет у нее никого. Ну, пришел к ней по адресу, вроде помочь чем, она обрадовалась — пейте чай, говорит. Комнатка у нее чистенькая, аккуратная, салфеточки везде. Вот это меня тогда особенно поразило. Я-то думал: трущобы, грязь. А здесь — запах свежий, иконка в углу. Заглянул я за иконку — они туда всегда что-нибудь прячут. И точно — четвертной там под салфеточкой. На похороны, наверное, отложила, последний, какой был. Ну, я этот четвертной и забрал. А он мне и не нужен вовсе. Я же говорю: проверить себя хотел...

— Ну и что? — спрашивает Трофим Трофимович.— Проверил?

— А ничего,— отвечает Митроша.— Небо не расколосось, гром не грянул. Иду себе как ни в чем не бывало. Люди вокруг, все, как было: солнышко, птички. Даже сладострастие какое-то от своего падения — вот же он, вор, идет, ниже некуда. Значит, можно, думаю, зло делать, все можно...

Трофим Трофимович с колен поднялся, стоит, брюки грязные. Хотел обнять Митрошу, а стесняется.

— Ты перепачкался весь,— говорит Митроша.

— Как же ты жил, сынок, с таким злом? •

Митроша даже испугался: губы у отца дрожат, глаза круглые.

— Да что! — говорит он.— Тянул потихонечку, что плохо лежит. А на душе мрак такой, что хоть в петлю. Меня когда забирали, даже радовался. Я тог-

да уже точно знал: во зле никому нельзя. А как в камере сидел, совсем свободным сделался. Я там корзины плел. Сижу себе, плету, и такая легкость во мне. Никогда такого не было.

— Зачем же ты убежал?

— Я и сам не знаю,— отвечает Митроша.— В больнице я лежал, на экспертизе. А там в палате весь пол в заплатках железных. Оттуда не раз бежали. Вот ребята крючок из панцирной сетки сделали, заплатку одну и отодрали — доски-то гнилые. Двое тогда ушли. А я всю ночь лежал, думал, а утром посмотрел и тоже сбежал. В подвал спустился — и через отдушину на волю.

Смотрит Трофим Трофимович на сына — тот ногу на ногу положил, носком покачивает. Ботиночки у него маленькие, каблуки на один бок скошены.

— Куда же теперь тебя спрятать? — спрашивает.

— Сказали мне одно место верное,— говорит Митроша.— Возле атомной станции. Зона там особая, всех жителей выселили. Пустых домов сколько хочешь. Туда только пробраться надо. На дорогах-то посты, а если лесом, то можно.

— Атомная станция? — переспрашивает Трофим Трофимович.— Да как же? Там радиация, заражение...

— Зато милиции нет. Она туда ни в жизнь не сунется. Живи, сколько хочешь.

Трофим Трофимович допил вино и сказал:

— Ну, так и я с тобой. Мой грех, мне и вину искупать. Мне, подлецу, только сдохнуть и полагается. Да и с работы меня сократили. Безработица...

— Вот и хорошо,— говорит Митроша.— Поживем вместе. Никто нам мешать не будет.

Посидели они еще немного и стали расходиться. Митроша в гараже остался (там не бывает никто), а Трофим Трофимович пошел домой собираться. Запасов-то у него больших нет, на пособие сильно не разживешься. Так, набил в рюкзак, что под рукой было: чай, спички, крупа. Из одежды кое-что. Альбом под руку попался с рисунками Митроши (он в детстве много рисовал) — тоже прихватил.

На другой день рано Трофим Трофимович с рюкзаком к Никифорову в дверь звонит.

— Тут такое дело... Мне ненадолго отлучиться надо...— Подумал и добавил: — К теще в деревню...

— Ну и что? — спрашивает Никифоров.

— А у меня, как нарочно, ни копейки... Такое вот стечение...

Никифоров недоверчиво так на него косится. Тогда Трофим Трофимович говорит:

— Антонина моя покойная ночью приходила. Говорит: навести мать — и все тут! Я ей: как же я навещу, когда у меня ни копейки? А она мне: у Никифорова спроси.

— Она к тебе долго еще являться будет,— сказал Никифоров.— Загубил ты ее, извел своим безобразием. Она ведь лучше тебя была...

Никифоров, конечно, денег дал ради Антонины. Даже угостил на дорогу, как положено. Трофим Трофимович выпил стаканчик стоя, потом они присели там же в прихожей, возле двери.

— Что и говорить! — смахнул слезу Трофим Трофимович.— Хорошая она была. Я-то перед ней подлец последний и пьяница. Бывало, скажешь ей: ты бы хоть по дому прибралась, что ли, Тоня. Вон мух сколько, грязь везде, тараканы. А она: ты за собой следи... Ну, потом ничего — приберется, хоть как...

Второй стаканчик Трофим Трофимович пить не стал, а поспешил в гараж. Митроша уже ждал его. Ехали они сначала на автобусе, потом пешком по дороге. Вокруг поля пустые, людей не видно. Один раз машина с военными проехала. Трофим Трофимович все удивляется:

— Вот горе-охранники! Это каждый, кто захочет, может сюда пройти.

А как стали в низину спускаться, кусты по сторонам пошли, деревья. Митроша и говорит:

— Теперь давай в лес...

Свернули они с дороги, пошли лесом. Митроша идет по тропинке, каждому листочку рад. Одуванчиков букет нарвал. Потом на опушку вышли, смотрят — изба у дороги. Дальше — другая, за ней — еще несколько. А вокруг все так же — ни души. Подошли ближе — дом хороший, крепкий. У забора дрова сложены, грабли стоят. За сараем огород виден. Трофим Трофимович радуется:

— Ловко мы их обошли!

Потом увидел колодец во дворе.

— Там же вода, наверное, отравленная...

А Митроша смело так в избу заходит, как к себе домой. В комнатке чисто, прибрано. Половички под ногами, на окнах занавесочки белые. Иконки в углу под самым потолком: Богородица и Сын Божий. Под ними цветы бумажные. В буфете чашки, блюдца аккуратно расставлены. Казалось, хозяева только вышли и вот-вот будут обратно.

Растопили плиту — чай вскипятить, Митроша и говорит:

— Кипяти лучше, отец! Чтоб всю радиацию выварить!

А Трофим Трофимович нарочно кружку сырой воды зачерпнул и пьет.

— Так мне и надо... А для чего я сюда приехал? Незачем мне на этом свете жить... В пекле мое место...

Вот сидят они, чай с дороги пьют. Трофим Трофимович в углу под иконами, Митроша на лавке у окна, глаз от дверей оторвать не может: двери изнутри красными цветами расписаны.

— Красота какая! — шепчет.

— Здесь всю жизнь до самой смерти жить можно, — говорит Трофим Трофимович. — И дров сколько хочешь.

А Митроша все на цветы любуется.

— Я, наверное, обратно в тюрьму вернусь.

Трофим Трофимович так и ахнул.

— Вот тебе раз!

— Я там вечерами в библиотеке работал, книги выдавал. Однажды сижу вот так, смотрю на полки и думаю: есть ведь, наверное, книга, в которой весь смысл написан. Прочтешь ее и сразу узнаешь, какая тебе жизнь нужна. И тут вижу — старик какой-то у полок ходит. На судью похож, который судил меня. «Как же, — думаю, — тебя пустили сюда?» А старик книги с полок берет и рукавом названия стирает. Я хочу ему сказать: как же я теперь книгу найду? А он исчез. Вот я и думаю: где мне книгу эту искать, чтобы смысл в ней написан был?

— Какой же тебе смысл еще нужен? — спрашивает Трофим Трофимович. — Воровать нельзя — вот и весь смысл. Закон такой есть.

— Это я знаю, — отвечает Митроша. — А есть еще, верно, другой закон, сильнее этого. Был со мной такой случай, в гостях я сидел. Хозяин напился и спит в соседней комнате без памяти. Гости разошлись, я один. И вот до сих пор не пойму, что со мной тогда вышло. «Ты же вор, — говорю себе. — Бери, что хочешь, и ступай отсюда». И хозяин-то — дрянь, а не человек. Вот что главное. Да ты его знаешь, на нашей улице жил. Бронька Бобер!

Трофим Трофимович так и взвился.

— Да как же не знать? Бандит отпетый, не приведи Господи! Здоровый как бык! Никому проходу не давал! Меня как-то обчистил. С поминок я тогда шел. И не скажешь, чтоб выпивши сильно. Так себе, шел и шел. Яшке Козлову как раз сорок дней было...

— Я уже и вещи наметил, — продолжал Митроша. — Магнитофон японский, еще что-то... А вот ведь не могу взять — и все тут. У нищей старухи мог, а у этого гада не могу. Чувствую — руки-ноги отнялись. Так и ушел. Какая сила меня держала? Вот я и думаю: есть, значит, еще какой-то закон, который, должно быть, на небе написан.

— Его потом, говорят, зарезали, Броньку-то, — сказал Трофим Трофимович.

В первую же ночь на новом месте приснился Трофиму Трофимовичу сон. Будто вышел он по надобности на двор. А во дворе женщина, вся краской черной вымазана. «Ты кто?» — спрашивает он ее. А она отвечает: «Хозяйка этого дома». Тут мужики какие-то на грузовике, милиционер с ними, толстый такой. «Ты что, спятила? — кричат. — Чего явилась?» Забрали в кузов и увезли. А Трофим Трофимович полетел за ними.

— Долго я летал, — рассказывает он утром Митроше. — А как в постель свою вернулся, новое дело. Чувствую, под кроватью есть кто-то. Глянул, а там Матьер Божья. Халат на ней бордовый, как на иконе. На руках — ребеночек. Лица я, правда, хорошо не разглядел. И слышу, шепчет она: «Помилуй грешников, владыко... Видела я их мучения в аду преисподнем и не могу перенести этого...»

— А хозяйка? — спрашивает Митроша.

— Что хозяйка?

— Ну, почему она черная?

Трофим Трофимович подумал и говорит:

— Я так думаю, она тоже великая грешница, как и я. Может, у нее тоже сын в тюрьме. — Поднял он голову и поглядел на лик Пречистой Девы. — Вот я и спрашиваю: отчего люди грешат? Оттого, что не знают загробной жизни. Знать бы точно, что ТАМ за все спросят! Да разве ж стали бы воровать? Совсем бы другая жизнь пошла! Все, как один, враз бы переменялись. Безобразия свои бросили. А то ведь живем хуже скотов. Грабим, пьянствуем, убиваем! Думаем, помрем — и все грехи спишутся!

Весь этот день возились они на огороде, огурцов там видимо-невидимо. Митроша ходил веселый, не ходил даже — бегал.

— Хорошо здесь! Главное — милиция сюда не сунется!

Он и лицом посвежел. Раньше белый был, как бумага.

— Мы с тобой, отец, артель сделать можем. Корзины плести. Я тебя на-учу. Мои корзины в тюрьме даже на выставку возили, в Москву.

Трофим Трофимович только удивлялся, что мух здесь нет.

— Странно, — говорил он. — Везде есть, а здесь нету. Очень странно.

И жили они так душа в душу неделю. Взались было крышу сарая перебрать, да бросили. Ограду вокруг огорода подняли. Вечерами альбом смотрели с рисунками Митроши. Трофим Трофимович потом вспоминал: лучшие дни его жизни. А через неделю соль у них кончилась. Сели за стол, а соли нет. Пошел тогда Трофим Трофимович в соседний дом. Искал там, искал — тоже нет. Отправился дальше. Так весь почти поселок обошел, пока, наконец, не обнаружил целую пачку в последней избе. Возвращается, а у ихнего крыльца машина милицейская. Двери в дом нараспашку, в комнате милиционер, толстый такой, из мундира вылезает. Пот с него градом, а лицо вроде знакомое.

— Вот, соли принес, — говорит Трофим Трофимович.

Вгляделся он в милиционера и вспомнил: тот самый, который во сне был, за женщиной черной приезжал на грузовике.

— Если тебя на радиацию сейчас проверить, прибор зашкалит, — говорит он Трофиму Трофимовичу.

Потом к Митроше оборачивается:

— Ну, ладно, ты из одной зоны бежал в другую, это понять можно. А мне для чего сюда мотаться? Мне за этот выезд ничего не дают, никаких льгот.

Говорит, а сам посреди комнаты стоит, к столу подойти боится.

— И сократил ты свою вольную жизнь не на два года, как суд определил, а Бог знает насколько...

— Все от невежества, — вставляет Трофим Трофимович. — По глупости потому. Дураки несмышленные и есть. Не верят в загробный суд, вот и воруют. Кабы знали, не воровали...

Милиционер постоял посреди комнаты, потом говорит Митроше:

— Ступай в машину.

А Митроша ему:

— Я и сам вернуться хотел. Корзины плести буду.

В дверях толстяк обернулся к Трофиму Трофимовичу.

— И ты выметайся отсюда, пока цел! Как пришел, так и уматывай! Что-бы духу твоего здесь не было! Завтра приеду — проверю...

Трофим Трофимович последний раз увидел в окно машины стриженую голову Митроши, воротник телогрейки. «Неделю всего и пожили вместе», — подумал.

Вечером сидит Трофим Трофимович в углу под иконами, альбом с рисунками листает. Вот чудище какое-то рогатое с красной звездой во лбу. Вот зверь одноглазый красным флагом размахивает. А здесь зверь и чудище рубят друг друга топорами. Смотрит он рисунки и чувствует: стоит в комнате кто-то. Поднял голову, а перед ним женщина, вся в черной краске.

— Я тебя знаю, — говорит Трофим Трофимович. — Ты хозяйка дома. Вот спросить тебя хочу: для чего ты краской вымазалась?

А хозяйка отвечает:

— Так надо...

Потом комнату оглядывает.

— Прибались бы здесь, что ли, грешники... Грязи-то нанесли, что грехов. Не отскоблишь.

Трофим Трофимович головой закивал.

— Грешники, грешники... Я и говорю: все отчего? Неизвестность! Хоть бы какую весточку ОТТУДА! Есть, мол, тот свет, не сомневайтесь. Дескать, ждут вас там казни, кто ворует или пьет, скажем. А то ведь никаких вестей! Может, там и нет ничего, за гробом-то! Одна дыра черная! Пустота!

— А ты верь, что есть, оно и будет! — говорит хозяйка.

— Верить — это хорошо. Только знать тоже не мешало б. Взять, к примеру, Яшку Козлова из тринадцатого дома. Уж на что человек злой и завистливый! Не язык — помело! Так и смотрит гадость тебе сказать. И глаз черный! Как глянет, так жди несчастья! Его машина потом сшибла... Вот встретить бы его теперь и спросить: как тебе ТАМ? Не жарко? Стал бы снова людей обижать?

Так до самого утра и провели они время в разговорах. Трофим Трофимович даже не заметил, как окна светлыми стали. Смотрит только, а хозяйки уже нет, пропала, будто растворилась. Трофим Трофимович тогда собрался, мешок за спину — и в путь.

Пошел он по дороге в ту сторону, куда Митрошу увезли. Выйду, думает, на пост, а там уж как-нибудь до автобуса доставят. Шел он так весь день, только никакого поста или оцепления не встретил. Вокруг все так же — ни души. Солнце уже к земле низко. Устроился на ночь в каком-то стогу, а утром опять дальше. Днем сел на косогоре хлеба пожевать, думает: водицы бы хорошо. Только подумал, смотрит — внизу, куда тропинка спускается, колодец. Пошел он к колодцу, а там изба. Дальше по склону еще дома. И сидит на лавочке возле калитки старик, глаза белесые, невидящие. Заглянул Трофим Трофимович через калитку, во дворе женщина в платке, лицо будто знакомое. Трофим Трофимович спрашивает вроде как сам у себя: «Кто же это такая?» И вдруг голос старика:

— Потехина... Матрена Елизарьевна Потехина...

«Какая же это Потехина? — опять он как бы у себя спрашивает. — Была у нас в доме одна Потехина, тоже Матрена Елизарьевна. В третьем подъезде жила. Так та из окна выбросилась».

И опять голос старика:

— Да это та самая Потехина и есть. Из третьего подъезда. Детей своих газом отравила, а сама из окна выбросилась. Жить не могла дальше.

— То-то я смотрю — лицо знакомое, — говорит Трофим Трофимович.

Легко так сказал, вроде бы даже с усмешкой. Теперь видит: мужик с лопатой вдоль забора идет. Посмотрел на него Трофим Трофимович, а потом как закричит:

— Булкин! Ефим! Вот ты где, паразит! Инструмент мой так и не вернул! А деньги? Должок за тобой, не забыл?

Крикнул, а сам думает: «Как же так? Булкина ведь прошлым летом схоронили! Я хорошо помню. Поминки были. А Потехина Матрена Елизарьевна? Она ведь тоже в могиле!» И тут его как громом поразило: «Мать честная! Да ведь это же преисподняя! Самый что ни на есть ТОТ свет! Как же я сюда попал?»

Первой его мыслью было — бежать! Как говорится, ноги в руки — и ходу! А потом подумал и рассудил: куда спешить? Назад всегда успеется. Не помер же он, в самом деле! (Трофим Трофимович даже ощупал себя.)

А тут такой случай! Может, другого больше не будет. Трофим Трофимович так и решил: «Раз уж здесь оказался, надо точно узнать, как здесь и что. Чтобы людям потом рассказать. И пойдет тогда на земле новая жизнь! Все, как один, бросят грешить, как правду узнают. И сразу станут хорошими! Всякое зло исчезнет!»

Присел он к старику на лавочку и осторожно так спрашивает:

— Это что же у вас здесь, дедушка, такое?

— А ничего особенного, — отвечает дед. — Пёкло и есть пёкло! Что с него взять?

Смотрит Трофим Трофимович по сторонам, удивляется: ни печей огненных, ни котлов. И смрада никакого нет, даже серой не пахнет. Вокруг дома почерневшие, в земле по самые окна, заборы гнилые. Под ногами грязь, солома. И светло, никакой тьмы. «Чудеса!» — думает.

— Да уж верно, — вздыхает дед. — Ничего здесь хорошего. А хуже всех тем, кто на земле молоко разбавлял. Они здесь молоко обратно от воды отцеживают. Плачут, а ничего поделать не могут.

— А не видели здесь Яшку Козлова? — вдруг спрашивает Трофим Трофимович. — Рыжий такой. И бородавка за ухом.

Старик рукой махнул.

— Ищи за переездом. Там самое главное пёкло и будет...

Пошел Трофим Трофимович в ту сторону, а куда свернуть — не знает. У кого бы спросить, думает. Видит — две бабы у колодца стоят, воду ведрами черпают, а ведра дырявые.

— Эй! — кричит. — Как здесь к перевозу выйти?

— Сверни влево! — машут бабы. — Там за горкой лодка. Кликни Харитона, перевозчика.

Свернул Трофим Трофимович влево, а бабы ему вслед:

— Увидишь кого на том берегу, спроси: долго ли нам с дырявыми ведрами мучиться?

Спустился Трофим Трофимович под горку, а там, правда, и река, и лодка возле берега. У лодки на земле путники сидят, три человека. Бородатые все, балахоны на них длинные, истрепанные. Один — не старый еще, длинноволосый, другой постарше, лысина во всю голову, третий — совсем старик, зарос весь, лица не видно. Поздоровался с ними Трофим Трофимович, спрашивает:

— Куда путь держите?

— Нам на ту сторону надо, — отвечают. — Да денег на перевоз нету.

— Ну, так я заплачу, — говорит Трофим Трофимович и деньги показывает, какие Никифоров дал.

Стал он кричать Харитона-первозчика, долго звал. Наконец, откуда ни возьмись, как из-под земли, мужик лохматый, заспанный, в волосах солома. Вместо левого глаза — глазница пустая. Пахнет от него перегаром, табаком.

— Только, — говорит, — лодка у меня старая, дырявая. Воду из нее черпать надо.

Ну, ладно, погрузились все и поехали. Черпают пассажиры воду ржавыми банками, а Харитон презрительно так на них смотрит.

— Раньше вот возил... Не в пример другие люди... С погонами, в сапогах. Одних орденов на груди... Чины большие. И у каждого на совести не то что одна душа замученная или две — тысяча душ... Эти деньгами швыряли... А теперь мелочь! Наперсточники или с биржи жулики. Прижимистые все, жадные. За копейку удавятся. Вот и не могу на новую лодку собрать.

На том берегу их уже ждал мальчик какой-то, в веснушках весь, босой. Лодку причалил, помог сойти. А как Трофиму Трофимовичу руку подавал, говорит:

— Вот и ты, отец! Я ждал тебя!

— Какой же я тебе отец? — спрашивает Трофим Трофимович. — У меня свой сын есть, Митроша. В тюрьме он сейчас.

Распрощался он со спутниками, стал в гору подниматься, а мальчик за ним. Трофим Трофимович спрашивает:

— Как же ты сюда попал? Разве такие маленькие могут быть здесь? Ты же и нагрешить небось не успел...

Мальчик серьезно так, как взрослый, отвечает:

— Я думаю, не по своей вине я здесь. Внебрачный я, подзаборный. Вот и родился — не жилец. А своих грехов на мне нет.

Трофим Трофимович посмотрел на него и говорит:

— Ну, тогда идем вместе. Ты не бойся, я тебя обижать не буду.

— А я и не боюсь, — отвечает Доня. (Мальчика Доней звали.)

Миновали они лесок небольшой, на открытое место вышли. Народу здесь, как на базаре. Посреди луга котлы большие, а в них люди с мешками роются. «Что это у них там?» — думает Трофим Трофимович. А как подошли ближе, нос зажимать надо: зловонные отбросы, гнилье.

Трофим Трофимович еще внимание обратил — слепых возле котлов много. Топчутся друг за другом, тычутся в спины, палками размахивают. «Сговорились они, что ли? — думает. — Или эпидемия у них такая?» А Доня будто подслушал его:

— Грешники сами себя темнотой наказывают, — бубнит он заученно, как урок в школе. — Сами себя ослепляют. От света в темноту себя уводят...

Отошли они от котлов воздухом подышать. Там неподалеку вагончик дорожный. Из вагончика парень выходит, шинель на нем длинная, до пят, и принимается бить в железную рельсу, подвешенную на столбе. Люди тогда от котлов отходят и stanовятся в очередь к другому котлу, кружки жестяные вынимают. Трофим Трофимович заметил: никто зря не болтается, все по очередям разобраны. Номера у всех на ладонках чернильные.

А у котла рыжий парень черпаком кипяток разливает. Галифе на нем синее с белыми штрипками, тапочки на босу ногу, под пиджаком майка. Трофим Трофимович долго глядел на рыжего, потом бородавку за ухом увидел.

— Яшка! Козлов!

Рыжий поглядел на него, подмигнул, но черпак из рук не выпустил.

— Это же надо! — радуется Трофим Трофимович. — Сразу тебя встретил! Вот ты как, значит! И здесь пристроился!

Хотел он еще что-то сказать, а Доня за руку тянет:

— Идем скорей! Здесь нельзя без дела стоять...

Пошли они дальше. Впереди сарай из досок, в синий цвет выкрашен, вокруг ящики с пустой посудой. К сараю люди стоят с сумками, в руках карточки. Мужик с ножницами карточки режет и печать лиловую ставит. Другой, в зимней шапке, бутылки пустые принимает. Тут Трофим Трофимович видит — человек какой-то из очереди на землю упал. Подскочил он, подняться помог. Думал: старик какой-нибудь дряхлый, а это молодой парень, тощий только очень. А как пригляделся — глазам не верит. Бронька Бобер! Тот самый, о котором Митроша рассказывал, бандит отпетый. Только теперь это не бык здоровый, а скелет, обтянутый кожей.

— Что же с тобой стало? — шепчет Трофим Трофимович.

А Бронька плачет:

— Толкнули меня... Нарочно толкнули...

Тут женщина какая-то из очереди к Броньке подбегает.

— Это ничего, Бронислав, ничего. Ты не обращай внимания...

Бронька слезы по щекам размазывает.

— Бутылку жалко... Разбилась...

Еще другая женщина в грязной рубаше, стриженная, из очереди выходит и первую отталкивает.

— Что вцепилась? Подумаешь — муженек! Нет здесь у нас ни жен, ни мужей... Все едины! А он всегда со мной жил! С тобой только расписан был, поняла?

Вынимает она зеркальце из сумки и себя рассматривает.

— Это кто же такая? — спрашивает Трофим Трофимович у Дони.

— Актриса! — отвечает Доня. — Неужели не помнишь?

Трофим Трофимович пригляделся: батюшки святы! Знаменитая актриса, первая красавица! Что про нее только не рассказывали! Будто один режиссер отравился из-за нее, другого из петли вынули. Потом, говорили, генерал какой-то ее застрелил.

А тут перед ними не старая еще женщина, в морщинах вся, волосы редкие, и зубы, какие остались, все желтые.

Доня дальше его тянет:

— Идем, идем! Не надо стоять...

Идут они, а сбоку очередь тянется. Сколько ни шли, она все не кончается и конца ей не видно. Трофим Трофимович спрашивает у Дони: куда люди стоят? Доня только плечами пожимает. Трофим Трофимович тогда к старику какому-то обратился с бритой головой, затем к другому, тоже бритому, но с бачками и усиками. Все только руками разводят — никто не знает.

— Как же так? — удивляется Трофим Трофимович. — Стоите и не знаете, за чем...

— А у нас так, — отвечают ему. — Мы всегда стоим.

— Для чего же тогда стоять? — спрашивает Трофим Трофимович.

— Кто его знает? — говорят. — Только у нас так...

Трофим Трофимович тогда подумал: «Это, видно, и есть самая настоящая адская преисподняя, о которой старик говорил. То есть одна большая очередь».

Тут кто-то локтем толкнул его сначала в спину, затем в бок. Обернулся он, а это два старика сцепились. Один схватил другого за бороду и треплет.

— Ты не смотри, что мой номер после твоего! Мне все равно впереди тебя положено! Потому как ты для меня пустой человек. Одно слово — писатель! Увидел он Трофима Трофимовича и выпустил бороду.

— А я тебя знаю, — говорит. — У тебя сын Митроша. Два года ему дали.

Трофим Трофимович удивляется:

— Откуда вы знаете?

— А я судья, который сына твоего судил.

— Вы что, тоже умерли?

— В ту же ночь, после суда. Обширный инфаркт. А какие похороны были! Полгорода на кладбище! Речи, венки... Памятник вот обещали...

Сзади бородатый подает голос:

— Неправедно судящий сам осужден будет. Здесь теперь твое место, в аду!

Глянул Трофим Трофимович на соседа — грозный такой старик, борода всклокочена, брови нависли, а из-под бровей глаза так и колют.

— Кто это? — спрашивает он у Дони.

— Ты что ослеп, отец? — шепчет Доня. — Это же Лев Толстой!

«Тоже, значит, в пекло угодил, — думает Трофим Трофимович. — Ну и дела...» А судья толкает Толстого:

— Ну что? Где твоя слава земная? Великий писатель земли русской! За Бога почитали! А теперь что?

— А твои богатства где? — не уступает Лев Толстой. — Копил, грабил, набивал мошну... Где это теперь?

Судья глянул на свои лохмотья и всхлипнул.

— И то... Какие костюмы носил... Целый шкаф одних рубашек... Комната вся в коврах... Мебель...

Лев Толстой хлопнул его по спине.

— Наворовал, мздоимец!

Судья обернулся и кричит:

— Заберут его когда-нибудь отсюда или нет? Не могу я с ним вместе здесь находиться!

Очередь тем временем заволновалась и стала вперед двигаться. Сбоку на судьбу прикрикнули:

— Ну, что зеваешь?

Тут только Трофим Трофимович заметил, что по сторонам очереди люди какие-то ходят. Одежда на них крепкая, не лохмотья: фуражки, сапоги, галифе. Лица темные, как крепкий чай, в руках плетки. Ходят вдоль очереди и покриваю:

— Давай, давай!

Какой-то старик полуголый прилег было у дороги на травке передохнуть, темноликий плеткой его огрел.

— Чего разлеся? Лучше других, что ли? Становись в общую очередь!

Доня одобрительно кивает: так, мол, его, так!

— Диоклетиан это,— поясняет он.— Император римский. Первый гонитель христиан...

Трофим Трофимович посмотрел на спину императора, на красный рубец и думает: «Вот наконец и наказания настоящие. Как и положено в преисподней. А то какой же это ад без мучительств и казней?»

Темноликий в фуражке повернулся к нему, оглядел с ног до головы и мысленно его читает.

— Какое же это наказание? Это так, для порядка. Порядок везде нужен. Им только дай волю...

Тут кто-то как крикнет:

— Держи его! Лови!

Какой-то человек выскочил из очереди. Борода клинышком, усы, одет, как в театре,— штаны короткие, шпага на боку. Выскочил и прочь кинулся. Который возле Трофима Трофимовича спокойно так говорит:

— Опять «Шекспир» чудит...

И пальцем по виску стучит. А человек со шпагой вырывается.

— Вы не имеете права!

Когда его в очередь обратно ставили, он руку вверх выбросил.

— А все-таки! Душа человека бессмертна!

Темноликий между тем все вокруг Трофима Трофимовича ходит, косится на него подозрительно, плеткой себя по сапогу хлещет. Доня скорей Трофима Трофимовича за руку, дальше тянет. Свернули они с луга, подальше от очереди. Идут себе по дороге, вокруг тишина, ветерок легкий.

— Хорошо у вас тут,— говорит Трофим Трофимович.— А каково моему Митроше? В камере он сейчас. Ему за побег еще добавят...

Весь день шли они, к вечеру устали, ног под собой не чувуют. Как стемнело, огонек в поле увидели. «Может, это и есть огонь неугасимый? — думает Трофим Трофимович.— Может, казни у них по ночам только и начинаются?»

Подошли они ближе, а там человек у костра сидит в халате. На шее — венок погребальный с лентами. На лентах надпись можно разобрать: «Незабвенному Иосифу Федоровичу». Увидел он подошедших и просит:

— Помогите снять...

Но, сколько Трофим Трофимович ни старался, венок с шеи не слезал, сидел как приклеенный.

— Мучаюсь вот,— сказал человек.— Как похоронили, с тех пор и мучаюсь...— И захныкал гнусаво, как от зубной боли: — Жили-то мы как? Небрежно, гадко! Будто бессмертные! Только и думали: пожрать бы да выше других сделаться. И все копили, копили.

Тут из темноты возник темноликий с плеткой:

— Огня не разводите! Пожгете здесь все!

И затаптывает костер. Потом к Трофиму Трофимовичу стал приглядываться.

— Вот ты где!

А Трофим Трофимович вдруг на него накинулся:

— Что у вас здесь творится? Где реки огненные и смола кипящая? Где сковородки и гвозди раскаленные? Что же я людям скажу? Нет, мол, никаких казней на том свете! Нет воздаяния! Грешите, дескать, родимые, сколько влезет...

Доня тут как дернет его — и скорей в темноту. Бегут они, вокруг мрак, ничего не видно. Наконец добежали до какой-то избы. Стукнули в окошко, на ночь просятся. Хозяйка говорит:

— Только угостить у меня нечем.

И правда — сели чай пить, а на столе ни хлеба, ни сахара.

— Вон как скудно живете, — говорит Трофим Трофимович. — На земле-то небось лучше было...

— Да где уж лучше? — отвечает хозяйка. — Разве там жизнь была? Работали с раннего утра до ночи. В поле приходили, зари еще не было. Вот осенью картошку рыть. Вокруг снег и вода. А мне не в чем. Обувка расхулилась. Председатель и говорит: смотри, у тебя нога наружу. А мне что делать? Я кругом одна. Председатель спрашивает: сколько у тебя семьи? Никого, говорю.

— Что ж, всю жизнь одна? — спрашивает Трофим Трофимович.

— Зачем всю жизнь? Мужик сначала был. Вина как-то зимой обпился и замерз до смерти. Потом сын еще. В армии он служил, а мне письмо дают. Погиб, пишут. Я как стояла, так и поехала. Поклонилась командиру ихнему, а он спрашивает: «Вы что, в крестик верите? У вашего сына крестик был...» А это я ему дала, чтобы он живой вернулся. Ну, ребята крестик у него отобрали, а он убитый. В гробу лежал весь в пятнах. Я дальше смотреть не стала. Командира пожалела. Сына-то все равно не воротить...

Трофим Трофимович смотрит на хозяйку.

— Как же вы-то сюда попали?

— А кто его знает, как? Я и сама не знаю... Грех-то, конечно, за мной есть... Мешок картошки как-то взяла. Украла, значит...

— Красть — это нехорошо, — вздыхает Трофим Трофимович.

— Да чего уж хорошего? — соглашается хозяйка.

Только чаю они пустого попили, стучит снова кто-то. Открыли, а это путники, которые на переезде были, тоже переночевать просятся. Хозяйка им опять:

— Угостить вас только нечем. Нет дома ничего...

А путники сели к столу и говорят:

— Посмотри в шкафчике. Может, что и найдется.

Хозяйка не хотела даже вставать, а потом подошла все же, а в шкафчике точно — мешочек с муцицей, бутылочка с маслицем. Ну, напекли блинов, на ночь глядя поели. Молодой ест да похваливает, плешивый не спешит, ест не торпясь, а старик только ртом беззубым шамкает.

— Вон как хорошо у тебя! — говорят. — Все у тебя есть.

Трофим Трофимович тут не выдержал.

— То-то и оно, — говорит, — что хорошо. Какая же это преисподняя? Где плач и скрежет зубовный? Где червь неусыпный? А мытарства? Это же курорт, а не пекло! Живи — не хочу! Разве это справедливо? Вон Яшка Козлов из дома тринадцатый! Уж на что обидчик, каких мало! Ему бы в смоле кипящей гореть, а он на раздаче пристроился. Этак народ по земле и вовсе разбалуется. Резать друг другу начнут почем зря!

Плешивый вздыхает.

— Что правда, то правда. Отбился народ. Только как их судить? Вроде бы и разбойник, и душегубец, а глядишь — хоть какое добро за ним есть.

Трофим Трофимович даже подпрыгнул на лавке.

— Это какое же, интересно, добро за Яшкой Козловым?

Плешивый рукой знак длинноволосому делает, тот достает из мешка книгу толстую. Развернул ее, полистал и читает:

— Козлов... Яков... Терпение за ним записано.

— Какое еще терпение? — спрашивает Трофим Трофимович.

— Все без ропота сносил, значит. Бесправие, нужду... Другой на его месте давно бы завыл. А этот ничего, жил себе... Ничто его не брало. Зарплата ни-

щенская, жилья нет. Вчетвером в одной комнатухе. К начальству придет, ему бы требовать, а он только кается. Виноват, дескать, сам во всем виноват... Все носил, как Иов.

— Ишь, какой святой выискался! — возмущается Трофим Трофимович. — Прямо на икону его. Да таких дел за каждым в наше время... Велика важность — терпение. У нас все терпят.

— На большие подвиги не каждый подняться может, — говорит плешивый. — Невеликие дела тоже нужны.

Только Трофим Трофимович успокоиться не может.

— Это что же? — кричит. — И мне по такому счету наказания не положено? Я, может, тоже терплю... А за мной сын в тюрьме! Ему, значит, срок мотать, а мне здесь с вами блины трескаться? Я же Митрошу своего загубил. По правилу мне вместо него сидеть...

Тут плешивый снова длинноволосому знак делает. Тот достает из мешка весы старомодные: палка железная, на палке две чаши на цепях. На одну чашу кладет он бумагу какою-то с гербовой печатью. Говорит: приговор это, по какому Митрошу судили. Казалось, ну, бумага, сколько в ней веса? А потянула она книзу, будто кирпич хороший. Затем достает платок мятый из того же мешка.

— А это еще что? — спрашивает Трофим Трофимович.

— Платок, — говорит длинноволосый, — которым ты слезы за сына своего утирал.

Кинул он платок на вторую чашу, и та медленно, не сразу, вниз пошла. Вот сравнялись чаши, ровно стоят. Тогда длинноволосый к путникам оборачивается.

— Он же за переезд платил.

И чаша с платком еще немного вниз опустилась. Плешивый довольный сидит, красный от чая, распарился.

— Истинное наказание не в преисподней, а в самом человеке. Человек сам для себя ад и рай. Все внутри него. Что себе изберет, то ему и будет. А здесь только вечная память и успокоение.

Третий путник, заросший весь, все время молчал. А тут вдруг закашлялся. Все смолкли сразу, на него уставились. А он только всего и сказал:

— В мире царит сердце милующее.

— Что же это значит? — интересуется Трофим Трофимович. — Как это понимать?

Только старик уже больше ничего говорить не стал. За него плешивый поясняет. Говорит, как по-писаному, будто книгу читает:

— А это означает — горение сердца о всяком творении. О человеках и о скотах... Также о демонах и всяких прочих врагах человеческих. Чтобы сохранились все и были помилованы. Истинная любовь не различает праведного и виноватого, но всех равно жалеет и любит. Силы любви побеждают грех...

Долго они так говорили, ночь уже поздняя. Доня уснул прямо за столом, возле блинов. Путники на полу устроились, а Трофим Трофимович — на лавке. Вот лежит он и думает: «Любовь, конечно, хорошо. Только ведь наказание тоже нужно. Как же без наказания? Люди-то всякие бывают. Не каждый о грехах своих печалится. Иной как раз наоборот — даже радуется, что ближнего обобрали... Нет, здесь что-то не так...»

Утром поднялся он, глянул, а путников в избе нет. Доня рассказывает:

— Проснулся я ночью — свет в комнате. «Откуда?» — думаю. На дворе ночь, а здесь день яркий. А потом смотрю — под столом перья белые.

— Ну и что? — спрашивает Трофим Трофимович. — При чем здесь перья?

— Да откуда им взяться-то? У хозяйки ни кур, ни уток, ни гусей. С ангельского крыла, значит.

— Не может быть, — говорит Трофим Трофимович.

— Ты что же, отец? Не узнал их? Это же святители и угодники. Истинный Христос послал их по загробному миру ходить, порядок смотреть.

— Вот жалость! — сокрушается Трофим Трофимович. — Мы и договорить не успели... Мне у них про сердце милующее узнать надо. Как же все-таки с грешниками? Которые, к примеру, не раскаиваются... Если, скажем, ограбили тебя да еще и радуются. Как тут быть?

Трофим Трофимович походил по комнате, потом и говорит:

— Надо идти искать их. Мне перед людьми отчитываться... Что я им скажу?

Собрался он на скорую руку, мешок завязал, даже чаю не стал пить.

— Куда же ты? — спрашивает Доня. — Оставайся, отец! Ты, может быть, думаешь, что я не люблю тебя? Ты не думай, я люблю.

— Жди меня, Доня, — говорит Трофим Трофимович. — Я вернусь... Обязательно вернусь...

Только Трофим Трофимович как ушел, так до сих пор и не вернулся. Говорили про него разное. Будто видели его где-то, чаще всего у переезда. Стоит у воды, лодочника Харитона кличет.

Темноликые с плетками гонялись за ним, но поймать не могли. Что ни день, в избу наведывались, где он ночевал с Доней, все напрасно.

А потом пошли события странные. На большой дороге стала являться лихая компания. Одеты все чудно — рубахи белые до пят, за спиной крылья картонные привязаны, на головах венки. В руках у каждого инструмент музыкальный со струнами, вроде лиры.

Производила эта компания большие беспорядки. Разгоняли очереди, сбивали всех в кучу и заставляли петь вместе с ними небесные песнопения. В руки каждому давали щит с надписью: «Райские кущи».

Предводитель ихний лицом очень походил на Трофима Трофимовича, так говорили. Темноликые каждый раз хватали его, но он неизвестным образом ускользал от них. А так, чтобы прямым своим обликом, Трофим Трофимович нигде не являлся. Уж сколько времени прошло.

А Доня все ждал его, все ждал...



Константин ВАНШЕНКИН

СКВОЗЬ ЭТОТ ДОМ...

ИЗ КНИГИ «ВОЛНИСТОЕ СТЕКЛО»

Железнодорожный роман

Железнодорожный роман:
На рассвете вдоль полотна —
Переезды. Пустые платформы. Туман...
Здесь — рубаха из полотна.

Полоса отчужденья. Обрыв реки.
Промелькнувшая будка. Стога.
Полчаса отчужденья. Изгиб руки.
Речь задумчива и строга.

Улыбка Неизвестного

Эрнст Неизвестный скалит зубы —
То не причуда, не пустяк.
Ему оскалы эти любви,
Себя он взбадривает так.

Нет, нет, не по-американски,
Светя улыбкой в объектив,—

Так могут делать, скажем, в Канске,
С бутылки пробку открутив.

Он ухмыляется по-волчьи,
Когда находит, что искал.
От одиночества и желчи
Его мучительный оскал.

Благодарность

Пройдя больничное крыльцо,
Как поздний пастырь,
Луна всем спящим на лицо
Кладет свой пластырь.

С утра приветствуя больных,
Клен веткой машет.
А то, что это от родных,—
В словах не скажет.

При свете дня и по ночам
В страданье остром,
Спасибо и таким врачам,
И этим сестрам.

Горька больничная юдоль,
И души рады
Трамваю, мчащемуся вдоль
Стальной ограды.

* * *

Вновь пишу я о тебе,
Иногда почти не веря,
Что навек в моей судьбе
Эта страшная потеря.

Слыша там мои стихи,
Не украшенные лютней,
Вспоминаешь ли штрихи
Нашей жизни обоюдной?

* * *

Терплю удар судьбы,
Чтоб не были видны
Порой его следы
Другим со стороны.

Храню достойный вид,
Но бедная душа —
Как сломанный графит
Внутри карандаша.

Возлюбленные

Иногда, днем, встречаясь глазами,
Они бегло улыбались друг другу,
Думая об одном и том же.

* * *

Женщина, спящая у стены,
Видалась со стороны спины.

А за окошком дрожал рассвет,
Птичьей сутолокою воспет.

А за окошком стоял туман,
И мне казалось, что все обман

Зренья, а может быть, просто сон,
Впрочем, в котором был свой резон:

Женщина, спящая под стеной,
Слабо прикрытая простыней.

Вербное воскресенье

Колокольного звона
Отголоски весь день на слуху.
У метро продают умиленно
Вербу, иву, ольху.

И прекрасен по многим приметам
Высоченный навес

Этим синим рассеянным светом
Напоенных небес.

На Бегах ожидаются дерби.
В общем, день неплохой.
Отдаю предпочтение вербе
Перед ольхой.

Кольцо

Фонарик-«жучок»,
Жужжащий в руке у кого-то,
И света пучок,
Возникший вблизи поворота

Тропинки. Темно.
Неведомо, что ему надо,
Но это пятно
Качается в сумраке сада.

Почти уже час
Маячит, и все ему мало.

— Ну что там у вас?
— Наташа кольцо потеряла.

— Да что за мура!
При солнечном свете свободно
Найдете с утра!..
— Ей важно, чтоб только сегодня...

Не думал тогда,
Что смутно останется с лета,
Как чья-то беда,
Движенье тревожного света.

Качка

Стало качать.
Знаю одно лишь:
Стоит начать —
Не остановишь.

Нос и корма
Слишком свободно
Сходят с ума
Поочередно.

Вспомнил сейчас
Сосны и ели.
В парке у нас
Были качели.

Впрочем, доска
Выглядит ложно —

Очень узка
И ненадежна.

Впрочем, доска
Слишком вертлява —
Так, что тоска
Слева и справа.

Но в тишине,
В чем была сила,
Девушка мне
Взмыть предложила.

Брали свое
Сладко и странно
Ноги ее,
Всплеск сарафана.

Разогнались
Вверх — и оттуда.
Страшная высь
И амплитуда.

Кажется, вот
Вздыбятся волны,

И оборот
Сделаем полный.

Сможет сама
Все что угодно...
Сходим с ума
Поочередно.

Дырявый дом

Дырявый дом! —
И вовсе не со скуки
Мы слышим в нем
Разрозненные стуки.

Весь день то дрель,
То устаревший шлямбур.
Пробили дверь,
Образовали тамбур.

В рассветный час,
Пока еще мы сонны,
Смущают нас
Отчетливые стоны.

Сквозь этот дом,
Что сотрясает кашель,
И мы пройдем,
Извилисто, как шашель.

Молодые поэты после войны

Стихи пришли с блиндажных тесных нар
Сквозь ту испепеляющую вьюгу,
И оттого-то — весь наш семинар —
Мы хорошо относимся друг к другу.

Но каждый, как смиренный пилигрим,
Мы за столы учебные садимся
И колкости друг дружке говорим,
Хотя еще без явного садизма.

Странная война

Странно: матери на войну
Приезжают за сыновьями,
Их разыскивают в плену
Или спящих в окопной яме.

Их увозят скорей домой,
Как бесценные сувениры.
Той бессмысленности прямой
Не препятствуют командиры.

Но домашний гремит пирог,
Зачерствевший давно в бауле.
Видно, поиск пошел не впрок
И ночевки в глухом ауле.

Или мальчик судьбой храним,
Только где-то на новом месте,
Или мать разминулась с ним,
А он сделался «грузом-200».

Проверка

«В кузове нашли ведро патронов», —
Сообщили вечером в «Вестях»,
Никого сюжетом не затронув,
Ибо это мелочь и пустяк.

Ибо, как известно, люди грешны
И давно живут среди химер.
Будто бы нашли ведро черешни
Или же картошки, например.

Обиходность явственная эта,
В общей растворенная судьбе;
Жизни устоявшейся примета —
Привыканье к смерти и стрельбе.

* * *

Одни обосновались в Штатах,
В иные убыли края.
Другие на зеленых скатах
Кладбищ заброшенных... А я?

Я в ожидании трамвая
При хмуром блёске седины
Стою, почти не узнавая
Своей уехавшей страны.

Парк забытых евреев

РОМАН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Все зимы Малкин проводил дома. Если и выходил, то только в сквер, где соседские мальчишки лепили снежных баб или с искусственной горки наперегонки спускались на саночках на скользкую, закованную в лед площадку. Иногда, увидев Ицхака из окна, к нему присоединялся Михаил Рубинов, усатый учитель, попавший в сорок первом под Ригой в плен и с тех пор выдававший себя за азербайджанца. Свое еврейство он упорно отрицал и после войны, хотя оно уже не каралось смертью, и продолжал жить в плену.

— Все мы живем в плену,— уверял еврей-азербайджанец Малкина.— Кто у жены... кто у любовницы... кто у начальства... Государство — не что иное, как необъятный лагерь пленных.

В свои почти что семьдесят лет он занимался йогой, стоял по утрам на голове, сосредоточенно медитировал и всех пламенно уверял, что именно она, йога, спасет человечество от полного одичания. Не коммунизм, не капитализм, не панисламизм, не сионизм.

— Если бы человечество хоть раз в неделю стояло на голове, то в мире порядка было бы намного больше.

Малкин же придерживался того мнения, что, как бы человечество ни стояло — на голове ли, на ногах ли,— порядка в мире не прибавится, пока водится такой зверь, как человек.

Взгляды их разнились, но их объединяло вдовство и морозы. Бывало, Рубинов вечером позвонит, справится о здоровье Ицхака или даже заглянет на чак. У еврея-азербайджанца было два сына, но, то ли оттого, что они не стояли на голове, то ли оттого, что с самого утра прикипали к рулю своих «Волг» и мчались зарабатывать деньги, Рубинову-старшему было с ними скучно.

— В плену, в плену...— вздыхал сосед Ицхака.— Как хорошо, что хоть от денег мы с вами свободны.

— От этого свободны,— не желая терять зимнего собеседника, поддакивал Малкин.

Потеряешь и на всю зиму останешься в одиночестве, живого голоса не услышишь. Натан Гутионтов до весны не появится, на полуживого Моше Гершензона даже грех рассчитывать. Если кто-то и заглянет на часок, то только Гирш Оленев-Померанц — выдует шкалик-другой, совершит на диване государственный переворот, добьется от новых властей указа о своём захоронении в Понарах — и поминай, как звали.

Зимний Рубинов был даром небес. Малкин ему не перечил, слушал его рассказы про карму, про чакру, про какую-то святую женщину Блаватскую. Иногда Ицхак засыпал под мерный, убаюкивающий говор соседа. Случалось, что они оба засыпали, и тогда кто-нибудь из перепуганных сыновей среди ночи будил их.

Сыновья уводили пленного, и Малкин оставался наедине с темнотой. Света он не зажигал, потому что свет только подчеркивал его неприкаянность, а из мрака, как со дна горного озера, он мог поднять все, что безнадежно кануло в небытие.

Мрак обладал поразительной способностью приблизить и до неузнаваемости, до крика преобразить все, что было дорого, но безвозвратно утрачено. Он не щадил никого и ничего, и в этом было что-то притягательное и отталкивающее одновременно.

Чаще всего в полуснах-полувидениях Ицхака возникала Эстер, принимавшая самые разные облики — то увертливой рыбы, то птицы с огненными перьями, то козочки с переливающейся во мраке жемчужной короной вместо рожек, то белокрылого ангела, стучащегося в расписанное узорами иная окно. Представала она перед ним и в образах вполне реальных — медсестры в гимнастерке и кирзовых сапогах, монашкой в строгом черном платье с белоснежным ошейником-воротником и суровой билетершей в столичном кинотеатре «Победа», куда они любили ходить на счастливую, беззаботную Марику Рокк, певшую сперва для надменных, захлебывающихся от своих удач немцев, а потом для них, столь натерпевшихся от этих кровавых побед евреев.

Чем больше Ицхак старел, тем присутствие Эстер становилось явственней. В короткие зимние дни и долгие, как пытки, ночи они почти не расставались друг с другом. Он переносился к ней туда, где никогда не был и быть не мог.

Порой его тесная, пропахшая выпаренной материей и старой рухлядью квартира превращалась в дом лесника Иеронимаса, за окнами которого шумела непроходимая, таившая в шелесте, в сверкании, в шуршании и в писках несметное множество тайн чаща; порой в прохладный, тенистый придел костела. Он, Ицхак, и сам чем дальше, тем чаще подвергался самым неожиданным, томившим душу превращениям.

Сколько раз он, став в мыслях на минутку лесником Иеронимасом Гайдисом, пытался сломать волю Лионгины. Лионгина — так на протяжении четырех военных лет звали Эстер.

— Да забудь ты своего Ицхака! — жарко шептал Малкин-Гайдис. — Это страшно, но с евреями в Литве покончено. Ты христианка. Мертвых надо помнить. Но от них ничего не родится.

Эстер никогда ему не рассказывала о лесничестве, о дяде Игнасе Довейки лесном бирюке Иеронимасе, да Ицхак ее и не спрашивал. Христианка, не христианка, не все ли равно, ее вера его не интересовала. Самое важное было то, что Эстер жива. Он простил бы крещение, измену. Все, кроме смерти. Всякое могло быть. Мало ли чем расплачивались люди в те роковые годы, чтоб только их не выдали немцам, — золотом, целомудрием, верой.

Когда завывала вьюга и дверь к Малкину подолгу не открывалась, он запрягал свою бессонницу и отправлялся туда, на берега Невежиса, в чащу, где среди зверей, пчел и деревьев безропотно пережидала свою беду Эстер.

Однажды он с ней и впрямь выбрался в лесничество.

Лейбе Хазин, тогда еще работавший в госбезопасности, всячески отговаривал Малкина: куда, мол, лезете, в самое логово бандитов, вам что, жить надоело?

Ицхак опасался Хазина, его милости и его гнева, но никогда не сомневался в том, что фотограф знает, где гром гремит.

— Может, не поедем? — дрогнул в последний момент Ицхак. — Подождем, когда все успокоится.

— Все успокаивается после похорон на кладбище, да и то не всегда! — отрезала Эстер. — Два года прошло, а мы ничегошеньки не знаем ни про Довейку, ни про Иеронимаса. Стыд и позор!

Что и говорить, Малкина смущало, что до сих пор не было никаких вестей о путевом обходчике Игнасе Довейке, спасшем Эстер в первые дни войны, но их неведение он не считал ни стыдным, ни позорным.

До Паневежиса два раза в неделю по довоенной узкоколейке ходил провожавший ночной поезд с выщербленными скамьями и тусклыми оконцами, а оттуда до лесничества надо было добираться либо на попутной телеге, либо топать семь верст пешком.

Пешком топтать не пришлось — на выезде из города им попался щуплый мужичонка, правивший смирной лошадей в крупных белых яблоках с развевающейся на ветру густой гривой и большими, затянутыми печалью, как придорожный пруд тиной, глазами.

Он ехал в том же направлении, что и они, и без всяких упрасиваний согласился подвезти незнакомую пару. Его сговорчивость и бескорыстие насторожили Ицхака, и он всю дорогу оглядывался по сторонам.

Выбитая, в рытвинах и торчащих из-под земли судорожных корнях колея ве-ла все время через лес и перелески.

Возница то и дело извлекал из кармана пачку папирос и закуривал, и легкий дым клубился над телегой, как облачко.

Малкин своей все нарастающей тревогой, как кнутом, подгонял неторопливую лошадь. Она щелкала над клячей, и было странно, что никто не слышит этого сухого, прерывистого пощелкивания. Эстер, кажется, дремала. Ее голова покачивалась из стороны в сторону и чем-то напоминала колеблемый ветром спелый плод на уставшей от тяжести ветке.

Ицхак никогда не забирался в такую глушь и потому с особой остротой воспринимал каждый запах и звук, будь то упоительная трель птицы или похрюкивание кабана в зарослях.

Воздух был пасхально свеж и прозрачен. Казалось, на свете никогда не было никакой войны, никому ни от кого не надо было прятаться, все — и птицы, и деревья, и звери, и самые малые козявки — были равны и одинаково угодны Господу, да и Он сам, всевидящий и вездесущий, расхаживал поблизости по своим угольям, которые если и были чьим-то логовом, то только не тех, кого фотограф Хазин называл бандитами.

В душе Малкина понемногу накапливалась благодарность Эстер за то, что та вытаскала его из Вильнюса, из этой огромной казармы, где, не успев отойти ко сну, уже слышишь побудку. Вставай, беги, добывай, ловчи, выкручивайся, опережай другого!

Он смотрел на круп лошади и вспоминал свою уланскую службу, своего буланого, его мохнатые ноги, его полные жизни ноздри, и норовистого, готового пуститься вскачь по этому лесу, по этому висящему над ними небу. Вискачь, галлопом, как угодно.

Однако чем ближе они подъезжали к лесничеству, тем острее саднило чувство неизбывной, казавшейся непристойной ревности к Иеронимасу Гайдису, которого Ицхак ни разу в глаза не видел и к которому он едет Бог весть в каком качестве — то ли благодарного по гроб мужа, то ли поверженного соперника. Ревность сминала все красоты вокруг: и непостижимую чашу, и прорубленную через нее еще топорами крестоносцев дорогу, многоцветие кружившихся над телегой жужелиц — Божьих искр, рассыпанных в пространстве, чтобы путники не заблудились.

Сама мысль о том, что Эстер за свою безопасность вынужденно (вынужденно ли?) могла заплатить любовью, доставляла Ицхаку нестерпимую боль. Поди проживи четыре года бок о бок с мужчиной и не согреси... Да и как ее осуждать — ведь он мог не вернуться с войны или мог похоронить ее без времени и жениться на другой. Сколько не вернулось! Война — всегда развод.

Что бы там ни было, он, Ицхак, примет это как неизбежность. Он скрепя сердце простит ее, никогда не упрекнет и ни о чем не напомнит. Это жизнь нельзя начать сначала, а любовь — можно. Любовь — всегда начало... Вдруг протяжно заржала лошадь, и вслед раздался зычный окрик:

— Стой!

Возница натянул вожжи, телега жалобно заскрипела колесами и застыла. Откуда-то из бурелома на обочину выпрыгнули вооруженные обрезамы люди. Один из них схватил под уздцы лошадь, а двое других подошли к грядкам телеги и приказали невозмутимо спокойному, видно, привыкшему к таким нападениям крестьянину и его попутчикам слезть.

— Кто такие? — обратился к вознице тот, кто только что держал под уздцы лошадь.

— Не знаю, — чистосердечно признался мужичонка. — Попросили до лесничества довести, я, дурень, и согласился.

— Взаправду дурень,— поддержал его незнакомец.— Не знаешь, кто просится, а в воз сажаешь.— И вдруг гаркнул: — Всех обыскать!

Обыск явно разочаровал налетчиков. Кроме паспортов, мешка непроданной картошки, завернутого в холстину сыра, смятых, как бы запотевших русских рублей, сантиметра да иголки с продетой ниткой, ничего найти не удалось.

— К кому едете? — по-домашнему, без всякой угрозы продолжал допрос старший, сняв с плеча обрез и поглаживая свободной рукой густую и непроницаемую, как и чаща, бороду.

— К Иеронимасу, к Гайдису,— ответила Эстер.

В наступившей тишине слышно было, как мочится лошадь.

— Зачем?

— В гости. Я жила у него во время войны.

Эстер боялась повредить своему благодетелю излишними объяснениями, медленно и тяжело подбирая слова. Изредка она бросала ободряющий взгляд на Ицхака: мол, все обойдется, никакой вины за нами нет. Малкин же смотрел на вековые деревья, подступавшие к самой обочине, на больших птиц, которых он видел впервые в жизни, и, как все евреи во все времена, молил Всевышнего о чуде. Ну что стоит одной из этих птах скосить глаз, увидеть его и Эстер, стремительно снизиться, подцепить их своим острым и мощным клювом, оторвать от этой трижды проклятой земли, постоянно жаждущей крови, поднять в небеса и унести отсюда навсегда, навеки куда-нибудь на остров, где под шум волн на пустынном берегу можно спокойно вылизать свои раны.

Бородач поднял их паспорта, глянул на фотокарточки, прострелил взглядом их лица и как бы между прочим спросил:

— А ты в войну где находился?

То был вопрос жизни или смерти. Ответ Малкин, что в Красной Армии, в той самой, которая сейчас жестоко и неумолимо охотится за ними, развязка наступила бы тут же, на месте, и труп его сбросили бы в заваленную валежником канаву. Он хорошо понимал, что от ответа зависит не только его судьба, но и Эстер. Единственное, чем Ицхак мог помочь себе и ей, было убедительное, труднооспоримое вранье. Надо бородачу и его помощникам как-то внушить, что его, Малкина, уже не раз на смерть гнали — в Каунасе, в Вилиямполе, а потом отправили в Германию, в концлагерь.

— В Германии, в концлагере, а оттуда на родину вернулся.

Лесовик испытующе глянул на него, похлопал по холке приунывшую, искусанную надоедливими лесными мухами лошадь и коротко бросил:

— Кто вернулся, а кто еще нет.— Помолчал и добавил: — Но мы вернемся... Когда вернем ее...

Глаза его вспыхнули, губы сжались.

Все ждали его решения. Но бородач не спешил, подошел к своим соратникам, смачно уплетавшим изъятый у возницы сыр, и после недолгого совещания разрешил мужичонке катить дальше, а Ицхаку и Эстер велел следовать за ними.

Успевший оглянуться Малкин увидел, как возница быстро и истово осенил крестным знаменем себя, потом гнедую, потом дорогу, потом чащу, в которой скрылись его попутчики.

В лесу было тихо и прохладно. Под ногами похрустывал валежник, и хруст его был домовитым и миротворным, предвещавшим как бы тепло и покой... Все шли молча, цепочкой, глядя себе под ноги, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму.

Хотя вокруг и владычествовала тишина, какая, наверно, стояла только в первый день творения, она угнетала Малкина больше, чем грохот орудий. Он силится представить, куда и зачем их ведут, но от растерянности ничего путного не мог придумать. Ради того, чтобы пустить их в расход? Так это же можно было сделать сразу, на проселке, не утруждаясь. Ради того, чтобы им учинить суровое дознание? Так разве же неясно, что их свидетельство и гроша ломаного не стоят? Что может знать портной или домохозяйка? Может, их вздумали выменять на кого-то? Но кого они в обмен на двух несчастных евреев могут получить? Мешок картошки и тот за них не выклянчишь.

Как бы там ни было, если им и суждена погибель в этом бору, то он хотел бы пасть от пули первым. Пусть Эстер проживет хотя бы на миг дольше, чем он. Разве для любящих миг не вечность?

От немоты сводило скулы. Ицхаку хотелось заскулить, завывать, вполголоса запеть, но врожденная осторожность заставляла молчать. Молчание превращало его в дерево с бесчувственной корой вместо кожи, с гниловатым дуплом вместо сердца, с оставленной птицами кроной вместо головы, из которой выпорхнули все мысли. Эстер шла впереди него, не оглядываясь, как бы чувствуя свою вину.

У обгорелой сосны они остановились. Бородач на короткое время исчез в чаще, но вскоре вернулся с сухопарым мужчиной в выцветшей довоенной офицерской форме, не вязавшейся с пенсне на тонком, с горбинкой носу. Он был без фуражки. Редкие русые волосы трепал залетный ветерок.

Помощники бородача подвели к нему Малкина.

— Профессия? — поправляя сползающее пенсне, спросил офицер.

— Портной! — не задумываясь выпалил Ицхак.

— Знаем мы этих портных, которые нам в сороковом иголки под ногти загоняли, — буркнул один из охранников.

— Тебя никто не спрашивает! — одернул подчиненного мужчина в пенсне и снова обратился к Малкину: — Портные нам пока не нужны... А это кто? — ткнул он револьвером в Эстер.

— Моя жена.

— Так-так. Помню, раньше, до войны, евреи к нам на дачу приезжали. Я с их детишками вместе в озере купался. Заплывешь, бывало, за камыши и только слышишь: «Авремке, назад!», «Мендке, мешугенер, назад!». Но сейчас не дачный сезон...

Разговорчивость офицера внушала надежду, и Малкин вцепился в нее, как дятел в ствол дерева...

— Итак, что евреям в бессезонье понадобилось в лесу?

— Господин офицер, — не давая Ицхаку опомниться, начала Эстер, — мы хотели проведать моего спасителя лесника Гайдиса и крестного отца — ксендза Валатку.

— Ты знакома с ним?

— С кем? — спокойно спросила Эстер, и ее спокойствие поразило Малкина.

— С Валаткой.

— Он меня крестил.

Эстер замолкла, истошились вопросы и у следователя, он спрятал за пазуху револьвер, снял с переносицы очки, согрел их своим дыханием, подождал, пока запотеет стекло, протер его и, приблизившись вплотную к женщине, облегченно выдохнул:

— Лионгина. Не узнала? В прежней жизни Юозас. Органист. Не раз до твоего отъезда в город заходил к вам в лесничество... Неужели так изменился?

— Все мы изменились.

— Нет больше Иеронимаса. И ксендза Валатки нет. Некого проведать. Зря ехали, зря головой рисковали.

Малкин слушал его и беззвучно повторял благодарственную молитву. Чего только он не наслушался о них от Хазина: они, мол, головорезы, руки у них в еврейской крови. За всех Ицхак ручаться не будет. Наверное, и этот сухопарый в пенсне не святой. Ведь вернуть себе родину, без немцев и без русских и, может, без таких евреев, как Лейбе Хазин, и не пролить крови невозможно.

— Я провожу вас... выведу на опушку. Оттуда до местечка полверсты, не больше, — сказал Юозас и повернулся к бородачу: — Сокол! Пойдешь со мной.

— Могу и один, господин командир.

— Вдвоем веселей, — деланно улыбнулся офицер.

Видно, не доверяет, усек Малкин, который до первого ранения какое-то время был разведчиком. Бородач и у него не вызывал доверия. Выведет на опушку и еще разрядит в них обойму. И никто их не хватится, никто слезы не обронит. Мертвые евреи никого не удивляли, удивлялись только живым.

Как только они двинулись обратно, деревья расступились, их смертельное кольцо разжалось, распалось на звенья. Каждый дуб и каждая сосна напомина-

ли буланую или пегую лошадь, уносящую их от этих лесных солдат; от отвоенного клочка их родины, который они, живя в своих норах и берлогах, делят с волками и дикими кабанами, а не с детьми и женами; от этих начиненных порохом красот обратно в город, к преданному «Зингеру», к вымощенным или заасфальтированным улицам, к освещенным окнам, к очередям за хлебом, к бдительному Лейбу Хазину, фотографирующему сейчас уже не трупы, а мысли и намерения. И никуда больше не ездить, ничего лишнего не помнить. Подальше, подальше от тех, кто участвует в этих кровавых сшибках, это не занятие для портных, это вообще не дело евреев.

Чаща стала редеть, и в проем между деревьями, застывшими, как табун, хлынул свет. Его было так много, как в детстве, как на Рош Хашана, когда он, Ицхак, вместе со своими братьями Айзиком и Гилелем под предводительством бабушки ходил на реку, на Вилию, топить свои грехи.

— Бабушка,— жаловался Ицхак.— Ты же знаешь, никаких грехов у меня нет.

— Ладно, ладно. Топи чужие... Мои, деда-безбожника, отца Довида,— он тайком по субботам курит... Чем больше потопишь, тем Бог к тебе милостивей будет. И ты получишь от него благословляющую подпись не на год, а на целый век!

Бабушка, Вилия, братья Айзик и Гилель, сладкие, детские грехи, уклеяками уплывшие вниз по течению в Неман, заслонили опушку, на которую они наконец вышли.

Внизу струился Невежис, в котором, как в Вилии, как в каждой литовской реке, нерестились невинные грехи тех, для кого слово бабушки было словом Бога...

— Знаете ли вы, кого покрываете?

— Никого я не покрываю.

— Солдат Красной Армии Ицхак Малкин, еврей, потерявший в войну всех своих близких, в роли заступника убийц! Что полагается за такое укрывательство, надеюсь, вам известно. Не пугаю — я не судья, а обыкновенный следователь. Только предупреждаю! Если кого-то и хотел бы видеть за решеткой, то, поверьте, не лиц вашей национальности. Может, только мы, русские, пострадали больше. В численном отношении, но не в пропорциональном. Ответьте мне на вопрос, зачем вы ездили в Паэжэряйское лесничество и с кем там встречались, и мы, как говорят в Одессе, разойдемся, словно в море корабли. Я приду к вам на Троцкую, в ателье, вы сошьете мне новый костюм, и я буду похвалиться им повсюду. Ведь жизнь у нас кочевая: сегодня Литва, завтра Украина, послезавтра Эстония.

— Я уже вам сказал: ездили к человеку, который спас мою жену. Но его не застали дома. А что до встреч, то ни с кем, кроме мужика, подбросившего нас до развилки, не встречались.

— Негусто... Столько вас били, а одно из вас никому еще выбить не удалось — вашу способность ускользать от ответа. Вы народ вопросов.

— Пока вы спрашиваете больше.

— Спрашивать — мое ремесло, а не национальная черта. Могли же вы с кем-то случайно встретиться. Случайности правят миром. Вглядитесь хорошенько в эту фотографию. Узнаете его?

— Нет.

— Правая рука Гайдиса. Кличка «Филин». В миру Юозас Шерис, бывший органист. Особая примета: носит пенсне.

— Молодой...

— Молодой, да ранний. На прошлой неделе его люди напали на волостной центр и вырезали семью парторга — двух стариков родителей, детей-близнецов и жену.

В зимние вечера, когда на заметенных снегом улицах замирало движение и никого нельзя было выманить в гости, Ицхак принимался воскрешать и высказывать то, что, казалось, было выкорчевано навсегда и не доставляло никакой радости. Ну какую радость могут доставить бородачи с обрезам в руках или

хитрый, поднаторевший в допросах майор госбезопасности; неприступное, как дот, и неумолимое, как рок, здание на проспекте Сталина, которое, хоть и возвышалось в самом центре Вильнюса, своими подвалами-норами, своими кабинетами-берлогами, своими шторами, плющом свисавшими со стен и окон, напоминало ту непроходимую чащу с ее буреломом — только в чаще ломало деревья, а тут — людей.

Долгую городскую зиму вместе с Ицхаком коротали безымянный мужичонка, понукавший свою покорную лошадь, бородач с обрезом, ошупывавший штаны Малкина и запускавший свои волосатые руки к нему за пазуху; майор Миров или Киров, не перестававший страшать его геенной огненной и перевозносить предательство как высочайшую добродетель; хромоногий Лейба Хазин, закутаный в вывязанный женой — заботливой Леей Ставиской — шарф и сновавший с доносами по городу, как со свежими пончиками.

Под вечер приходила Эстер и всех разгоняла:

— Пшли вон отсюда! Пшли вон!

И в открытую дверь на мороз вылетали превращающиеся на глазах в пар беседники Ицхака — следователи с разными погонами и манерами, доносчики, смертные лошади и многомудрые деревья. Пар застывал в студеном воздухе, и все пережитое Малкиным, кружась снежной каруселью, проникало через щели в оконных рамах и возвращалось к нему снова и снова.

Зимней порой Ицхаку казалось, что он сам и вся жизнь человеческая не более, чем пар, клубящийся изо рта в стужу. Выдохнул — и исчез. Единственное, чего он не мог понять: почему же между выдохом и исчезновением такое расстояние? Он тихо покрякивал, укоряя себя за то, что еще выдыхает в пустоту то ли пар, ставший жизнью, то ли жизнь, ставшую паром.

Мысли изнуряли его. Он изнемогал от их обилия, от их повторяемости. Когда делалось совсем невмоготу, Малкин подходил к «Зингеру», опускался на обшитый еще Эстер стульчик, нажимал на педаль и принимался вхолостую строчить. Так он мог строчить часами, пока усталость и сон не смаривали его. Звук работающей машинки на время примирял Малкина со старостью, с одиночеством; пораженные ревматизмом ноги обретали прежнюю упругость и подвижность; изнуренные глаукомой глаза впивались в головку «Зингера», как в шпиль собора Парижской Богоматери; и с каждым нажатием педали он, бесстыдно молодея, облекал себя в силу, в страсть, в соблазны.

Игла обезумевшего во мраке «Зингера» перешивала всю его судьбу, прострачивала не пустоту, не воздух тесной коммунальной квартиры, а как бы пролагала стезю для всех заблудившихся на свете, для всех потерявших друг друга.

Засиживаясь за верным «Зингером», Ицхак сходил с ума вместе с ним. Но то было заманчивое, целительное безумие, и Малкин мечтал только об одном — чтобы оно длилось бесконечно. Кончится безумие — кончится жизнь.

Безумие не имело ничего общего с обыденным безрассудством, которое встречалось на каждом шагу и которое кончалось самоубийствами, членовредительством, тюрьмой и ссылками.

Жить в том обыденно-безрассудном мире ему не хотелось. Он отказывался быть его подданным и, видно, потому пытался на своем одиночестве построить свое, ни от кого не зависимое государство, в котором большинство населения составляли бы мертвые и управлял бы им один живой — он, Ицхак Малкин. Но уберечь свою республику от нашествий и вторжений живых, от какого-нибудь гэбиста Мирова или бородача с обрезом он был не в состоянии. Вот и сейчас они крадутся к границе, которую стережет всего один человек, который является и пограничником, и основателем государства, поскольку в нем, кроме Ицхака, никто в живых не числился.

— Стой! — кричит он бородачу с обрезом.

— Стой! — приказывает он Лейбе Хазину, фотографу, спешащему в серое здание на проспекте Сталина с полновесным доносом.

— Стой! — останавливает он у самой пограничной кромки следователя-гэбиста, вооруженного с ног до головы дубовой, непробиваемой верой в то, что все, кроме него, враги Отечества.

Но на них его предупредительные крики не действуют. Они знают, что никакой стрельбы не будет. А если он и будет стрелять, то ветхозаветными заповедями, присловьями отца и деда о добре и зле.

— Можно?

Ицхак вскинул голову. Неужели он ослышался? Неужели голос ему только померещился?

Телевизор выключен, «Зингер» дремлет — ему, наверно, снится его прежний хозяин-немец. За окном, в почти что нарисованном городке завывает вьюга. Но вьюга не говорит по-русски.

По-русски говорит еврей-азербайджанец Михаил Рубинов. Ицхак ленится подойти к двери. Кому нужно, тот зайдет.

Он никогда не запирает дверь. И в молодости не запирали. Как только ни убеждала его Эстер, он стоял на своем:

— От беды замками не укроешься. Радость на замок не запрешь.

Все родичи запирали свою с трудом добытую радость, но она то и дело сбегала от них. А сбжавшая радость, как невеста, улизувшая из-под хупы, никогда не возвращается.

— Можно? — Голос окреп.

— Всегда, — обронил в тишину Ицхак, не питая никакой надежды на то, что в дверном проеме появится чья-то голова.

Но он ошибся. Темнота родила гостей. Малкин доплелся до выключателя, щелчком зажег свет и, кутаясь в махровый халат с увядшим начесом, устался на прищельцев. Валерия Эйдлина он узнал сразу, а во втором опытным портновским глазом узрел иностранца.

— Простите великодушно, мы нагрязнули без звонка, — смущенно пробормотал музейщик.

— У меня телефон не работает. Уронил на пол. До сих пор не поднял — забыл.

— Мой друг из Америки... Из Колумбийского университета. Джозеф Фишман. Снимает фильм о евреях Восточной Европы...

— Очень приятно, — натянуто сказал Малкин. — Посидите немного, я поставлю чай.

— Мы ненадолго... на минутку... — на подпорченном английскими распевами идише объяснил Джозеф.

— Он хочет и вас снять, — оправдывался Эйдлин.

Желая расположить хозяина, он поднял с пола телефон, вытащил из сумки перочинный нож со штопором и принялся что-то усердно отвинчивать.

— Сперва чайку выпьем. Если желаете, у меня и покрепче найдется. Целая коллекция. Чаевые за сорок лет.

Он прошел на кухню, поставил на плиту чайник со свистком, вернулся в гостиную, распахнул дверцу буфета и воскликнул:

— Армянский, грузинский, молдавский, азербайджанский! Коньяк сорокалетней выдержки! — Он извлек запыленную бутылку, достал три рюмки и объявил: — В честь первого и последнего американского гостя!

— Почему же последнего? — спросил учтивый американец и пристегнул блестящей скрепкой, похожей на запонку, сползающую с головы кипу.

— Потому что гости, может, еще будут, но вот хозяина... Порой жизнь напоминает затянувшиеся похороны.

— Хотя мой фильм и о последних евреях, но я вам желаю: до ста двадцати, как до двадцати!

— По-моему, — тихо, пропустив мимо ушей пожелание иностранца, промолвил Ицхак, — Америку всегда интересовали первые.

— Это правда, — подтвердил Фишман. — Но и на последних есть спрос, особенно на последних евреев Литвы и Польши.

— Если вы, Ицхак, согласитесь, вас увидит вся Америка, весь мир, — рассыпал дешевое просо лести Эйдлин, копаясь в чреве телефонного аппарата. — У вас там небось родственники.

— Была сестра Лея.

— Где? — не притрагиваясь к коньяку, осведомился Фишман.

— В Детройте... Почему вы не пьете?

— Спасибо, мне нельзя,— ответил гость и поправил кипу.— О, Детройт! О, Форд! — твердил он с восторгом.— Мои грандмазе и грандфазе тоже жили в Детройте.

Он вдруг задумался, и задумчивость придала его безвозрастному лицу выражение детскости и простодушия. Взгляд его скользнул по неубранной квартире, по старой скатерти с довоенной вышивки цветами и остановился на застекленной фотографии, на которой были запечатлены молодой мужчина с тростью в руке и невысокая женщина в шляпке, вошедшей в моду после фильмов с участием Франчески Гааль. За спиной влюбленной пары всходила громада Эйфелевой башни.

— Париж? — спросил Фишман.

— Да. Тридцать восьмой год.

— Справа — вы, а слева?

— Моя жена. Эстер.

Ицхак потянулся к рюмке, от волнения опрокинул ее, снова налил доверху, и вкус простоявшего сорок лет напитка вдруг вернул его в маленькое кафе напротив Оперного театра, куда он по вечерам приходил с Эстер выпить стаканчик бургундского или чашку крепкого до головокружения кофе. А может, голова у них тогда кружилась не от вина, не от кофе, а от того, что они вместе, что рядом шумит, бурлит, куролесит, веселится, скабреничит, целуется вза-сос, соблазнительно сверкает огнями великий город, в котором столько же любви, сколько звезд над Сеной. Бецалель Минес уговаривал их остаться, обещал даже помочь с деньгами — снимите, мол, скромненькую мансарду неподалеку от Центрального рынка или подвальчик на бульваре Капуцинов и мало-помалу выбьетесь в люди. Но они вернулись домой, в Литву, в местечко, где их знал каждый камень, каждое дерево, каждая лягушка, радостно приветствовавшая всех поутру бесхитростным гимном.

Что их тянуло назад? Родители? Братья и сестры? Где они сейчас, их отцы и матери? Где Айзик и Гилель? Ципора, Фейга?.. (Он, старый, порой даже не в силах все имена вспомнить!) Что было в его, Ицхака, жизни между Парижем и сегодняшним днем? Окопы под Прохоровкой и Алексеевкой, госпитали, страх перед полковником-доброхотом, смерть Эстер, страх перед соседом-доносчиком, перед следователем-гэбистом, прощание с друзьями, которых увозили на кладбище или в Израиль, и чужие брюки, пиджаки, пальто — тысячи, сотни тысяч, считай не считай, все равно со счета собьешься. А у Эстер? Что было у нее? Товарный вагон на железнодорожной станции, куда ее от немцев и их подкаблучников спрятал сердобольный Игнас Довеяка; лесное заточение в Паэжэряй у Иеронимаса Гайдиса, выслеженного энкаведистами и приговоренного к расстрелу; болезни; доктора, онкологическое отделение, глиняный холмик на дарованном властями еврейском кладбище рядом с городской свалкой? Это все, что они получили взамен за обольстительный, незабываемый Париж. Кто там наверху, в Господней канцелярии, так, а не иначе распорядился их судьбой? Или все предопределено заранее и ни один человек не может это предопределение изменить в свою пользу?

— Валери,— назвав Эйдлина на непривычный иностранный лад, прервал раздумья Малкина Джозеф,— рассказывал мне, что в Вильнюсе есть парк евреев и что вы там главный...

Малкин усмехнулся:

— Парк-то есть. Евреев нет.

— А мне никто, кроме вас, не нужен,— признался Джозеф.— Если не возражаете, завтра в десять Валери придет за вами на такси и привезет туда. Долго мы вас не задержим. Так и вижу первый кадр: вы ходите по аллее, а вьюга заметает ваши следы.

— Прекрасно,— восхитился Эйдлин, окончательно запутавшийся в рычажках и винтиках.— Какой потрясающий образ!..

— Через два дня мы улетаем. Должны успеть все сделать: снять, проявить материал... Вы согласны?

— А если вьюги не будет? — воспротивился Малкин.

— Будет, будет,— успокоил его американец.— Вьюги в Литве всегда будут. За них я спокоен. А с евреями надо спешить...

Он полез в карман, вынул таблетку — свой кошерный ужин — и осторожно проглотил ее, считая полностью решенной проблему завтрашней съемки.

Пока американец записал свой скудный ужин крепким чаем, музейщик Валерий, отчаявшийся починить телефон и от расстройств чуть не опрокинувший на него бутылку коньяка, успел нагнуться над Малкиным и по-литовски прошептать:

— Вам заплатят... долларами. За съемки...

— А кто мне заплатит за то, чего снять нельзя? — выдохнул Ицхак. — Или вы просто пришли ко мне, как на могилу? Возложите по цветочку и уедете в Нью-Йорк.

Фишман вежливо выслушал коротенький урок литовского, но понял только одно слово: Нью-Йорк.

Гости стали собираться. Малкин проводил их до прихожей.

— Большое спасибо. До свиданья, — сказал Джозеф и, повернувшись к Эйдлину, перешел на английский: — У меня уже, Валери, руки чешутся. Кадр получится, достойный Феллини: молодой провинциал еврей, турист из Литвы, с тростью в руке на фоне Эйфелевой башни, и он же глубокий старик, следы которого под чтение кадиша замечает вьюга.

Когда гости ушли, было уже за полночь. В соседних окнах давно потух свет. Но Ицхак никогда раньше и не ложился.

Он был приятно взволнован то ли от выпитого грузинского зелья, то ли от предстоящей съемки. «Кроме вас, мне никто не нужен». Выбор американца льстил его самолюбию, нет-нет да просыпавшемуся, как забытый вулкан, — ни с того ни с сего извергнется и обдаст горячим пеплом. Правда, чувству приподнятости мешало то, что он как бы присваивает себе печальную радость других — Натана Гутионтова и Гирша Оленева-Померанца. Разве они не заслуживают того, чтобы их сняли и увидел весь мир? Отец Довид говорил, что две вещи всегда найдутся у еврея: хворь и родственник.

Может, если будет названо его, Ицхака, имя, кто-нибудь в Детройте или в Париже, откинувшись в мягком кресле, воскликнет в голубых сумерках: «Да это же наш дядя Малкин, брат мамы!» или «Смотрите! Неужели папин ученик, муж тети Эстер?».

Ицхак покосился на стол, снова налил себе полную рюмку (что это с ним стало? За последние три десятилетия он не высосал столько, сколько за один этот вечер!) и медленно выцедил. Перед сном бесполезно. Хотя он вряд ли сегодня так скоро уснет. В последнее время он вообще почти не спит. Думает. Больше всего о смерти. Ицхак и для нее держит дверь открытой. Наверно, для нее в основном и держит. Прошлой зимой она пришла к соседу литовцу, поленилась подняться этажом выше.

Нет, он не будет убирать со стола — пусть стоят эти рюмки, эти чашки и эта бутылка. Пока в доме не убрано, ты жив. Господи, когда и от кого он это слышал? Он оставит все, как есть. Может быть, среди ночи встанет и еще рюмашечку клюкнет. Коньяк горячит кровь, прочищает заросшие, как чертополохом, ненужными словами уши. Сколько он их наслушался на своем веку! Нужных было так мало, так мало.

— Я тебя люблю, Ицхак!

Они, эти слова, далеким и чистым эхом докатываются до него из другого времени, из другого века и волнуют так, как будто Эстер произнесла их только вчера. Самые нужные, хоть и давно отзвучавшие слова в его жизни. За окном куролесит ветер. Завтра будет вьюга, завтра Ицхак придет в Бернардинский сад как на собственные похороны и вопреки всем обычаям сам над собой прочтет кадиш, завтра сквозь чертополох бессмысленных слов на английском, на литовском, на идише снова пробьется:

— Я люблю тебя, Ицик.

Она будет с ним рядом, и вьюга никогда не заметет ее следы, ее слова, ее волосы. Надо лечь, попытаться уснуть, чтобы к утру набраться сил. Одному Богу известно, сколько раз тебя прогонят из конца в конец парка, прежде чем снимут.

Можно не раздеваться. Так, пожалуй, лучше — встать, накинуть на плечи портное зимнее пальто (шубу-то он еще в прошлом году продал) и прямо в так-

си. Нечего, как говорит Гириш Оленев-Померанц, выпендриваться. Он, Ицхак, не киноартист. Сойдут и пальто, и шапка из выдрового меха, и нечищенные ботинки. Когда стоишь одной ногой в могиле, то тебе надлежит заботиться не о том, надраена ли до блеска обувь, а чиста ли твоя душа.

Ицхак похлопывает рукой «Зингер», как лошадь по крупу, и направляется в другую комнату к кровати. Валится на перину, закрывает глаза, но сон упрямо не идет. Мысль бодрствует, как зеркало, и ничем ее не занавесить.

В изголовье стоит Эстер, просится в постель, но он ее не пускает. Не пристало дряхлому старцу лежать с молодой. Ицхак не желает, чтобы она заразилась от него старостью и немощью. Он знает, как заразна старость, — к чему ни прикоснется, к дереву ли, к человеку ли, к камню ли, все ветшает, плесневеет.

Дребезжа, к кровати подъезжает «Зингер». С ним тоже не уснешь: он выбрасывает в ночь тысячи и тысячи нитей, и каждая из них, наматываясь на шею, тянет Ицхака куда-нибудь — в Париж, в Гданьск, в Берлин, в Москву на Красную площадь.

Старик «Зингер» переживет его. Кто-нибудь после смерти Ицхака заберет машинку себе. А может, поговорить с Мажуйкой, пусть он вместо надгробного камня на могилу «Зингер» поставит, штырем к земле прикрепит, забетонирует. Был бы памятник всем портным Литвы — и тем, кто на этом кладбище лежит, и тем, кого в Понарах убили. И ему, Малкину.

А что? По ночам, глядишь, отовсюду собирались бы и по очереди строчили бы: кто брюки, кто жилетку, кто еще что.

Он окунулся в сон, как в теплую воду Вилии, и все, что его угнетало в повседневности, вдруг расплескалось, размылось, отступило. В него бесшумно и непрерывно вливались невысказанно далекое, почти забытое детство, бедная, но счастливая молодость — они омывали его раны, выносили на поверхность не его утраты, а радости, придавленные многослойным илом времени.

Спрыгнул с крыши кот рабби Менделя и повел его к синагоге, где стояла хупа и уже ждали все приглашенные. Пожаловали даже Пагирский, подаривший к свадьбе необходимые пряности и сласти, и чванливый мельник Гольдштейн, распорядившийся доставить в дом жениха два мешка отборной муки для пирогов.

— Добро пожаловать, — поприветствовал Ицхака рабби Мендель, наклонился и что-то прошептал пушистому любимцу.

Кот согласно замыкал, бросился прочь и через мгновение притащил в зубах, как мышь, бархатную ермолку. Ицхак надел ее, и тут в сон, как диковинная рыба, всплыла скрипка клезмера Лейзера. Лейзер тронул смычком струны, и веселая свадебная мелодия соединила всех за столом в один оркестр.

Братья Айзик и Гилель пустились в пляс, за ними зацокали каблучками сестры Эстер — Хава, Ципора, Мириям, Злата и Фейга, все безмужние, а за ними — такого никогда не было! — завертелся, закружился отец Довид.

— У, у, у! — заукал он, как филин.

Ему дружно вторила вся свадьба.

— А почему жених и невеста не танцуют? А ну-ка в круг!

Эстер, вся в белом, с алой розой в волосах, смущенно поглядывала на Ицхака, но он и не думал вставать из-за стола.

— В круг! В круг! — неистово требовала свадьба.

— Сынок! — взмолилась мать Рахель. — Не порть нам праздник...

— Но я шестьдесят лет не танцевал, — прохрипел Ицхак.

— Да твоему отцу еще и пятидесяти нет. Что же получается — он твой отчим? Или, может, сын? Хо-хо-хо!

Под восторженные клики, под самозабвенный хохот, под довольное чавканье и под веселый стон скрипки, воткнув руки в боки, Ицхак принялся выписывать вокруг своей избранницы Эстер замысловатые па. Он едва передвигал ноги, оглядываясь на сотрапезников и танцоров, на музыкантов и местечковых нищих, столпившихся в дверях в ожидании часа, когда гости покинут свадьбу и все, что не будет съедено и выпито, достанется им. Нищие ободрающе кивали Ицхаку, и он, ежась от воровато сочувственных кивков, устремлял свой взгляд к потолку.

— Лехаим!

Ицхак заворочался во сне, но не проснулся. Через минуту-другую он снова услышал гомон свадьбы и увидел себя, старика, снова в кругу, рядом с огромной, пылающей, как летний закат, розой, которая отбрасывала свет на его сдину, на его морщины.

Господи, неужели никто ничего не видит? Не видит его позора, его старости, его нищеты, несоизмеримой с убожеством столпившихся на пороге побирушек? Неужели и Эстер не видит, не слышит, как он кряхтит, каким тленом дышит ей в лицо?

Бежать, бежать, бежать! Куда глаза глядят, да поскорей! Но попробуй стронься с места, когда тебя тоненьким звуком скрипки как бы пришли к половцам, а музыка не затихает, одна мелодия сменяет другую, и роза в волосах Эстер касается твоего лица, и от этого прикосновения все твое существо дрожит и каменеет.

Да тут еще откуда-то сверху, с потолка, куда снова устремился его взгляд на свадебный стол, на яства, на всех сидящих и танцующих, на Пагирского и мельника Гольдштейна, на нищих, на родных и посаженных братьев, на подружек и сестер вдруг начинают падать легкие, неударжимые снежинки.

Их становится все больше и больше. Снегопад неожиданный и обильный. Все вокруг в хлопьях снега. Они застилают пол, подносы, тарелки. В белизне тонут пироги и фаршированная рыба, гуси с яблоками и рубленая селедка, тейглэх — печенье, вываренное в меду, и имбирные сладости. Клезмер Лейзер смычком смахивает снег с праздничной ермолки; барабанщик с многострадального барабана счищает палочками белые лепешки; заснеженные нищие с обидой поглядывают на заснеженных родителей жениха и невесты — чего, мол, ждут, пусть только знак дадут, и все навернем мигом, крошки не останется.

В доме переполох, смятение. Откуда на Рош Хашана, на еврейский Новый год, снег? Как он может валить на свадебный стол, если только в прошлом году наново перекрыли крышу? А снег валит и валит. Сугробы уже по колено, по пояс, по шею. Только роза в волосах Эстер багровеет. Только роза...

Ицхак слышит, как на улице метет поэмка, как крепчает вьюга, как задувает в щели, и оттуда, из сна, натягивает на себя сползшее одеяло и снова пытается вернуться на свадьбу, но там никого нет, тот снег растаял, растаяли, как сугробы, родители и самые почетные гости — лавочник Пагирский и мельник Гольдштейн; нищие съели все яства, перемешанные со снежными хлопьями, клезмер Лейзер навеки зачехлил свою скрипку, смахнув вместе со снежинками всю свадьбу, все местечко. Все, все, все...

Только роза Эстер багровеет в волосах.

Ицхак высвобождает из-под одеяла руку, тянется к пылающему цветку и открывает глаза. В зеркале он видит, как по противоположной стене степенно и непугано ползет большой таракан. Таракан шевелит усами и что-то выискивает. Что он ищет? — проснувшись, подумал Ицхак. Что мы все ищем?

Шаги в прихожей отпугивают и таракана, и мысли хозяина.

— Ицхак Давидович! — раздается профессионально-доброжелательный голос Эйдлина.— Я за вами. Вы еще спите? Прошу прощения, но американцы любят пунктуальность.

Малкин быстро одевается и спускается вниз. Во дворе холодно и вьюжно. Водитель включает «дворники», но за ветровым стеклом видна только вьюга.

А может, это только Ицхак не видит ничего другого.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ицхак никогда не думал о Нем столько, сколько в эту затяжную и, как не раз ему казалось, бесконечную зиму. Может, только в далеком, призрачном, словно старинный сон, детстве Господь Бог так до боли зримо предстал перед ним в каждой падавшей за окном снежинке; в дуновении ветра, выстуживавшем дыхание; в нахохлившемся, озябшем снегире, взобравшемся на подоконник только для того, чтобы хоть на один вершок быть ближе к Тому, кто его когда-то, в теплые и незапамятные времена, создал; так неумолимо-ревниво следил за

всеми его поступками, так неотвратимо просеивал через свое невидимое сито его мысли, то витая в небесах, то воплощаясь в близких — живых и мертвых.

Поначалу Ицхак не мог найти объяснения странно возникшей связи с Тем, кого испокон веков принято называть Царем всего сущего на земле. Раньше он вроде бы не морочил себе голову вопросом, существует ли Всевышний для компанейского времяпрепровождения или просто придуман каким-нибудь сметливым, изнывающим от одиночества и скуки пастухом на горах Иудейских.

Последний раз Малкин, кажется, шептал подобие молитвы на передовой, где-то под Прохоровкой, у полуживой ветлы, шелестевшей своими задымленными ветками над окопом. Но то, что он шептал, и молением-то не было, а так, испуганным бормотанием, шелухой из невнятных и смятенных звуков. От каждого слога молитвы почему-то пересыхало в горле, как будто Ицхак обращался за незаслуженной защитой не к еврейскому Богу, а к залегшему в двухстах метрах на взлобке немецкому снайперу.

Но и тогда Малкин связывал то, что он выжил, скорее с промахом немца-снайпера, чем с заступничеством Господа Бога.

Сейчас как будто его вернули на три четверти века назад, вложили его руку в морщинистую ладонь бабушки, и он безропотно поплелся за ней, как котенок к миске со сметаной, на богослужение в синагогу, на второй ярус, где день-деньской клубилось не благочестие, а стоял сварливый старушечий грай.

Теперь же в эту местную, Хоральную, синагогу Ицхак не ходок, его туда ничем не заманишь. Сходил раз и зарекся — больше его ноги там не будет. Ругань, сплетни, торги. Рабби-недоучка из Англии, габай — пронырливый снабженец из промторга, ест свинину и спит с литовкой, богомольцы за участие в богослужении мзду получают — двадцать долларов в месяц. В роду Малкиных никто не молился из корысти. Недаром рабби Мендель говорил: «Дьявол платит наличными, а Господь Бог от нас самих требует платы каждый день, каждый час, каждую минуту». Двадцать долларов на дороге не валяются, но и душе негоже валяться в грязи, даже если под ней и золотые слитки.

Примерно то же самое сказал Ицхак американскому профессору Джозефу Фишману, когда тот предложил ему как патриарху, как орденоносному воину сняться на Хануку со всеми богомольцами в синагоге и зажечь первую свечу. Спасибо, мол, за честь. Хватило с него вчерашних съемок — приехал домой чуть живой, ноги гудят, как телеграфные столбы, на лице все еще румянец от мороза горит, и голова кругом идет от взвихренных то ли ветром, то ли тоской мыслей. Хорошо еще — он отказался отвечать на вопросы и вслух рассуждать о будущем евреев. На кой черт американцам его вымокшие в крови и заметенные золой ответы? У него вообще нет ответов ни на что, даже на то, что его больше всего теперь волнует. Зачем он жил? Зачем Господь Бог создал человека по своему образу и подобию? Чем, например, безногий Натан Гутионтов подобен Всевышнему? Или проживший корявую, жадную до запретных удовольствий — во всяком случае, для Малкина не приемлемых — жизнь Моше Гершензон? Или в чем тождество Всевышнего с ним, Ицхаком? Разве он скроен по Божьей мерке?

Еще год тому назад Малкин ко всему этому — к Создателю, к серафимам и ангелам, к раю и аду — относился как к ожившим воспоминаниям, ничем, по сути, не отличавшимся от проводов сестры Леи в Америку или службы в уланском полку в Алитусе, — нахлынуло и под утро растает бесследно. Ему казалось, что приобретенные расхожие, обиходные черты небожители, ставшие на старости лет его каждодневными спутниками и соглядатаями, не что иное, как повторяющееся изо дня в день сновидение, как вторгшаяся в его унылые будни бабушкина сказка — старуха довяжет носок, уронит спицу, и вместо звуков тимпанов и арф, вместо Господних упреков и назиданий он услышит домовитое поскребывание мыши или стрекот сверчка за радиатором.

Но все оказалось куда сложнее. Придя поутру в Бернардинский сад, Малкин уже не оглядывался на маячившую на Кафедральной площади колокольню, из-за которой обычно выныривали и Натан, и Моше, и Гирш, а бывало, и Лея Стависская, и ночная еврейка пани Зофья. Нет, нет, он был рад приходу каждого из них, но и их отсутствие уже его не тяготило, как прежде. Может, поэтому он и созванивался с ними реже, чем обычно. Позвонишь и услышишь те же самые

жалобы — на здоровье, на власть, на проклятую старость. У Господа же было великое преимущество — Он только слушал.

Все чаще Ицхак вспоминал деда по матери Шимена Минеса, вольнодумца, его вечные перепалки с бабушкой.

— Ты хоть бы на Йом Кипур сходил в синагогу. Хоть бы один разок в году,— стыдила его старуха.

— Если Он что-то новое скажет, ты все равно расскажешь мне,— отбивался он.— Зачем нам Его вдвоем слушать?

Бабушка багровела, как спелая, только что очищенная свекла, но ничего с ним не могла поделать. За всю свою долгую жизнь дед ни от нее, ни от Бога ни одной стоящей новости не услышал. Ицхак сам толком не знал, какую новую весть он ждал от Него. Но ему напоследок хотелось что-то услышать — его уши и душа были открыты нараспашку, и Малкин был уверен, что Бог его не обманет: в последнюю минуту, в предсмертный миг Всемогущий наклонится над ним и прошепчет какое-то слово, только ему, Ицхаку, предназначенное. У Него для каждого приготовлено такое слово. Не Его вина, что люди сами отказываются выслушать то, что Он им скажет,— они оглушают себя кто чем: одни — звоном серебра и золота, другие — шелестом лавровых венков, третьи — бряцанием оружия.

Чувство сопричастности к дотоле неведомой тайне, зависимости от нее было настолько непривычно, что Малкин решил поделиться своими непростыми ощущениями не с кем-нибудь, а с язвительным Гиршем Оленевым-Померанцем, набожностью никогда не отличавшимся, но обладавшим, по мнению Ицхака, недюжинным воображением.

— Слушай,— без всяких обиняков начал Малкин.— Он к тебе никогда не приходит? — Ицхак воздел указательный палец вверх.

— Бог?

— Ага,— облегченно выдохнул Малкин.

— А что ему у меня делать? Пить не пьет, в преферанс не играет, к бабам не ходит.

— Я серьезно.

— И я серьезно.

Гирш Оленев-Померанц задумался, достал из кармана сигареты, закурил и, пристально следя за колечками дыма, продолжал:

— Раньше я думал, что Он действительно наш отец.

— А разве не отец?

— Отец,— согласился флейтист.— Но беглый.

— Скорее мы с тобой беглые дети.

— Беглые дети? Может быть, может быть.— Гирш Оленев-Померанц снова задумался. Он неотрывно смотрел на поднимавшиеся кверху колечки и, казалось, сам, превратившись в невесомый, тускло голубеющий дымок, воспарял к обложенному гнойными декабрьскими тучами небу.— Ты, Ицхак, не поверишь, но однажды — дело было в начале сорок восьмого года, до моей посадки — я криком Его просил: «Приди! Приди! Если ты и впрямь Бог евреев!» Я распахнул перед Ним все двери и окна, открыл зачерствевшую в войну, как ломоть сиротского хлеба, душу, соскреб с себя всю грязь и копоть. Я кричал ему: «Яви свое милосердие!» Он не пришел. К нам, Померанцам, он никогда не приходил, словно мы были прокаженными.— Флейтист замолк и уставился на Малкина залитыми, как светом барачной лампочки, глазами.

В Бернардинском саду было бело и тихо. Шурша, падали снежинки, и их шуршание делало тишину то ли праздничной, то ли поминальной.

— Может, не будем больше? — зашмыгал носом Гирш Оленев-Померанц.— Давай о чем-нибудь другом...

Малкин был подавлен. Неужели всемилостивейший Господь ничего о Гирше Оленеве-Померанце не знает? Неужели ангел-письмоводитель ни разу не принес к Его престолу записи, где говорится и о попытке пролить кровь за Израиль — обитель Бога на земле, и о лагере на Колыме, о жутких Понарах. Ведь тогда у Гирша Оленева-Померанца в жизни еще не было ни забегаловок, ни ресторанов — в них он стал подрабатывать только после возвращения из лагеря.

Почему же Он не услышал его мольбы? Какой же Он Бог, если у него нет ни капельки сострадания?

— Не хочешь — не рассказывай,— разочарованно, чуть ли не с обидой протянул Ицхак, сетуя и на Гирша Оленева-Померанца, и — кощунственно — на Создателя.

— Господь Бог не пришел... А пришел мой тесть — майор КГБ Адамишин. Я был женат на его дочери Лиле. Мы вместе учились в консерватории — она на хормейстерском, а я на инструментальном. Валентин Петрович церемониться не стал и уже на пороге объявил: «Чтобы с Лилей больше не смел встречаться! С сегодняшнего дня она и Толик — Толиком звали моего трехлетнего сына — будут жить у нас. Не послушаешься — пеняй на себя. Управу на тебя найдем...» Лиля плакала, умоляла, грозилась, беременная, покончить с собой. Ничего не помогло. Бог-Адамишин перевел ее в Московскую консерваторию, а Толика взял к себе и приставил охрану. Когда Лиля родила, они все переехали из непокорной, не прекращавшей отстреливаться Литвы в Загорск. Валентин Петрович перекинулся с лесовиков с обрезам на попов с паникадиллом — он был, как сейчас говорят, специалистом широкого профиля. У меня есть подозрения, что перед отъездом он успел приложить руку и к моему аресту.

Гиршу Оленеву-Померанцу, видно, было больно все это вспоминать. Но то, что долгие годы пролежало под спудом и нагнаивалось, давно требовало выхода, гнойник набухал, еще немного, и к пораженной плоти прибавится и неисцелимо пораженная душа.

Правдивость Гирша Оленева-Померанца всегда подкупала Ицхака. Он ценил его распахнутость — в нем было что-то детское, незащищенное. Гирш Оленев-Померанц напоминал наспех раскрашенную мишень, в которой не было ни одного непростреленного места и которая как бы сама взывала к стрелку: «Пли! В меня невозможно промахнуться!»

Они кружили по Бернардинскому саду, как по тюремному двору. Флейтист ловил ртом падающие снежинки, которые таяли на кончике языка; глаза у него были закрыты, только веки подрагивали, как крылышки разбуженных по весне мошек.

— Люди — дураки,— заговорил он вдруг.— Боятся смерти.— Помолчал и добавил: — Бояться надо жизни. А я ее никогда не боялся. Я все время хотел ее, как женщину. Я каждый день говорил ей: «Разденься и ложись в постель. Будем заниматься любовью с утра до вечера и с вечера до утра...» Я никогда не говорил: «Я устал, хватит, желаю от тебя освободиться. Пшла вон! К черту твои протухшие постели, твои дешевые ласки, твою обманчивую мишуру!» Мне всегда ее было мало. Даже в лагере я цеплялся за нее, как за подножку поезда. Только бы не сорваться, только бы попасть в тамбур, а уж оттуда снова на перины, в объятия, морду в шампанское... Ты вот, Ицхак, говорил о Боге. А можешь ли ты назвать лучшее, что Он создал?

— Не знаю.

— А я, так любивший житуху, так хватавший ее за титьки, знаю. По-моему, лучшее, что он создал,— это, только не наложи в штаны, смерть. Согласен?

— Как бы мне плохо ни было, я всегда голосовал за жизнь.

— Напрасно. Смерть — так мне, Ицхак, кажется — справедливей. Нет бедных мертвых и богатых мертвых. Нет мертвых отцов, которые разлучают своих мертвых дочерей с их мертвыми мужьями, русские ли они, евреи ли, китайцы ли. Нет мертвых стукачей и тюремщиков, как нет мертвых мучеников и узников.

— Обе одинаково несправедливы. Ибо приговор вынесен до суда — он извештен заранее.

— И все-таки пожизненное заключение хуже!

Гирш Оленев-Померанц ржавой пилкой голоса пилил морозный воздух. Вокруг, кроме них, никого не было.

С Кафедральной площади доносился басовитый звон колокола, который сзывал прихожан в собор. Старая, дышащая на ладан власть вернула его им в надежде на то, что они у Бога вымолят для нее еще годик-другой жизни. Что этот колокол, подумал Малкин, по сравнению с тем несмолкаемым громом, который перекатывается по кровеносным сосудам Гирша Оленева-Померанца и

разрывает его маленькое, съезжившееся сердце, до которого никакой власти никогда не было никакого дела.

— Ты их потом нашел? — стараясь отвлечь Гирша Оленева-Померанца от мыслей о смерти, спросил Малкин.

— Кого? — не сразу сообразил флейтист.

Лицо у него было отрешенное, как будто застывшее на морозе.

— Лилю и Толика.

— Нет. Два года искал. Писал в Москву. Чуть ли не Сталину в Кремль. Я еще тогда в него, негодая, верил... Ответ отовсюду был один и тот же: «Таковые не числятся». Во всей огромной стране не оказалось ни одного нужного мне Померанца и ни одной Адамишиной. Не было — и все. Улетучились, испарились. Отняла у меня Родина детей, как котят у кошки. О том, кто должен был вот-вот родиться, я вообще ничего не знаю. Слышал, как будто и второй — мальчик. Может, правда, а может, брехня.

— Больше не искал?

— Какой смысл? — Он потер лоб и выдавил: — Считаю, что они погибли вместе с бабушкой и дедушкой, с тетками и дядьями тут, в Вильнюсе, в гетто. Построили всех в колонну и угнали в Понары. Разве не все равно, кто стоял на краю ямы с автоматом — немец ли, литовец полицай или майор Валентин Петрович Адамишин?..

Поднялся ветер. Он принялся швырять в лицо крупные хлопья снега, слепить глаза, заметать дорожки.

— Пора, Ицхак, домой. Синоптики к вечеру вьюгу обещают. И вообще парку евреев каюк.

— Парку — нет, а евреям — да, — горько усмехнулся Малкин. — Может, еще годик продержимся.

— Вряд ли. Надо будет весной торжественное закрытие устроить, письма по всему свету разослать — твоему тезке Ицхаку Шамиру в Израиль, Джорджу Бушу в Америку, Франсуа Миттерану во Францию, Маргарет Тэтчер в Англию. — Гирш Оленев-Померанц вдруг замурлыкал: — «Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наши звезды, как сказал поэт...» Горбач со своей Раисой сам, без всякого приглашения примчится. Михаил Сергеевич как-никак нашему брату ворота к счастью открыл. Во всех странах, кроме собственной. Я договорюсь со своими корешами, сколотим оркестрик, начнем, естественно, с «Хатиквы», потом для равновесия сбацием «Союз нерушимый» и на десерт «О Литва, отчизна наша...», как говорится, с заделом, а потом грянем что-нибудь из нашего детства. Со всего мира съедутся репортеры, будут вести прямой репортаж на свои страны... Как же — закрывается единственный в мире парк ненужных евреев! Уверю тебя: успех будет грандиозный. Мы станем на один вечер героями всей планеты! Хотя что я тебе объясняю, говорят, ты уже стал кинозвездой.

— Откуда ты знаешь? — надулся Малкин.

— Смешной вопрос. Евреи обо всем узнают первыми и забывают о том, что узнали, последними... И еще кое о чем я прознал. У тебя, старина, не дом, а винный погреб. Это правда?

Малкин сконфузился.

— Сам в рот не берешь, а чаевые всю жизнь принимал только в виде отборных коньяков... Для кого, скопидом, их приберегаешь?

— Для гостей.

— Брось заливать! Какие в нашем возрасте гости? Кончились хозяева, кончились и гости. Или ты еще кого-нибудь ждешь?

— Никого не жду, — сдался Ицхак.

— Тогда пошли к тебе!.. Не бойся, все не выпьем...

Гирш Оленев-Померанц пил на удивление мало и неохотно, пригубливал, смаковал, как дегустатор, и неотрывно смотрел на противоположную голую стену, к которой был прислонен облупившийся «Зингер» и на которой рядом с вальяжным маршалом Рокоссовским и самодовольным, пышущим ученостью и здоровьем Бедалелем Минесом, парижанином, висела цветная фотография, изображавшая Иерусалим — площадь возле Стены Плача, запруженную солдатами в белых вязаных кипах.

— Иерусалим,— держа на весу рюмку, хрипло произнес флейтист.— Какие ребята, а?

— Ничего не скажешь — орлы,— буркнул Малкин.

По тому, как вел себя Гирш Оленев-Померанц, по его дремучим, полным недосказанностей и намеков разговорам, по непривычному равнодушию к спиртному Ицхак понимал, что тот не спешит выкладывать самое важное. Он терялся в догадках, однако ничего путного ему не приходило в голову. Ясно было одно: у Гирша Оленева-Померанца вызревало — а может быть, уже вызрело — какое-то трудное решение, о котором он Ицхаку сегодня и поведает.

— Может, все-таки махнем туда? Сейчас там пятнадцать градусов тепла, солнце светит, пальмы зеленеют, евреи вокруг.

— Еврей — свой человек, пока с ним дела не имеешь,— ухмыльнулся Малкин.

— А нам-то что — все равно в свою тундру вернемся. Поехали! На билет небось на съемках заработал.

— Бесплатно я...

— Олухами мы были и олухами помрем. Твои американцы на нас неплохие маны делают. А мы таем от счастья, что на нас внимание обратили, что раз в жизни на пороге смерти заметили. Господи, Господи, кто бы мог подумать, что могилы станут товаром, что рвы будут приносить дивиденды!

— Ты же сам с могил дань собираешь! — огрызнулся Малкин.

— Лучше бы мне до таких дней не дожить.

— Я им и о тебе... то есть о вас обо всех, говорил,— стал нелепо и горестно оправдываться Малкин.— Я им сказал, что ты можешь та-ко-е поведать! Даже адрес твой дал. Они тебя не нашли?

— Нашли... На кладбище. Я как раз надгробие Тростянецких расчищал. Сняли. Повезли в Понары и до самого вечера, пока не стемнело, допрашивали, что и как было.— Гирш Оленев-Померанц придвинул к себе бутылку и стал разглядывать причудливую армянскую надпись на наклейке, похожую на следы птичьих лапок на не опороженном прохожими снегу.— Первый раз пленку не так зарядили. Пришлось все повторять сначала: и про то, как я в ту далекую августовскую ночь сорок первого выбрался из доверху заваленной трупами ямы, и про то, как в темноте, голый, дополз до какой-то усадьбы, как увидел на огороде тучело в шляпе, в дырявом пиджаке и в полотняных брюках с обрезанными штанинами, и про то, как напялил на себя все это отребье и побрел куда глаза глядят. Они меня слушали, раскрыв рот, как наши предки Бога у подножия горы Синай, а я, неблагодарный, хамоватый, смотрел на них, на залетного американца с новехонькой камерой в руке, на этого нашего, в очках, с благочестивой бородкой — чистеньких, ухоженных, как декоративные цветы в вазе, и такая злость меня взяла на себя, на них, на весь мир.

Малкин не спускал с него глаз. Он это все впервые слышал. Гирш Оленев-Померанц избегал рассказов о своем военном прошлом, боялся, что не поверят, скажут, что все придумал, присвоив себе эти страшные муки, чтобы произвести впечатление на мужчин — заведующих отделами кадров и знавших об оккупации понаслышке либо на не равнодушных к душещипательным сюжетам дамочек. В самом деле где тот свидетель, который мог бы подтвердить все рассказанное им? Ведь свидетельства мертвых в расчет не принимаются.

— Столько лет мы с тобой знакомы, и ты все это от нас утаивал,— тихо, стараясь не уязвить Гирша Оленева-Померанца, проронил Ицхак.— Говорил, что сбежал от безносой, перешел линию фронта, попал к своим... И ничего про яму...

— А что тут особенного? Весь мир, все человечество вылезает каждый день из-под груды трупов и до сих пор вылезти не может. Разве ты, Ицхак, из-под нее не вылезал? А Натан? Выкарабкался на поверхность, а одной ноженьки нема... А Моше? Всю жизнь, умник, считал, что он не в яме, а на самой вершине... Не тут-то было. Все мы туда вернемся.

— Куда? — зная наперед ответ, все же спросил Малкин.

— В яму. Я уж туда точно вернусь. Еще немного подожду, но если от этих старых или новых, одинаково засранных властей разрешения не получу, то...

— Перестань! — перебил его Ицхак.

— Гм... Думаешь о Боге, а смерти боишься. А ведь Всевышний — дарователь не только жизни, но и гибели... Иногда мне в голову приходит страшная мысль: на кой хрен я выбрался тогда из-под этого кровозема? Что бы я потерял, если бы задохся тогда, в ту звездную августовскую ночь?

Ицхак вытарашил на него слезящиеся от глаукомы глаза.

— Что я после нее за пятьдесят с лишним лет на свете увидел? — продолжал флейтист. — Майора Адамишина, угольный забой в ледяной Воркуте, ресторанов и прочих блядей. А ведь у меня были легкие, как у Армстронга. Ты знаешь, кто такой Луи Армстронг?

— Нет, — честно признался Малкин.

— Знаменитый джазмен. Негр с кузнечными мехами в груди. А какие у меня были пальцы! Профессор Сейдель говорил: «Гирш! Бог награждает такими пальцами только тех, на чьи сольные концерты Он сам приходит...» Я играл классику — «Рондо» Моцарта, «Соль Мажор» Перголези...

Зазвонил телефон. Малкин извинился, грузно направился в прихожую, уставленную старой обувью и увешанную отжившей свой срок одеждой.

— Квартира Малкина слушает, — старомодно, с подчеркнутой важностью отозвался Ицхак. — Нет, не Ляонас. Такого тут нет. Вы ошиблись номером. Ничего, ничего...

Он положил на рычаг трубку, и от наблюдательного Гирша Оленева-Померанца не ускользнуло его разочарование.

— В последнее время что ни звонок, то ошибка, — сказал Малкин.

— Радуйся. Мне вообще не звонят. А если посмотреть на это пошире, то мы с тобой, Ицхак, раньше ошиблись номером: номер страны не тот. Страны, — по складам повторил флейтист. — Надо было родиться где-нибудь в Гонолулу или на острове Майорка. Или на худой конец в княжестве Монако. Да, да, мы набрали не тот номер, и все наше несчастье в том, что другого у нас уже никогда не будет. Я тебя не задерживаю?

— Нет, нет. Сиди хоть до рассвета... Можешь совсем ко мне переселиться. Каждое утро ты будешь получать у меня рюмку коньяка, какого только пожелаешь...

— Только рюмку?

— И в обед рюмку, и на ужин рюмку... — улыбнулся Малкин.

— Ицхак, где ты был раньше? Почему ты так долго скрывал от меня свою доброту?

— Да у тебя самого этого добра навалом...

Во дворе громко и требовательно засигналила машина.

— Мусор, — объявил Ицхак и заспешил на кухню.

Через минуту Гирш Оленев-Померанц услышал, как заскрипела входная дверь, как на лестнице кто-то зашаркал. Он повертел в руке рюмку и вдруг безотчетно, торопливо шагнул к висевшему напротив Иерусалиму, к Стене Плача, к площадям, запруженной солдатами в вязаных кипах, и чокнулся с белевшей над их головами таинственной кладкой, о которой слышал еще в дощатом Двинске от своей второй — латышской — бабушки Голды. Солдаты в вязаных кипах и с автоматами «Узи» в руках удивленно глянули на старика; двое из стоявших на переднем плане вдруг раскрыли рты и закричали: «Лехаим!» Гирш Оленев-Померанц готов был поклясться, что ясно и неоспоримо слышал их голоса, и он снова поднес к застекленной фотографии свою чарку и, как во время пасхальной трапезы, произнес:

— Лехаим!

— С кем это ты чокаешься? — опешил вошедший Малкин.

— С ними! — Флейтист ткнул в смеющихся солдат. — Ты только надо мной не смейся, — предупредил Гирш Оленев-Померанц. — Ведь, если хорошенько поразмыслить, я мог бы командовать их отцами, быть генералом... А стал генералом лагерных вшей... командующим крыс... Можно я у тебя покурю?

— Кури...

Гирш Оленев-Померанц чиркнул зажигалкой.

— У каждого из нас свои дурости. Я чокаюсь с бумажными солдатами, а ты к машине пустые ведра таскаешь.

— С чего это ты взял? — зарделся Малкин.

— Одно время и я так делал. Мусора в ведре не было, а я его выносил. Что-бы с соседями хотя бы словом перемолвиться... Чтобы сказать им: «Люди! Вот он я, Гирш Оленев-Померанц, живой, пока живой...» Может, скажешь, я не прав... свихнулся?..

Ицхак не отвечал. Придвинул бутылку, налил себе рюмку, полную до краев, и не морщась опрокинул в рот. Тут же наполнил вторую и с той же несвойственной лихостью выпил.

— Ладно, пора кончать. А то ты, чего доброго, еще в наркологическое отделение попадешь. Оно, конечно, лучше, чем в онкологическое. Поболтали мы с тобой вдоволь — и о Боге, и о смерти, и о другой чепухе,— а теперь перейдем к делу. Собственно, из-за него я сегодня и пришел в парк...

Никаких новых дел у Гирша Оленева-Померанца не было, и Малкин не сомневался, что он снова начнет со всеми подробностями и с той же сжигающей его страстью рассказывать про свою тяжбу с властями за право быть похороненным в Понарах. Некоторые на полном серьезе утверждали, что в его стремлении, рассчитанном на дешевую славу, есть что-то нездоровое и что ему следует обратиться не в Верховный Совет, а к доктору.

Чего греха таить, и у Ицхака иногда возникали подобные подозрения, унижавшие не только Гирша Оленева-Померанца, но и его самого, но он их старался отбросить. Нет, нет, из-за дешевой славы человек не станет этого добиваться. Гиршем Оленевым-Померанцем движет не расчет, а чувство бездомности.

Малкин ждал, когда гость заговорит, но тот продолжал молчать, впившись в застекленный, сжатый алюминиевой рамкой Иерусалим, словно старался поверх солдатских голов, поверх Стены Плача разглядеть то, чего никто не видит.

— Рачкаукас, мой знакомый адвокат, помог мне написать завещание,— наконец произнес он.— Там я все написал. Тебя... как своего единственного и самого близкого друга... назначаю, так сказать, контролером.

— Контролером чего?

— Ты должен будешь следить за исполнением всех пунктов.

— Ты с ума сошел. Ведь я же старше тебя и каждый день могу сыграть в ящик. Хорош контролер!

Гирш Оленев-Померанц насупился, обжег хозяина недобрым, почти презрительным взглядом и продолжал:

— Самый главный пункт касается моей флейты, я хотел бы забрать ее с собой. Понимаешь?

Еще одна новость! Малкин покачал головой.

— С твоей иглой проще,— объяснил Гирш Оленев-Померанц.— Воткнул в саван — и вы вместе. А с флейтой будет морока.

Ицхак ничем не выразил своего удивления. Он давно привык к тому, что в разговоре с Гиршем Оленевым-Померанцем наступает момент, когда к каждому слову надо относиться со снисхождением.

— Ты ненароком не уснул?

— Да что ты, что ты!..

На своем веку Малкин встречал разных людей — чудаков, лицедеев, выдумщиков, присваивателей чужих судеб, шарлатанов, обожавших за стаканом водки или за карточной игрой пускать пыль в глаза, но Гирш Оленев-Померанц не принадлежал ни к одному из этих человеческих подвидов.

— Вы думаете, мне неизвестно ваше отношение ко мне? Чокнутый, с тараканчиками в голове... А знаете ли вы, почтенные, что только подлец может быть в этом мире нормальным? Только чокнутые плачут, когда другим больно, и смеются, когда другим весело.

Малкин слушал Гирша Оленева-Померанца, и ему казалось, будто тот не говорит, а играет на той самой флейте, с которой, как с верной женой, хотел бы лечь рядом.

То ли от стгутившихся сумерек, то ли от выпитого вина, то ли от появившегося чувства отстраненности, дарившего облегчение, до слуха Ицхака долетали не слова, а мелодия, звуки которой выпрыгивали из действительности, как рыбы из Вилии в жаркий день, и, испугавшись света, сигналы обратно в пучину.

По правде говоря, Ицхак не прилагал особых стараний, чтобы вникнуть в смысл того, о чем с таким пылом и тихим неистовством говорит Гирш Оленев-Померанц. Подумать только — даже Богу он вменял в вину высокомерное равнодушие, несговорчивость и строгость учителя провинциальной школы и само Его творение считал не олицетворением совершенства, а ошибкой, порожденной торопливостью и излишним размахом.

— Что можно создать за шесть дней? Какую симфонию? Гадов ползучих и всяких пресмыкающихся — да... Птичек с разноцветным оперением — да... Трусливых зайцев и хитроумных лисов — куда ни шло... Но человека?!

Стенные часы пробили десять раз. Подуставший от вещей речей Гирш Оленев-Померанц засуетился, для бодрости налил еще рюмку, выпил ее стоя.

— Уходишь?

— Пора и честь знать. Поздно.

— В нашем возрасте нет деления на «рано» или на «поздно».

— А какое есть?

— «При нас» и «без нас».

— Ты, Ицхак, абсолютно уверен, что часы пробили при нас? Почему же у меня такое чувство, что я давно умер? Все, что можно было, у меня отняли. Ведь смерть — это не когда тебя хоронят, а когда забирают все, кроме дырявого брюха.

— Ну что ты на себя наговариваешь? — растрогался Малкин. — Умные люди не зря говорят: не подкашивай ветру, когда ему листья с ветки срывать.

— О какой ветке ты, ангел мой, говоришь? Дерево спилили! Как там наш Моше Гершензон? Еще держится на ветке?

— Лучше не спрашивай. Сходил бы ты к нему.

— Надо бы, — согласился Гирш Оленев-Померанц. — Пока от Счастливи́чка Изи никакого заказа не было... Между прочим, Зайдиса я все-таки откопал. Мириам, медсестра из Святого Иакова, выручила. Родители ее рядом лежат. Без нее вовек не нашел бы...

Перед тем как попрощаться, Гирш Оленев-Померанц, при всех своих чудачествах и возлияниях отличавшийся настырной деловитостью, взял с Малкина слово, что, если случится то, что в конце концов случается со всеми смертными, тот не пренебрежет его волей и сделает все так, как написано в завещании...

— Если бы я мог все сделать сам, я бы тебя, Ицхак, не просил. Последнюю волю надо уважать. Почему я должен навеки побрататься с червями, а с флейтой расстаться, как с вокзальной проституткой?

— Ладно, ладно. Сделаю все, что смогу.

Иначе от него не отвяжешься. Малкин давно раскусил его: для Гирша Оленева-Померанца самое важное — поддерживать его замыслы и поражаться их необычности и смелости. Он напоминал Ицхаку пьянчужку-подмастерья, изгнанного с работы, но постоянно приходившего кланчить трешку на пол-литра. Получив рубль вместо желанного тройка, он выбрасывал, как Гитлер, вперед руку и восклицал: «Спасибо за перспективу!» Именно перспектива была дороже, чем ее осуществление. Многократность надежды ценилась выше, чем единичность удачи.

Гирш Оленев-Померанц поклонился Ицхаку и скрылся за дверью, которую Фрума когда-то обила войлоком. От войлока веяло казармой, развешанными на веревке портянками или преюющим под утюгом шинельным сукном. К вечеру воздух в доме от этого запаха загустевал, как желе, и стесненное астмой дыхание Малкина еще больше затруднялось.

После ухода Гирша Оленева-Померанца Ицхак еще долго шлепал по сразу ставшей ненужной квартире, разглядывал на стенах Бецалеля Минеса, маршала Рокоссовского и солдат в кипах, и ему мерещилось, будто они перебегают друг к другу: солдаты перемахнули под сень Эйфелевой башни, к Бецалелю Минесу, а маршал Рокоссовский на виду у всех дезертировал в израильскую армию, затесавшись в толпу у Стены Плача.

Малкин сел за стол и, не убирая в бумфет ни бутылку, ни рюмки, стал смотреть на себя, молодого, в Париже, у кафетерия «Черный тюльпан», в Латинском квартале; на уличного музыканта, игравшего на скрипочке и певшего о

злключениях любви, и у Ицхака из головы не выходил другой музыкант, его навязчивая просьба похоронить его вместе с флейтой.

С тех пор как Ицхак себя помнит, только один человек — балагула Рахмиэль — наказывал перед смертью своей обширной родне зарыть его вместе с лошастью, павшей от занесенной из Германии хвори в самый разгар извозчичьей страды. То была всем лошадям лошадь — могучая, с густой, словно крона у липы, гривой — сам Илья-пророк охотно впряг бы ее в свою колесницу. Родичи, естественно, не допустили такого кощунства — возница и конь легли врозь, но, как уверяли старожилы, Рахмиэль по ночам отправлялся к буланому, выводил из могилы, словно из конюшни, оседлывал и до зари скакал на нем, до смерти пугая в ночном пастухов и девок. Девки визжали и писали от страха в трусы.

Безумства Гирша Оленева-Померанца не тяготили Малкина. Если флейтист ничего не придумывал, Ицхак подзадоривал его, беззлобно журил за скудость воображения. Странные выходки друга разнообразили жизнь, сообщали ей больший смысл, придавали ей крепость и вкус, будоражили кровь и побуждали к возвышающему душу сочувствию. Малкин в его причудах не видел ничего зазорного — он был для него не просто Гирш Оленев-Померанц, а персонаж увлекательного трофейного фильма наподобие прославленного Тарзана — только Тарзан себя чувствовал вольготно в истинных джунглях, а тот — в джунглях вымысла...

Малкин понимал, что из всех завсегдаев парка евреев судьба больше всего обидела Гирша Оленева-Померанца, ибо Господь, вложивший в его руку не грубый топор мясника, не услужливую бритву цирюльника, не вездесущую иголку портного, а ветку, плодоносящую неземными звуками, не вступился, когда ни за что ни про что ее взяли и обрубили.

За окном шмелями-великанами гудели троллейбусы. Тихо поскрипывали в тишине стенные часы, купленные в сорок пятом на привокзальной толкучке и отливавшие в темноте лунным светом, — латунный маятник в деревянном алтарике и крупная зернистая цифирь на циферблате воскрешали в памяти старинные часы деда, которые не одному поколению Малкиных отсчитали отмеренное Вседержителем земное время.

Будь его, Ицхака, воля, он бы на тот свет с собой прихватил не чужой «Зингер», не подушечку с иголками, не подаренный парижским мастером Бецалелем Минесом наперсток, а часы, доставшиеся ему от проезжего поляка, он поставил бы их в изголовье, пусть поутру играют побудку, пусть на еврейском кладбище будят всех мертвых. Ведь и их надо будить, чтобы пришествие Машиаха не проспали.

В обычные дни Малкин в такое время уже лежал в кровати и, глядя до ряби в глазах в потолок, силился уснуть, погрузиться в омут сна, но сегодня день был какой-то необычный, выделявшийся в череде других своей насыщенностью и подспудной тревогой.

Ицхак только не мог уразуметь, с кем и с чем ему предстоит прощаться, но знобкий дух прощания витал над ним. От невидимого морозца удлинялись морщины, увеличивалась подозрительная влага в глазах, а к белизне щетины на щеках прибавлялась пугающая неподвижность мускулов. Ко всему еще примешивалась дурная примета — вчера, когда он вернулся со съемки, ходики остановились. Надо же — столько лет шли исправно и вдруг замерли, как накануне смерти Эстер.

— Почему они не остановились ни на день раньше, ни на день позже? — спросил он у часовщика Генеха, однополчанина, работавшего в Центральном универмаге.

— Чистая случайность, — сказал Генех. — Не придавай этому большого значения. Пятьдесят два рублика — и твои ходики помчатся дальше, как буденновская кавалерия.

Малкин каждое утро подтягивал гирьки, вытирал пыль на иссохшихся дверцах алтарика и при этом что-то шептал — то ли заклинание, то ли стих из Торы, то ли слова, не высказанные никому при жизни — ни Эстер, ни Гиршу Оленеву-Померанцу, ни родителям, когда они были живы.

Когда шмелиное жужжание за окном прекращалось, а соседи отходили ко сну, когда умолкали гам чужих праздников и вопли чужого горя и разлада, Иц-

как подходил к платяному шкафу, вытаскивал нетронутую одежду Эстер, выносил на балкон, развешивал на перилах и, дожидаясь, пока платья проветрятся, устремлял взгляд в небеса, на далекие звезды, испытывая чувство печальной нерасторжимости со всей Вселенной, со всеми, кого любил и кого благодарно помнил.

В такие минуты Малкин и впрямь чувствовал, что он никогда и не был один — вместе с ним о ржавые перила балкона опирался некто: Бог, не Бог, хранитель ли, каратель ли...

Ицхак вспоминал, как Фрума упорно пыталась сбыть эти платья Эстер на Калварийском рынке, в комиссионке или всучить за бесценок бродячей цыганке.

— Если хоть одно пропадет,— предупредил ее Ицхак,— я тебя завтра же к чертовой матери выгоню!

— Но зачем тебе эти тряпки? Эта рвань?

— Сама ты рвань! И дрянь...

Откуда ей было понять, почему он не расстается с этими платьями? Не то дорого, что живо, а то живо, что дорого. Но разве ее вразумишь?

— Памяти нет сноса! — поучал он свою муку.

— Память-шмаметь! Мой отчим, светлый ему рай, говорил: бедный в памяти, как в заднице, роется, а богатый строится.

— Замолчи, не то убью!

Он тихо ненавидел все, связанное с ней: ее отчима, ее наряды, куриный бульон, галоши, лекарства, одежду, счета, бессарабский диалект, ханжескую улыбку, самоуничтожение, заплатки и штопки, войлок на дверях, бесконечные узелки на балконе и в кладовке — все, все, все.

— Чем же она тебя так приворожила? — возмущалась Фрума, униженная любовью к мертвой.— Может, тем, что изменяла тебе с бандитом-литовцем?

— Как тебе не стыдно!

— Что же получается? Все, что у тебя в памяти,— правда, а что у других — неправда? — не сдавалась ревнивица.— Вспомни, как она его, своего бандита, в Каунасе на суде защищала! Мол, почти что три года еврейку спасал. А почему спасал — ни слова!

Боже праведный, с какой гадюкой, с какой подколодной змеей он прожил столько каторжных лет!

Малкин сгрел со стола бутылку, рюмки, поставил в буфет и медленно отправился к дубовой остывшей кровати. Он взбил подушки, но не разделся, лежа скинул ботинки, потушил лампу, яичным желтком отражавшуюся в большом портновском зеркале.

Нахлынувшая злость к Фруме улеглась, Ицхак задышал ровней; взгляд его впился в темноту, и вдруг откуда-то из глубины зеркала до слуха его донеслись звуки флейты.

Флейта звучала, как пастушеская свирель-жалейка, и звуки ее выплескивались на луг, на тот самый луг, на котором паслись бессмертные коровы и рядом с которым катила свои бессмертные воды родная Вилия. Но играл на ней не сын рыбака Антанаса Феликсюкас, не многоопытный Гирш Оленев-Померанц, а он, Ицхак, и все твари вокруг внимали его игре: и птицы в небе, и рыбы в воде, и коровы на пастбище, и сам Бог за облаками.

Он играл, нисколько не смущаясь того, что ему не десять лет, как пастушонку Феликсюкасу, а восемьдесят с гаком, что в легких почти иссякли запасы воздуха, что губы пожухли, что извлекаемый из флейты звук замутился и стал шероховат, как и пальцы. Он играл, и, повинувшись зову его истрадавшей души, со всех сторон спешили пары чистых и нечистых — Эстер и Фрума, путевой обходчик Игнас Довейка и лесничий Иеронимас, Моше Гершензон из онкологической больницы и Натан Гутионтов из своей сторожевой будки, Гирш Оленев-Померанц из кафе литераторов и Зелик Копельман из-под русской деревушки Прохоровки; спешили бессмертные коровы с лугов его детства и увертливые окуни в скользкой и блестящей, как бриллианты, чешуе; мчались пушистый кот рабби Менделя и Лея Стависская из лавки Пагирского с полным коробом колониальных товаров. Все они собирались для того, чтобы направиться в Бернардинский сад, на торжественное закрытие парка евреев.

Молодые литовцы, предвкушавшие близкое освобождение и поднявшие над башней Гедиминаса свой триколор, уже сооружали около летнего кафе трибуну, прикрепляя к ее фронтому огромный транспарант «Прощайте, земляки-евреи. Не поминайте лихом!».

Над Вильнюсом стоял непрерывный гуд самолетов. Они один за другим приземлялись на тесное, почти убогое, летное поле. На их фюзеляжах красовались эмблемы и гербы разных — великих и малых — стран. Вот подрулил к красной ковровой дорожке американский авиалайнер номер один с Джорджем Бушем на борту. Вот на литовскую землю впервые ступил сосредоточенный, замкнутый Франсуа Миттеран. За ним, игриво поправив свою элегантную шляпку, по трапу английского «Боинга» спустилась твердокаменная Маргарет Тэтчер.

Вот в проеме дверей показались шляхетские усы плутоватого Леха Валенсы, понаторевшего в церемониях по закрытию парков евреев в Варшаве и Кракове. Желая продлить редкое удовольствие, осмотрительно стриг своими подвижными и упругими ножками расстеленную для почетных гостей ковровую дорожку юркий, как ханукальный волчок, Ицхак Шамир.

Посадку совершил красавец «Люфтганзы». Пробуя прочность литовского бетона, к строю почетного караула приближался грузный и надежный, как немецкая марка, Гельмут Коль. Прилетели, как весенние ласточки, всегда предвещающие перемены, меченый Горбачев и фигуристая Раиса. Рев моторов, мычание скота, всплеск рыб, щелканье фотоаппаратов, команды начальника почетного караула.

В поблескивавшем в лунном свете зеркале, в которое гляделись тысячи клиентов, вдруг отразились сколоченная наспех трибуна, деревянные ступеньки, ведущие вверх, головка микрофона и смущенные, пришибленные оказанной честью лица тех, кто, сгорбившись, один за другим взбирался на импровизированный мавзолей: Моше Гершензон в твидовом, сшитом у Малкина костюме; Натан Гутионтов с разноцветной орденской планкой; Гирш Оленев-Померанц в берете, какие носили французские летчики из эскадрильи «Нормандия — Неман», и с черной розой, приколотой к лацкану плаща; Лея Стависская с уложенной башенкой косою; увидел Ицхак в зеркале и себя с зонтом от дождя и солнца (кто знает, сколько придется на трибуне проторчать?) в грубошерстных (от подагры) штанах и в ботинках на толстой подошве, которые не то что в Литве — на Северном полюсе не подведут.

Прозвучал сигнал, запела флейта; президенты и премьер-министры выстроились в ряд, за ними столпились зеваки, хлынувшие с соседних улиц — с Замковой, Большой, Университетской, Ломбардовой; еще сигнал — и весь парад двинулся к летнему кафе.

Моше Гершензон и Натан Гутионтов по-военному отдавали президентам и премьер-министрам честь, Лея Стависская махала им маленькой ручкой в лайковой перчатке, погружала ее в плетеную корзину, извлекала оттуда колониальные товары — изюм и арахис, урюк и чернослив — и осыпала ими высоких гостей. Задумчивый Малкин многозначительно кивал и, нарушая от волнения дипломатический протокол, самозабвенно ковырял в носу.

Бдительный Джордж Буш и сентиментальный Гельмут Коль прослезились, вынули из карманов носовые платки и приложили к глазам. Маргарет Тэтчер посылала воздушные поцелуи. Ицхак Шамир потирал боевые руки — слава Богу, конец еще одной диаспоры. Пусть принимающие парад отправляются прямо в землю обетованную. Ам Исраэль хай! (Народ Израиля жив!)

Лех Валенса подкручивал ус и громко, то ли радуясь, то ли жалея, восклицал: — Еще жидзи не згинели!..

Михаил Сергеевич косился не на евреев, а на молодых литовцев, выкрикивавших надоевшее:

— *Lais-ve Lie-tu-vai!* (Свободу Литве!)

Малкин и его соратники стояли на трибуне, которая, казалось, была вровень с башней великого князя Гедиминаса, как бы готовые к какому-то полету — кончится парад, и они взлетят к небу, воздушный поток подхватит их и понесет из Литвы туда, где люди высиживают, как наседки, свое будущее, а не свое прошлое. Но где она, эта благословенная страна? Так, стоя на трибуне, Ицхак и уснул. Он еще крепко спал, когда в прихожей взбесился телефон. Звонок был

продолжительный и резкий, словно к нему кто-то прорывался из-за границы. Заспанный, сбитый с толку, он сунул в шлепанцы босые ноги и, теряя их на ходу, подбежал к трубке.

— Квартира...

Но голос на другом конце провода перебил его жестко:

— Немедленно приезжайте в больницу! Ваш брат при смерти.

И длинные гудки. Братьев у Малкина не было, но он понял, кому понадобился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Не успею, думал Ицхак, добраться до больницы, как Моше Гершензон свободно и беспрепятственно отправится за границу — за границу жизни. Кончится его земной путь, и начнется другой, неведомый, без конца и края, без взлетов и падений, а главное, без грехов, долгие годы обременявших душу и память.

Господи, как мал и ничтожен человек, как беспомощен перед дуновением беды! Кажется, совсем недавно, до роковой, непреклонной болезни, в разгар светлого лета, какое бывает только в беспечной, влюбленной юности и на закате дней, он еще обратился к Ицхаку с неожиданной и почти что лестной просьбой: поехать с ним в Белоруссию, на родину его предков — смолокуров, плотогонов, коробейников, до остервенения прилежных богомольцев раввинов, в небольшой городок, зажатый озерами между Лидой и Свирью, где якобы доживал свой долгий век его дальний родственник, женившийся то ли на белоруске, то ли на украинке.

Ехал Моше Гершензон, однако, не к нему, а в пушу, вплотную подходившую к городку, на делянку, на которой должно было состояться торжественное открытие памятника местным евреям, истребленным белорусскими полициями.

Ицхак никак не мог взять в толк, почему Моше Гершензон, известный своим пристрастием к остроумным рассказчикам и веселым спутникам, пригласил в поездку не Гирша Оленева-Померанца, который мог напести с три короба и который к тому же, как он сам выражался, слыл доктором моголоведческих наук, а его, Малкина, не переносившего никаких торжеств — ни свадебных, ни поминальных. Но отказать не посмел.

Дорога предстояла не близкая — сто, сто двадцать километров. «Москвич» Моше Гершензона был старый, пригнанный из Средней Азии, куда зубной техник ездил на розыски жены и сына, весь в заплатах, как изношенная овчина; краска облупилась; мотор страдал старческой одышкой, судорожно и подозрительно дребезжал.

Всегда осторожный, не терпевший никакого азарта и лихачества Моше Гершензон в очках, присланных ему по рецепту из Израиля и, кажется, оставшихся единственным подарком Счастливчика Изи, в легкой спортивной куртке на проворной застежке, в замшевых водительских перчатках не сводил близоруких глаз с шоссе и непривычно тихо матерился, когда из-за ремонтных работ надо было подолгу выбирать на шоссе в объезд.

Никакого понятия о городке смолокуров и коробейников Малкин не имел. По правде говоря, просто приятно вырваться из опостылевшего Вильнюса, из очерченного старостью и бездеятельностью круга абы куда — побывать в новых местах, подышать ягодным и грибным воздухом белорусской пуши и, может, полакомиться земляникой, ежевикой, свежей малиной. Моше Гершензон клянется, что ветер Чернобыля сюда не долетел — остановился в пятидесяти верстах от Свири.

Была еще одна причина, малопочтенная и царапавшая совесть, — желание Малкина что-то разузнать о тайне, тщательно оберегаемой Моше Гершензоном ото всех.

Был, по-видимому, некий скрытый расчет и у зубного техника. Не возьмет же он в такую дорогу человека только ради празднословия! Моше Гершензон каждый шаг свой взвешивает и обдумывает. Малкин не помнит, чтобы тот действовал, движимый только чувствами — дружбы ли, вражды ли, мести ли.

— Можно подумать, что наши предки трудились в поте лица только для тех, кто нас убивал и грабил. Убийцы и мародеры только и заботились о том, чтобы потом, через десятилетия, их дети и внуки в пущах и над рвами ставили памятники ограбленным и убитым с надписями-головоломками, по которым постороннему человеку и догадаться-то невозможно, кому они воздвигнуты.— Моше Гершензон в сердцах газанул.— Что бы ты, скажи на милость, испытывал, если бы к тебе пришли и без спроса забрали твой «Зингер»?

— А «Зингер» не мой. Я его, так сказать, тоже у кого-то втихаря спер,— честно признался Ицхак.— Думал, что это не грешно. Что это справедливо. Ведь немцы забрали у нас самое дорогое. Но сейчас я так не думаю... Тот, у кого забрали все, не может уподобиться ни вору, ни грабителю, ни насильнику. Могу поклясться: сейчас бы я вернул этот «Зингер» его прежнему хозяину. Разве он виноват, что его соотечественники убили моих братьев?

Моше Гершензон не одобрял склонность Ицхака к всепрощению и считал, что евреи, которые так думают, ничему за войну не научились, хотя урок и обошелся им дороже, чем иным.

— Задним числом все умными заделались. Говоришь, вернул бы. А не потому ли, что «Зингер» больше тебе не нужен?

— Нет. Потому, что чужое всегда чужое.

— Почему же они, сволочи, его не возвращают, а произносят речи на могилах, кланутся в любви к нам, фальшиво молят о дружбе, прощении?... Ты, например, ходишь по Вильнюсу, смотришь на окна — и тебе хоть бы хны. Окна как окна — занавешенные шторами или распахнутые настежь. А для меня они — в первую очередь напоминание о моем отце Товии Гершензоне, не спавшем ночами, гнувшем в молодости спину на кофейных плантациях в Бразилии, разносившем в Нью-Йорке сладости и откладывавшем за счет недосыпания и недоедания каждый заработанный цент. Он ни у кого ничего не забирал. Его же лишили всего, за одну ночь нищим, отщепенцем, изгоем сделали...

— Жаль, конечно, что разбомбили вашу стекольную фабрику... Но не литовцы же ее бомбами забросали...

— Не прикидывайся дурачком! По-твоему, история виновата... Но кто же должок нам вернет... хотя бы руины?

— А зачем тебе, Моше, руины?

— Затем! — озлился зубной техник.

В тот светлый, безоблачный день середины лета старённый, раздрызганный «Москвич», продираясь к Минскому шоссе, выкатил на Заречье и остановился у трехэтажного дома, принадлежавшего когда-то старательному, богобоязненному и бережливому отцу Моше — Товию Гершензону.

— Вылезай! Коротенькая остановка.

Малкин отстегнул замусоленный ремень, открыл дверцу и выбрался из машины. Из распахнутых окон бывшего господского дома густыми хлопьями опали на землю запахи бесхитростной еды — кислой капусты, жаренной на подсолнечном масле рыбы, чеснока и лука, кильки в томате. Даже голоса женщин, покрикивавших на игравших в ножички и расшибалку беспризорных мальцов, тонули в незримом, но гнетущем и клубившемся над окраиной мареве стойкой бедности и сиротства.

Не сказав ни единого слова, Моше Гершензон несколько раз ритуально, по периметру, обошел пустырь возле отцовского дома, вышел на самую середину, на небольшое возвышение, и так же ритуально застыл в глубоком молчании. С горба пригорка открывались красоты разноязычного и разностильного города — строгие шпили костелов, волнистая гряда купающихся в зелени гор, узкие и острые, как рыцарские рапиры, улицы, гребни крыш, выложенных как будто не черепицей, а каллиграфически выведенными латинскими литерами, четверостишиями, застывшими в воздухе.

— Жилцы ко мне привыкли, как к собаке, — глухо произнес Моше Гершензон.— Все уверены, что я известный художник или фотограф, приезжающий сюда любоваться видами Вильнюса. И я их не разочаровываю. Всегда беру с собой фотоаппарат и щелкаю для блезиру. Пусть принимают за кого угодно, только не за владельца... Владельцев в Советском Союзе терпеть не могут.

Моше Гершензон сел за обтянутый плетенкой руль, за ним в «Москвич», кряхтя, забрался Малкин, мотор гриппозно закашлял, и машина тронулась с места. Ицхак выжидал, пока зубной техник снова заговорит с ним, но тот, казалось, дышал молчанием: перестанет молчать — не миновать приступа удушья.

Позади осталась ухоженная, холеная Литва; замелькали бедные белорусские подворья — почти без живности, одни куры под открытыми ставнями, кое-где надменные гуси с пепельными от грязи перьями; низкородные свиньи со смазливymi, игрушечными поросятами; на соломенных крышах аистьиные гнезда с горластыми юнцами. За Вороновом, насладившись молчанием, Морше Гершензон снова заговорил:

— Знаешь, Ицхак, о чем я думаю? Думаю, что зря я из кожи вон лезу. Все равно мне ничего не отдадут. Наследников-то у меня нет.

— А Изя?

— Дай Бог, чтобы мой ветрогон сюда на мои похороны прилетел! Он должен держаться от здешних мест подальше. Ведь его и посадить могут. Новые прокуроры новых денег потребуют.

— Да... Посадить тут всех могут.

— Растешь в моих глазах! — похвалил его зубной техник. Вздохнул и невесело, чуть ли не обреченно продолжал: — Я скоро возненавижу себя. Ну, чего, спрашивается, я сюда, на этот вонючий пустырь, каждую субботу, как в синагогу, бегаю?

Малкин весь съезжился, затаился, замер в предвкушении чего-то долгожданного, сокровенного. В эту минуту все, что разделяло Моше Гершензона и Ицхака, рухнуло, исчезло, как будто никогда и не существовало.

— В один прекрасный день, — волнуясь, выдохнул зубной техник, — они пригонят бульдозер и все отроют. Бульдозерист отдаст оба чугунка с их кошерным содержимым в государственный банк и за честность и добросовестность получит денежное вознаграждение. А мы... а я останусь на бобах.

— Ты о чем? — притворился простаком Ицхак.

— О золотых кольцах... ожерельях... браслетах... подвесках... царских монетах...

«Москвич» двигался медленно; за окнами чернели непроходимые леса, от которых пахло грибами, вековой тишиной, чадившими партизанскими кострами. Над деревьями кружили незнакомые птицы, и тень от их крыльев долго висела над махонькой машиной, как туча, которая вот-вот вспыхнет молнией и прольется благодатным библейским ливнем над притихшими полями.

Ицхака вдруг обуяло какое-то зудящее желание — ему захотелось, чтобы и впрямь начался ливень и непроницаемой завесой отделил их от этой пуши, от диковинных птиц в небе и от полупризнаний и полуумолчаний Моше Гершензона. Но солнце стояло высоко и прочно, небосвод был чист и ясен, дорога мягко размазывала свой клубок; уже замаячили крыши погруженной в провинциальную негу непривередливой Лиды.

— Золото спасает, но золото и губит, — сказал зубной техник. — В первый день войны я сказал отцу: «Брось все к чертовой матери и бежим, пока немец не нагрязнул...» А он: «Это все ты, что ли, по крупнице добывал? Это ты свое здоровье и молодость на все это променял? Нет, ты за гойками день-деньской увивался, на скачках отцовские деньги профукивал. Конечно, тебе на золото плевать. А по нему, сынок, как по венам, вся моя кровь течет...»

Он сбросил газ, пустил машину на холостой ход.

— Сложил все драгоценности в два чугунка, взял лопату и сказал мне: «Рой свое будущее! Золотом от всех можно откупиться — от красных, зеленых, коричневых. Только место запомни...» Когда все было зарыто, я ему и говорю: «Ну а сейчас ноги в руки!» Не тут-то было!

Дорогу перебежал лопухий заяц.

— Ишь, как жмет косой! — восхитился Моше Гершензон. — Так вот... «Если все брошу, — говорит, — сразу и умру. Только ты обо мне не думай так, как эти комиссары: мол, Товий Гершензон — кровопивец, угнетатель, толстосум, он за копейку повесится. Ты поступай, как хочешь, а я буду сторожить и это золото, и этот воздух — он тоже мое золото, столько лет им дышал, и эти звезды, они мне подмигивали каждый вечер и желали спокойной ночи. И булыжнику этому

стражник нужен, каждое воскресенье я по нему на пролетке в Бернардинский сад ездил слушать, как духовой оркестр вальсы Штрауса играет...»

Зубной техник снял замшевую перчатку, стер со лба испарину, высунул в ок-но руку, поправил боковое зеркало.

— Может, он был прав. Может, на самом деле сторожил не то, что было золотом, а то, что золота дороже... Он все-таки был человеком верующим,— не то с одобрением, не то с сожалением сказал Моше Гершензон.— Дети никогда родителей не понимают. И наоборот. Если сторожить нечего и некого, разве стоит жить? Ты, конечно, посмотришь на меня как на сумасшедшего... Но я и впрямь иногда ради собственного удовольствия позволяю себе быть немножко мешуге... Не поверишь, но мне нет-нет да приходит в голову, что и он... мой отец, Товий Гершензон, вместе с нами... приходит под липы в Бернардинский сад, слушает «Сказки Венского леса», а в начале Замковой на козлах его дожи-дается усатый извозчик, и лошадь прядает большими, как литавры, ушами.

Зубной техник замолк, но через минуту бросил:

— Ты, Ицхак, первый, кому...

Малкин кивнул.

— И последний...

— А Изя? Он-то, наверно, все знает.

— Есть люди, которым можно рассказывать обо всем, но только не о день-гах,— уклончиво ответил Моше Гершензон.— Из-за них они готовы с самим сатаной породниться. Шепни им, что звезды — бриллианты, воткнув в них ви-лы и с неба сволокнут.

Он испытывал потребность в исповеди, сумбурной, торопливой, однако без привычных утаек, по-нищенски благодарно рассчитывая на сочувствие... Не-бось некоторые из его приятелей убеждены, будто и он такой — вилами в звез-ды...

Моше Гершензон не спешил, то и дело гасил скорость, подолгу молчал, но вдруг ни с того ни с сего принимался откровенничать, освобождаясь, видно, от того, что угнетало и томило его долгие годы. Может, его откровения были со-пряжены с предчувствием роковой болезни, изредка подававшей смутные и тревожные знаки преходящими болями и коликами. Поездка в Белоруссию, ка-залось, была придумана им с одной-единственной целью — излить душу, обна-жить то, что раньше никакому обнажению не подлежало. Бернардинский сад не был тем местом, где он мог и хотел открыться,— под старыми липами мож-но было затрагивать только верхний слой, для которого бульдозер не представ-ляет никакой опасности...

К открытию памятника они опоздали, но Моше Гершензон не сокрушался, насколько об этом не жалел. Он терпеть не мог казенщины — заранее заготов-ленных речей, лузгания семечек, заученной скорби пионеров и похожих на древних ископаемых, невесть откуда взявшихся доморощенных псалмопевцев. Даже слезы тех, чьи родичи полегли в пущах и рощах, внушающих почтитель-ный ужас, вызывали у него какое-то внутреннее противодействие — целый год глаза сухи, а тут рыдают в голос да еще поглядывают по сторонам, замечены ли их рыдания.

Люди понемногу расходились — среди них не было ни одного знакомого, не удалось Моше Гершензону отыскать в толпе и своего дальнего родственника.

Ветер гонял по площадке, пахнувшей только что уложенным и застывшим асфальтом, картонные стаканчики из-под лимонада, пивные баночки, искоре-женные ногами, обертки конфет и леденцов, программки со списком ораторов — день выдался на редкость жарким. Парило. Трудно дышалось. Профессиональ-но-задорный голос плыл над памятником, как воздушный шар, изукрашенный цветными рекламами:

— Гостей из Израиля, Франции и Америки, а также родственников погибших из Белоруссии и Литвы приглашают в городскую столовую на торжественный обед. Улица Янки Купалы, одиннадцать. Внимание, внимание!.. В семнадцать часов силами самодеятельности в Доме культуры будет дан большой концерт...

Общий обед не прельщал Моше Гершензона. К самодеятельности он отно-сился, как к советской власти,— мирился с ней, но не поддерживал. Между тем

воздушный шар продолжал свое плавание. Он вдруг новой вестью повис над осиротевшим памятником:

— Нуждающихся в ночлеге просят пройти к товарищу Фесуненко в горисполком. Проспект Гагарина, восемь, комната семь...

Моше Гершензон задрал голову к висевшему на сосне громкоговорителю и кивком поблагодарил его. В ночлеге ни он, ни Ицхак не нуждались. Уж если они и решатся тут заночевать, то подыщут что-нибудь получше: может, лягут где-нибудь под столетним дубом в пуще или под буком во мшаник и проспят до утра вольными бродягами — никто их не тронет: ни зверь, ни птица, ни змея. Кому они, старичье, нужны? Кто на них позарится? А коль позарится, то так тому и быть, не все же червям должно перепастись, пусть достанется и рыси, и медведю — всех ждет угощение... А чем «Москвич» для ночлега плох? На нем и остановили свой выбор.

— Не жалеешь, что поехал со мной?— спросил Моше Гершензон у Малкина.— Недоброе у меня предчувствие — сдастся мне, что я тут в последний раз.— Он глянул на Ицхака, а потом, как траурный букетик, прислонил взгляд к памятнику.— Вот я и подумал: чем кружить по золотому пустырю каждую субботу, лучше в выходной день поклониться родным могилам. Грешно умереть чужаком.

— Что это на вас нашло? Вчера Гирш Оленев-Померанц... Сегодня ты...— перебил его Малкин.— Тот, кто все время говорит о смерти, уходит позже других. Смерть щадит трепачей...

— Пари?

— Все равно проиграешь.

— Я пари всегда выигрываю... Всегда...

Он говорил об этом со странной уверенностью, будто заключил со смертью договор и установил точные сроки его выполнения. Не было в его словах ни показного мужества, ни рисовки, а какая-то тихая и радостная просветленность.

— Спасибо тебе, Ицхак, что ты со мной...

— Ну что ты, что ты... Не стоит благодарности... я получил большое удовольствие... Сам подумываю о такой же поездке... Скоро пятьдесят лет, как всё... и всех потерял...

— Буду жив — отвезу... Я в твоих краях ни разу не был...— посулил зубной техник.

Он нагнулся, сорвал спелую ягоду земляники, но не съел, а стал перекатывать на шероховатой ладони.

— Ты, кажется, от моей болтовни расстроился. А чего тут, брат, расстраиваться? Приходит время, когда становится не то что невмоготу, а как-то стыдно жить, когда не по докторской подсказке, а сам себе говоришь: эй, ты, пожил в свое удовольствие, уступи место другому. Пора выбросить жизнь, как окурок, и не мусолить ее до тошноты.

— Жизнь — всегда успех. Даже если от нее с души воротит. А смерть...

Малкин подошел к дубу, тихо что-то ворожившему над памятником, прислонился к стволу, впился взглядом в крону, и вдруг оттуда, сверху, заструилась какая-то миротворная благодать. Она втекала в его усталые, пораженные глаза, в его израненное утратами и заблуждениями сердце, в его иссушенные работой ладони. Наполненный этой благодатью, он беззвучно и нелестливо благодарил жизнь за все — за каждый дымок, за сажу и копоть, за синеву небес и зелень луга и, воздав ей за радости и муки, как бы сам вращал в эту землю, и чем больше вращал, тем явственней ощущал, что никакого земляного неба величиной с гробовую крышку нет,— есть только небо над головой, в беспредельности которого человек тает, как облако, и, как облако, проливается каплей, струйкой на землю, томящуюся от вечной засухи, проливается, чтобы за отмеренный ему срок оросить хотя бы одну пядь и помочь подняться хотя бы одному всходу.

— Как тут хорошо!— изумленно простонал Моше Гершензон.

— Рай, и только,— подтвердил Малкин.

— Может, не возвращаться? Пуща тянется на сотни километров. Пока мы пройдем половину пешочком, глядишь, курево, то есть житуха, и кончится. Днем будем питаться ягодами, целебными кореньями, пить березовый сок, грызть кору, слушать шелест листьев и птичий щебет, а ночью заберемся в ка-

кую-нибудь берлогу и, как медведи-пенсионеры, будем сосать лапы — ведь на них не только горечь, но и мед. Что проку, если вернемся в город и там испустим дух?.. А тут... тут мы еще кому-нибудь сгодимся на завтрак или на обед.

— Ничего себе лакомство! — съязвил Ицхак.

— А может, желаешь присутствовать на вручении грамот и на большом концерте?

— Никакого желания...

— А зря! — Моше Гершензон насупил и, глядя в упор на Малкина, вдруг выпалил: — Будут вручать и твоему покорному слуге. По-твоему, не заслуживаю?

— Почему же! Заслуживаешь... Смотри за что.

— Ну, не за воинскую доблесть, конечно. За что в наш век больше всего благодарят?.. Не ломай голову над ответом. Ответ прост. За деньги. За чужие деньги...

— Ты говоришь загадками.

— Какая уж тут загадка! Перевел на строительство памятника кругленькую сумму — и грамота в кармане. Но мне нужна не их грамота, а Его. — Моше Гершензон ткнул пальцем в безоблачное бескорыстное небо. — Может, Он смилуется надо мной — примет мою жертву, не сочтет ее подаянием хлыща и прониры. Может, простит мне мои грехи... Представь себе — все до копейки отдал... оставил только на похороны. Скажи кому — со смеху лопнут, не поверят. Моше Гершензон — и добровольное пожертвование!

— А Изя?

— Пусть за свои грехи сам платит... Когда-то я за его грешки крупно запластил.

Моше Гершензон приблизился к памятнику, встал напротив топорно высеченной шестиконечной звезды, восстановленной в правах и мирно уживавшейся рядом с пятиконечной, и стал что-то сумрачно и невнятно нашептывать. Его шепот не был похож на молитву, но и обыденной речи не напоминал. В нем звенело потускневшее родовое серебро, лучилось золото, извлеченное из глубин земли, но не на Заречье, а где-то в недрах Иудейских гор или в долине Израэльской. Плечи его сгорбились, лицо расцвело красными лепестками стыда и раскаяния; надо лбом, как над вспаханной огородной грядкой, клубился пар; ушные ракушки раздвинулись, разверзлись не то для благой вести, не то для проклятия, а может, для того и для другого.

Непрошено, произвольно белорусская пуща склинилась в сероватый зимний рассвет. В пустом троллейбусе, в котором Малкин ехал в больницу, пахло не земляникой, не целебными кореньями, не пахучими грибами, а перегаром и пьяной отрыжкой.

Больница еще тонула в чуть подсвеченных инеем сумерках, когда Ицхак поднялся в онкологическое отделение, где когда-то умирала Эстер. Ему тут были знакомы не только ступеньки покрашенной в красный, государственный цвет лестницы, но и каждая зазубрина. В длинном коридоре отделения никого не было.

Малкин опустил в просиженное до дыр кресло напротив выключенного телевизора, до оторопи смахивавшего на кладбищенское надгробие, и почему-то невольно, беспричинно зажмурился. В тишине, как ядерные листья дуба, тихо шелестели трубки неоновой лампы. Шелест против воли усыплял, но Малкин не поддавался искушению. Еще не хватало, чтобы он заснул там, где умирают в бреду или опьяненные морфием.

Борясь с неотступной дремотой, он снова вспомнил свою летнюю поездку с Моше Гершензоном в Белоруссию. К удивлению Малкина, в утомленном мозгу всплыли не безотрадные прорицания зубного техника (он, увы, выиграл пари!), не пышность торжества по случаю открытия обелиска, а необозримость пущи, разноголосица птиц, поразительная статья деревьев, многоцветье ягодников и чистое, словно пасхальная скатерть, небо. Во всем, что Ицхак там увидел, было столько жизни, что сама мысль о смерти казалась смешной, нелепой, кощунственной до одури.

— Кого-нибудь ждете? — тронула его за плечо чья-то легкая, пропахшая лекарствами рука. — Прием у нас с одиннадцати.

Малкин вытаращил на женщину глаза, пытаясь вспомнить, где он ее видел. Это было давно. Очень давно. Но ей, растормошившей его, шел от силы двадцатый — двадцать первый год.

— Вы не медсестра Жемайтене? — невпопад спросил он.

— Я ее дочь. Жемайтите... Аста... Мама уже на пенсии. Вы знаете маму? — Аста сверкнула голубыми глазами.

— Она просидела со мной всю ночь, когда умирала моя жена. Сейчас мой друг Моисей Гершензон...

— Минуточку! Я позову доктора. Гайле, — крикнула она проходившей мимо подружке, — ты доктора Мотеюнаса не видела?

— Кажется, кофе пьет.

Аста надолго исчезла, наверно, тоже села пить кофе, и Малкин снова закрыл глаза.

Так вот, думал он, и совершается этот привычный и неумолимый круговорот. Меняются только лица и роли, возраст и прически, походки и улыбки, а все остальное — кофе, морфий, смерть — остается неизменным в каждом поколении, при каждой власти. Суть остается неизменной — никому не дано сойти с этого круга и переметнуться на другой, незамыкающийся.

Там, в глубине, сразу же за поворотом, была палата Эстер. На окне в керамической вазе стоял, как абажур, букетик лилий, два марокканских апельсина, как два засыхающих солнышка, светили из раскрытой тумбочки, набитой пузырьками, на стене плескалась о берег балтийская волна, но ее живительные брызги не долетали до койки смертницы.

Бог не проявил к ней своей милости — она умирала в полном сознании, говорила толково и складно, как учительница у доски.

Он не перебивал ее. Ицхак радовался уже тому, что говорит, не бредит, четко произносит слова, и не испытывал от безжалостной ее откровенности ни боли, ни унижения.

— Кроме тебя, никого, Ицхак, не любила... виновата перед тобой ужасно... Но я боялась... Он мог меня отдать в руки немцев... И я уступила... Прости...

— Ради Бога, успокойся. Мне... — Он сглотнул ком, подступивший к горлу. — Мне хватило твоей любви... Ее было даже слишком... слишком...

— Ты всегда был добрее меня. Ты добрее даже нашего Бога... Он не прощает измены... Не утешай меня... Дай руку...

Ицхак протянул ей руку. Эстер поднесла ее к губам и попыталась поцеловать.

— Что ты делаешь?! — закричал он. — Что ты делаешь?!

Она уронила руку прежде, чем прикоснулась к ней омертвевшими губами...

Малкин сидел напротив безжизненного телевизора, пялился на провода, на вырванную с мясом из стены розетку. Мотеюнас все не приходил — видно, потягивал вторую чашку кофе.

Ицхак сам не отважился войти в палату. Он снова закрыл глаза, и емкая темнота была полна жизни, прежней и теперешней. Белизна палаты, в которой угасала Эстер, перемежалась с бархатным балдахином, под которым они венчались, а старенький «Москвич», как бы все время удиравший от погони, — с каталкой в коридоре, на которую санитары, может быть, через час-другой положат Моше Гершензона, накроют казенной простыней и свезут в морг, и незадачливый иностранец, богатый наследник богатого отца, распрошачется навсегда со своими честолюбивыми надеждами, сдается на милость проклятому, чуждому времени-мародеру, которое он многократно пытался перехитрить, как опытный торговец молоденькую торговку, и желанная свобода наконец-то придет на смену долголетнему рабству в стране, где человека, прежде чем позволить ему стать всем, делают никем.

Ицхак тщился представить, каков будет его последний разговор с Моше Гершензоном, если, конечно, тот еще жив и может членораздельно изъясняться. Малкин чувствовал большое облегчение от того, что своими деньгами Моше Гершензон как будто уже распорядился. И слава Богу, разбираться в чужом добре всегда морока, а с деньгами и подавно.

Но мало ли чего накопилось у такого расчетливого человека за долгую жизнь! Останутся прекрасно обставленная квартира, мебель, фаянс и фарфор —

Моше Гершензон коллекционировал чайные сервизы и статуэтки, собирал почтовые марки. Что, например, делать с письмами Счастливого Изи — к себе забрать или ждать, пока сын пожалует из Израиля? О завещании Моше Гершензон ни разу не заикнулся, хотя на что-то, бывало, намекал.

Поиски доктора затянулись, и Малкин стал нервничать, озираться, вышагивать взад-вперед по коридору, читать от нечего делать надписи на дверях и по привычке выискивать еврейские фамилии. Еврейских фамилий в онкологическом отделении не было — ни врачей, ни медсестер, и Ицхак поймал себя на том, что скоро тут и больных-евреев не станет. Мало-помалу вымрут, и некого будет будить поутру и приглашать к умирающему собрату.

Прошло почти полчаса, пока наконец не появился старый знакомец — доктор Мотеюнас.

— Прошу прощения. Срочное дело,— скороговоркой оттарабанил он.— Как, понас Малкинай, поживаете?

— Лучше, чем ваши пациенты.

— Приятно слышать... Увы, мой прогноз насчет вашего друга не подтвердился. Его одежда совсем прохудилась — некуда заплатки ставить...— Он помолчал и любопытствовал:— Еще шьете? Через две недели лечу на конгресс в Иерусалим...

Малкин поздравил его взглядом.

— Может, по старой памяти тройку сошьете?

— Рад бы... Если бы чуть раньше.

— Раньше в Израиль ни вас, ни нас не пускали. Сами туда не собираетесь?

— Мой поезд уже ушел.

— Все лучшие портные уехали.

— Другие вырастут.

— Но не евреи. Евреи шьют, как боги...

Ицхак не был расположен точить ляды. Ему хотелось поскорей узнать, жив ли Моше Гершензон или давно в мертвецкой, но Мотеюнас не спешил, расхваливал Израиль, его медицину, уверял, что скоро и Литва станет свободной и независимой, что евреи перестанут отсюда уезжать и все будет, как до войны.

— Как до войны уже никогда не будет,— помрачнел Малкин.

— Будет, будет... Женщины нарожают детей... Откроются школы, лавки...

Мотеюнас весь лучился доброжелательностью и уверенностью: на лацкане у него сиял новехонький значок со столпами великого Гедиминаса — символами прежнего могущества и величия Княжества Литовского.

— У вашего друга есть кто-нибудь из родных в Литве?

— В Литве никого. Сын в Израиле... Могу ему сообщить.

— Вряд ли успеет. Из Бен Гуриона только один рейс: Тель-Авив — Бухарест — Москва.

— Ничего не поделаешь. Сами как-нибудь похороним.

— Хоронить должны молодые. Таков закон природы.

— Видать, то ли закон не тот, то ли мы, евреи, не по закону природы живем.

Доктор задумался и промолвил:

— Чего только ради старой дружбы не сделаешь! Подержим его до прилета сына в холодильнике.

— Он что, уже?— дрогнул Ицхак.

— Может, еще сутки-другие протянет.

Кто-то его в этот момент окликнул, и Мотеюнас, извинившись, удалился.

Ицхак вошел в палату, нарочито бодро поздоровался, но Моше Гершензон не отозвался, лежал неподвижно, держа по-солдатски по швам обескровленные руки с длинными замершими пальцами, уже посиневшими в фалангах. Провалившиеся, как бы вытекшие из впадин глаза были устремлены в потолок, где, как большая, со стершимися кубиками игральная кость, определяющая размер выигрыша или проигрыша, висел запылившийся светильник. Всегда аккуратно зачесанные волосы Моше Гершензона от долгого лежания слиплись и торчали колтуном над сужившейся кромкой лба. На нем была голубая, в полоску больничная пижама, жизнерадостный цвет которой не вязался с землистостью лица и почти полной неподвижностью тела.

Господи, с каким-то жалостливым и стыдным отвращением подумал Малкин. Неужели это тот самый щеголь и франт, благоухавший заграничными «шипрами», менявший два раза на дню пиджаки? Неужели это тот самый живчик и пролаза, который, презрев свою расчетливость, порой в кураже швырял — знай, дескать, наших! — на стол перетянутые бумажными полосками банкноты? Неужели это тот самый человек, который до своей убийственной болезни ни разу в больнице не лежал?

Растерявшись, Ицхак снова виновато поздоровался, но Моше Гершензон только пожевал пересохшими губами.

— Это я, Малкин. Узнаешь?

Ни вздоха, ни стопа. Только жевание губ, на которых запеклись какие-то сокровенные, перезревшие слова.

— Привет тебе от всей команды, — беспомощно, тупо промолвил Ицхак. — От Гирша и Натана.

Моше Гершензон зашевелился, перевел оскопленный недугом взгляд с игровой кости, сулившей ему сокрушительный проигрыш, на Малкина и скорее из черева, чем из горла, выдохнул:

— Э-э-э... Иц...

— Да, да, Ицхак!.. — обрадовался Малкин.

Открылась дверь, вошла Аста со шприцем, подошла к койке, задрала умирающему пижаму и заученно воткнула иглу.

Морфий! Ицхак от догадки покрылся холодным потом.

Лекарство, однако, не усыпило Моше Гершензона, а взбудрило. Он вдруг поднес ко лбу руку, провел ею по морщинам, как будто вознамерился стереть их, и что-то произнес по-еврейски.

— Понятно, понятно, — приговаривал Ицхак, поощряя его усилия.

Но зубной техник мычал, как глухонемой, и из его мычания, из мелкой сечки его слов, из огрызков и жмыха его мыслей Малкин постепенно выстраивал что-то цельное, разумное, прощальное.

Еще при первом посещении, осенью, Моше Гершензон просил Ицхака в случае смерти уведомить Счастливого Изю, подробно описал место, где хранятся погребальные деньги, — третья полка домашней библиотеки, шестой том сочинений Ленина (Ленина он держал не для собственного пользования, а для отвода глаз), страницы от четырнадцатой до двухсот пятидесятой, каждая купюра — четвертак. Не делал он секрета и из того, куда спрятал письма сына — верхний правый ящик письменного стола, конторский скоросшиватель с пометкой «Взносы членов первичной организации ДОСААФ».

Питая еще в душе робкие надежды на выздоровление, Моше Гершензон с улыбкой делил свое имущество — предлагал устроить для бедных и нуждающихся своеобразный день открытых дверей: пусть каждый возьмет то, что ему нужно, — посуду, столы и стулья, румынские занавески, простыни, одеяла, люстры, ночники, коврики, траченные молью, шкафчики, книги, полотенца, махровые халаты... Весь свой гардероб он велел подарить городскому сумасшедшему Хаимке, а сервизы отдать в столовую ветеранов войны и труда, в которую он последние годы хаживал питаться по удешевленным ценам, — пусть орденосцы хлебают чай и вспоминают его, грешника, добрым словом.

Была у Моше Гершензона и одна особая просьба, огорошившая Ицхака, — отнести оставшиеся от проводов деньги родственникам Брониславы Жовтис, а также предложить им старенький «Москвич». Что с того, что они сексоты и фискалы, — пусть простят его и не плюют на его могилу.

Малкина сперва забавляла его веселая и нагловатая щедрость, его напускная забота о ближних — выпишется из больницы и всем фигу покажет. Но чем дальше, тем больше Ицхак убеждался, что за бравадой, за всеми этими шуточками-прибауточками кроется что-то серьезное и твердо решенное.

Во всех наставлениях зубного техника, то смешивших, то пугавших Малкина, была одна удивительная странность: в них он никогда не упоминал о сыне — Счастливице Изе. Моше Гершензон ни разу не обмолвился и о письмах, которые он с такой гордостью читал им в Бернардинском саду.

За окном медленно и вяло приближался короткий февральский полдень. Моше Гершензон тихо постанывал, что-то бормотал, не заботясь о смысле.

В палату просунула голову санитарка с подносом.

— Исты будете?

— Спасибо,— ответил за умирающего Ицхак.— Сыты.

Запах картофельного пюре, лапши, говядины. Малкин подошел к койке, приподнял голову Моше Гершензона, взбил подушку. Голова зубного техника была легкой, как охапка сухого июньского сена. На виске слабо пульсировала одинокая жилка — она поклевывала желтый покров кожи, под которой с упорством саранчи откладывала свои прожорливые личинки смерти.

У Малкина не было сил ни оставаться, ни уходить.

Что за проклятая доля — быть душеприказчиком тех, кто моложе тебя и прочней склочен. Господи, зачем ты караешь меня не только собственными, но и чужими бедами? У меня ведь их, своих, хоть пруд пруди! Кому исповедуюсь, кому пожалуюсь, когда пробьет мой час? Липе в Бернардинском саду? Застывшему от стужи воробышку на скамейке? Не потому ли ты даровал мне долголетие, что для меня никогда не существовало и поныне не существует ни чужих бед, ни чужих горестей? Не потому ли, что я никогда не пытался обрядиться в золото и тщеславие, прикрыть свою наготу, свои язвы и раны хитростью и вероломством? Не потому ли, что я — только не карай меня за мою гордыню — одновременно маленький человек и все человечество? Ведь без каждого из нас оно сирота. Не так ли? Малкин нанизывал одну мысль на другую и, стыдясь своей торопливости, поглядывал на часы. Сиди, не сиди — ничего не высидишь.

Он встал и, поклонившись койке, покрытой серой простыней, как открытому гробу, выскользнул из палаты. По коридору сновали беспечные, защищенные своей молодостью от всех напастей сестры в белых кокошниках, из-под которых полузабытыми соблазнами струились роскошные волосы.

Через три дня, получив телеграмму Малкина, заверенную Мотеюнасом, прилетел из Тель-Авива Счастливчик Изя. Вместе с ним прибыла его жена, высокая египетская еврейка, не говорившая ни на одном языке, кроме иврита и арабского. Статная, тонкорукая, она была вся, как перелетная птица, окольцована перстнями и браслетами. Большие серебряные серьги как бы приковывали ее ушки к изящной, немного диковатой голове.

— Ицхак Бен Моше,— представился гость.— Моя жена Варда.

— Ваш тезка. Портной Ицхак Малкин.

Счастливчик Изя перевел жене только фамилию.

— Командуйте парадом!— буркнул гость, ставший на родине праотцов из общедоступного Гершензона благозвучным, как звук лютни, Бен Моше.— Куда поедем? Надеюсь, не сразу на кладбище.— Он был деловит и напорист.— Надо бы умыться, переодеться, отдохнуть.

— Поедем к вам.

— К нам?

Малкина смутил вопрос гостя, но он не выдал своего смущения. Ицхак нашел такси, сам сел впереди, а Бен Моше и Варда устроились на заднем сиденье.

— Адрес?— проворчал таксист.

Ицхак не торопился называть улицу, выжидал, когда ее назовет Счастливчик Изя, но гость сделал вид, будто не расслышал.

— Может, наконец скажете, куда ехать?— возмутился рулевой.

— Магазин «Меркурий»,— слукавил Малкин. Он не стал злить ни водителя, ни равнодушного к назревающей перепалке Бен Моше.

Вот это да! Приехал на похороны отца и не знает, где он живет. Наверно, забыл. Немудрено — прошло почти что два десятилетия.

Варда куталась в короткую, до колен, шубку, прижималась к мужу и, глядя на хлопья кружившегося в воздухе снега, простодушно восторгалась:

— Шелег! (Снег!) Яфэ меод! (Потрясающе!)

Настроение у нее было отнюдь не похоронным. Она никогда в глаза не видела ни Моше Гершензона, ни снега, ни этого по-варварски хмурого города без открытого неба и тепла и, должно быть, испытывала волнение первооткрывательницы.

Было скользко. Водитель осторожно вел машину по наледи, подержанную «Волгу» то и дело заносило в сторону, Варда подчеркнуто громко вскрикивала

от неожиданности, Бен Моше успокаивал ее, чмокая с вышколенной нежностью в щеку.

Озадаченный Малкин на чем свет стоит журил себя за дурацкое милосердие. Ну почему он должен разрываться на части: и встречать Счастливику Иэю в аэропорту, и договариваться с могильщиками, и выбивать разрешение похоронить Моше Гершензона на еврейском кладбище — оказывается, и тут нужно дозволение! Натан Гутионтов и Гирш Оленев-Померанц палец о палец не ударили — спасибо, бывшие сослуживцы покойного из военного госпиталя помогли: начальник пятерых солдат и одного сержанта, заканчивавших лечение, в подмогу дал, а то (срамота какая!) некому было бы и гроб к яме нести.

Обида смешивалась у Ицхака с растерянностью. Как же так, терзался он, родной сын не помнит, где живет отец? Счастливчик Иэя что, свои письма до востребования писал? А может, прав флейтист: не он их сочинял, а сам Моше?

Дом, где жил покойный, находился на противоположном от аэропорта конце города. До него надо было добираться не меньше чем полчаса. Уставшая от перелета Варда откинула свою маленькую, словно вылепленную из черного воска голову и задремала. Счастливчик Иэя победителем поглядывал в окно — уехал выкупленным рабом, а приехал свободным и богатым.

Малкин шмыгал носом и задавал себе всю дорогу вечные еврейские вопросы. О чем перво-наперво спрашивает любящий сын, прилетевший на похороны своего отца? Он спрашивает о том, как все произошло, какие просьбы отец высказал на смертном одре. Где установлен гроб с телом — дома или где-нибудь в другом месте, в военном госпитале, например? Он, любящий сын, начинает не с поцелуечиков и шепоточков, а с молитвы.

Но, может, укрощал свою неприязнь Ицхак, там, в Израиле, все иначе, может, у них там не принято распускать нюни, рвать на себе волосы, занавешивать в доме покойника зеркало? Может, там все к смерти привыкли, как к закату солнца. Гутионтова Лариса так и написала: с самого рождения жизнь, как посмертная фотография, в черную рамку вставлена...

Чужая душа — потемки. Совестить легко, поучать приятно. Если хорошенько пораскинуть мозгами, Счастливчик Иэя мог и не прилететь... И писем не писать... Неласков был отец, неласков. Не любовью к себе привораживал, а кошельком. Говорят, когда сына за денежки из тюрьмы вызволял — валютчиков в ту пору карали особенно сурово, — больше за себя боялся, чем за свое чадо. А вот от сиротства и беспризорности его не уберег. Мотается где-то с жульем — ну и пусть мотается, промышляет золотишком — ну и пусть промышляет, только бы его, Моше Гершензона, в покое оставил, в свои делишки не впутывал. Поди разберись, кто перед кем больше провинился...

Такси въехало во двор. Водитель помог внести чемоданы в лифт. Варда спрятала свой тонкий носик в воротник шубки, Бен Моше уставился на обрывки предвыборных плакатов, испещренных русской матерщиной, Малкин беззвучно, по-ученически считал этажи и молил Господа, чтобы только лифт не застрял.

На лестничную площадку высыпали соседи Моше Гершензона, увидевшие сверху подкатившее такси и узнавшие Счастливику Иэю. Они наперебой поздравляли его с прибытием на родину, гость деланно улыбался и раскланивался во все стороны, никого не желая обидеть. Малкин протянул ему ключ, и Бен Моше открыл дверь в квартиру отца.

— Похороны отсюда?

— Нет. Прямо из... — Ицхак набрал в легкие воздух. — Из морга... Завтра в четыре...

— Когда встречаемся?

— В два. В больнице.

Бен Моше и Варда оглядели квартиру, подошли к окну и с птичьего полета обзрели окутанный морозной дымкой город.

— Спасибо за вашу заботу об отце... о нас, — повернувшись к Малкину, растроганно сказал Счастливчик Иэя. — Что бы мы без вас делали? — Он подошел к Варде, распушил ее волосы, закусил губами черную прядь и глухо промолвил: — Всякое между нами было. Но отец — это отец... Спасибо...

— Еврей еврею должен помогать.

— Хоронить друг друга?— усмехнулся Бен Моше, и в его усмешке Ицхак почувствовал горечь и обиду на отца.

— Не беспокойтесь. Все будет по первому разряду — и место на кладбище недалеко от могилы Виленского гаона, и могильщички, и венки. Ваш отец просил не скупись... Он для этого... и деньги отложил...

— Я заплачу за все. Тратьте сколько угодно. Вы с ним были до конца? Он что-нибудь в последние минуты говорил?

— Очень мало. Проваливался либо в бред, либо в молчание.

— Никого не вспоминал? Ни меня... ни деда Товия?

Малкин не хотел обижать его. Он что-то нескладно соврал, но Бен Моше обрадовался даже этому вранью.

— Значит, вспоминал...

Счастливику Изе хотелось услышать свое имя, но Ицхак вдруг замолк, нахмурился, видно, смекнув, куда гость клонит. Опять это зарытое в чугушках золото.

— Ваш отец просил все раздать бедным.

— Меня тут,— Счастливик Изя обвел рукой квартиру,— ничего не интересует. Своего барахла хоть отбавляй. Главное я давно увез — свою жизнь. Ничего больше мне не надо.

— А письма? Как быть с письмами?

Искреннее удивление смягчило грубоватое лицо гостя.

— С письмами? С чьими?

— С вашими... Отец их нам время от времени читал. И мы слушали, раскрыв рты.

— А-а!— воскликнул Бен Моше.— Конечно, конечно... Мы друг другу простили все. После моего отъезда как никогда сблизились.— Он говорил без остановки, без пауз, как зубрила на уроке, но от его слов веяло чем-то знакомым, повторяющимся, пошлым.— Разве папа их не выбросил в мусорную корзину?

— Как можно! Он их хранил, как величайшую драгоценность,— к удобной, расхожей пошлости прибег и Малкин.

— Замечательно, замечательно!— млея от восторга Счастливик Изя.— Обязательно возьму их с собой в Израиль.

В его возбуждении, в его скороспелых восторгах было что-то чрезмерное и натужное. Во взгляде же, как в весенней полынье, посверкивали и солнечные, и ледяные взблески: глянешь на воду — долгожданная весна, глянешь на белое обрамление — лютость зимы.

— Оказывается, вы тут все знаете,— похвалил Малкина сын покойного и внезапно, без всякого стеснения, озадачил его вопросом:— Папа о кладе ничего не говорил?

— О каком кладе?— не дрогнул Ицхак. Хотя Счастливик Изя и увез в Израиль главный клад — свою жизнь, но от клада, ее изрядно облегчающего, не отказался бы.

— Наверно, все свиньям достанется!— по-отцовски резко и раздраженно бросил гость.

Малкин не стал ломать голову, кого он подразумевает, засуетился и решительным шагом направился к выходу.

Редко в день похорон светит такое расточительное, щедрое солнце. Если бы не колючий северный ветер, шипами вонзавшийся в спину, погоду можно было назвать праздничной.

Все провожане уместились в катафалке. За гробом, как за семейным столом, скорбно восседали сын Моше Гершензона, его невестка, Ицхак Малкин и Гирш Оленев-Померанц (Натан Гутионтов выразил свои соболезнования по телефону), шесть военнослужащих Советской Армии, а также коренастый мужчина, Иван Тимофеевич Курнов, бывший заведующий стоматологическим отделением военного госпиталя. Курнов клевал носом, испуганно просыпался на ухабах и снова впадал в дрему.

— Господи, до чего мы дожили!— кипятился неугомонный Гирш Оленев-Померанц.— На кладбище ходим чаще, чем в магазин.

— Тсс...— прошептал Малкин.

Счастливич Изя, скрестив на груди руки, прижимался к жене, как бы желая согреться. Сама же Варда, не видевшая на своем веку катафалка, усыпанного еловыми ветками, все время пыталась хотя бы на вершок отодвинуться от гроба и избежать прикосновения с солдатами.

У ворот кладбища катафалк остановился. Солдаты и сержант напялили на бритые головы ушанки, спрыгнули на промерзшую землю, выстроились попарно, вскинули в воздух гроб и опустили его на свои надежные плечи. К ним, подскользнувшись на льду, присоединился Счастливич Изя. Он подставил плечо, поправил вышитую кипу, пристегнул ее скрепкой к волосам; Иван Тимофеевич нахлобучил на лоб фетровую шляпу, придававшую ему сходство с ушлым Никитой Хрущевым, Гирш Оленев-Померанц взял под руку сопротивлявшегося Ицхака, и вся процессия двинулась по заасфальтированной дорожке к стынущей на морозе глине.

Озябшие вояки шли чуть ли не строевым шагом. Варда каблучками выступивала на асфальте прощальную дробь, Курнов, стряхнувший с себя дрему, страдальчески сморкался в смятый простудой носовой платок. Замыкали шествие Ицхак и Гирш Оленев-Померанц. Откуда ни возьмись выскочила лохматая дворняга кладбищенского сторожа и громко залаяла.

— Ну че ты, че ты! — пристыдил ее Иван Тимофеевич. — Моисей Израилевич — золотой человек... Зо-ло-той. Ангелы должны над ним петь. А ты, бесовестная, лаешь как оглашенная...

Но собачонка не унималась.

— Что это за похороны, что за похороны? — причитал Гирш Оленев-Померанц. — Двенадцать человек и паршивая дворняга. Где оркестр? Где прощальный салют? Где почет мертвому и удовольствие живому?

— Побойся Бога! — одернул его Малкин.

— Разве толпа за гробом не удовольствие? Сотни живых теплокровных людей с венками, блистательный Шопен... Это не то же самое, когда за гробом один живой, а вокруг уйма мертвых.

Счастливич Изя оглянулся, опалил стариков укоризной: чего базарите на святом месте? У вырытой могилы охлопывали себя по бокам от холода, как пленные немцы, могильщики. Как только процессия остановилась, они ухватились за толстые веревки, и Моше Гершензон плавно, бесшумно отчалил от мирской юдоли, от промерзшего берега, на котором остались два чугунка с фамильным золотом, разбомбленная стекольная фабрика Товия Гершензона, Аральское море, соляные копи, косоглазый следователь в тюбетейке, тюрьма в средневековом окраинном Ашхабаде, купе в международном поезде «Москва — Варшава», харкающая кровью Бронислава Жовтис, пограничный город Гродно, беглая бухарская красавица Нона Кимягарова, последний его начальник Иван Тимофеевич Курнов, шесть военнослужащих — защитников страны, которую он тихо и упрямо ненавидел, два ненужных еврея — Ицхак Малкин и Гирш Оленев-Померанц и несчастная, бесовестная дворняга кладбищенского сторожа, лающая на живых и мертвых; отчалил и направился туда, где единственного сына давно дожидались его родители Товий и Перл Гершензоны, где о своем запоздалом счастье — статном и голубоглазом женихе, зубном технике, — рассказывала своей подруге Эстер Малкиной Бронислава Жовтис, покашливая в кулачок; поплыл туда, где никто вестей не получает и никто никому не пишет ни добрых, ни злых писем, ибо мертвые живут в одном доме и не переписываются — каждый видит каждого, как в зеркале.

— Золотой человек был Моисей Израилевич, — бубнил Курнов.

Но никто его не слушал. Варда косилась на солдат в чужих шинелях и в шапках-ушанках, вспоминала часть, в которой служила, — узкую каменистую полосу на границе с Ливаном, маленький городочек Метулу, немилосердный хамсин и черного горного орла в синем до оторопи небе и куталась в свои воспоминания, как орлица в свое оперение.

— Золотой был человек Моисей Израилевич!.. Какие протезы мастерил! Снос им нет... — повторял Иван Тимофеевич и скалил вставные зубы.

Он был единственный, кто плакал над могилой. Счастливич Изя в кипе, в модном мохеровом пальто стоял неподвижно, прислушиваясь к хлопкам лопат о глиняный холмик, и каждый хлопок был звонкий, как пощечина, — от него

что-то вспыхивало внутри, горело лицо и в морозном воздухе роились не снежинки, а буквы, складывавшиеся, как у доски в школе, куда его отвел отец, в слова, в строчки, в страницы, беспрекословные, как заповеди, которые отныне, может быть, наконец-то примет, как напутствие и утешение. Он возложил огромный букет роз к могиле, низко поклонился и по мягкому снегу, как по терниям, зашагал прочь. У ворот помыл руки и раздал всем помощникам деньги — не обычные, а чужестранные.

Могильщики сразу сунули их за пазуху, а солдаты и сержант долго отнекивались, но и те не устояли перед хрустящими банкнотами, изображавшими американского президента в камзоле с расстегнутым воротом и в белой сорочке с жабо, смахивающим на крем с бисквитного пирожного.

Подшли к рукомоюнику и Гириш Оленев-Померанц, и Ицхак Малкин. Воды было на самом доньшке, и старики, набрав полные пригоршни снега, затолкали его внутрь. Глядишь, случится оттепель и к следующим — чьим только? — похоронам растает.

Они возвращались с кладбища пешком, так, как повелось исстари, как привыкли в детстве, не замутненным никакими утратами, и с каждым шагом жизнь, галдящая, гудящая, заливающаяся на все лады, брала верх над смертью, но это было уже не столько их торжество, сколько ее, жизни.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Даже в далеком детстве Ицхак трудно переносил прощальную гульбу капризной прибалтийской зимы. Его охватывало неизбынное чувство отчаяния, когда откуда-то с севера на местечко обрушивался ледяной ветер (литовцы величали его финским), а вслед за ветром накатывала непререкаемая, все застывающая пурга, от завывания которой заходило сердце.

Малкин оживал и преображался весной. Он по-детски радовался ее стремительному началу — неистовому таянию снега, журчанию ручьев, бесшабашности первой зелени. Бывало, убежит на косогор, отыщет только что вылупившийся подснежник и, по-христиански опустившись на колени, примется согревать дыханием, дуть на него, как на робкий газовый огонек.

Весна как бы распахивала перед Ицхаком какое-то новое, доселе невиданное пространство, открывала доступ к тому, что зимой прозябало под снегом и отсекалось от его взора.

В весенние месяцы у Малкина зарождалась великая и почти непристойная жажда жизни, которая вытесняла все горести и невзгоды и властно звала на свое лоно, как на любовное ложе, полное полузабытых и сладостных утех. Ликование пробуждающейся природы притупило, видно, и растерянность, вызванную мучительным уходом Моше Гершензона, который как-то незаметно, но прочно обосновался в его, Ицхака, жизни.

На дворе стоял не вьюжный и неуступчивый февраль, а конец плутоватого, склонного к изменам марта, и солнце уже по-кошачьи вкрадчиво хозяйничало на крышах, заглядывало в окна и понемногу растопляло лед недавних утрат. Ицхака снова потянуло в Бернардинский сад. Все казалось не так безнадежно, как зимой во время съемки, когда он, слушая команды жизнерадостного Джозефа Фишмана, брел по парку, как по нескончаемой пустыне, и мысленно прощался со всеми. Что с того, что их осталось после смерти зубного техника только трое? Ицхак почти что уговорил приходить в парк азербайджанца-еврея Михаила Рубинова, по-комиссарски агитировал сапожника Аббу Гольдина и подполковника медицинской службы Савелия Зельцера. Даст Бог, в их ряды войдут все вдовцы и калеки, все отставники и сироты.

Гириш Оленев-Померанц, по обыкновению, только посмеивался над ним:

— Дал бы ты, Ицхак, лучше объявление в «Эхо Литвы»: так, мол, и так, требуются для совместных воспоминаний евреи разных возрастов, от шестидесяти пяти до девяноста. Столетних просим не обращаться... Сбор в Бернардинском саду... сегодня и всегда...

Малкин храбро отражал его натиск. Но Гириш Оленев-Померанц уверял друга, что воспоминаниями теперь никого — ни евреев, ни турок, ни русских, ни

литовцев — не приманишь. Прошлое, конечно, хорошая приманка, ибо нет человека, который когда-то чего-то не лишился бы или чего-то не приобрел, но оно несъедобно. Понимаешь, Ицхак, не-съе-доб-но! Прошлым невозможно заплатить за газ и электричество, за воду и отопление.

Ицхак не спорил, внимательно выслушивал его возражения и думал о том, что, хоть прошлое и неплатежеспособно, оно, пожалуй, единственный признак, отличающий разумное существо от животного. У волка, убеждал он флейтиста, нет прошлого. Только настоящее. Прошлая или будущая добыча его не волнует.

— Если ты, Гирш, такой умный, — хорохорился Ицхак, — ответь: что делать с теми, вся добыча которых — прошлое и еще раз прошлое? Мала эта добыча или велика, отнять ее у человека невозможно. Даже на костре, даже под страшными пытками... То, что свершилось, кажется притягательней того, что еще свершится.

— Послушать тебя, Понары и Освенцим привлекательней, чем черта оседлости и погромы, — вел широкое наступление на фортификации противника Гирш Оленев-Померанц.

— А послушать тебя, — крупными ядрами крушил позицию флейтиста Малкин, — сегодня тишь да гладь да Божья благодать... Разве без газа не сжигают? Разве не убивают, не кромсают тысячами, как в мясорубке?

Малкину и самому было невдомек, что он защищал — бессмыслицу или смысл, когда Гирш Оленев-Померанц припирал его к стенке, доказывал, что и прошлое сшито не из одного куска шерсти, что и в нем хватало всего, о чем и вспоминать-то страшно. Можно прополоть огород, но историю?

— Все времена плохи, ибо дерьма со дня сотворения мира всегда было больше, чем его производителей, — взбирался на крепостную стену победитель Гирш Оленев-Померанц, — Дерьмо-то ты, Ицхак, стараешься не вспоминать...

— Стараюсь вспоминать только то, что было со мной.

— А то, что с тобой было, для истории то же самое, что капля для океана.

— Но капля океан бережет.

Как только подсыхала земля, и он, и Малкин спешили в Бернардинский сад. Первая завязь на оголенных деревьях, прилет пугливых, отливавших глазурью грачей, маляр с огромной кистью, перекрашивающий неказистые парковые скамейки, и витавшие в воздухе воспоминания доставляли им ни с чем не сравнимую радость, оправдывавшую, собственно, само их существование.

Малкину нравился гнездившийся издавна в ноздрях запах краски, способной утеплить и обновить мир быстрее, чем взгляд и слово. Ицхак, бывало, подойдет к молчуну-маляру, заглянет в ведро, как некогда заглядывал в колодец, — выжидательно, настороженно-суеверно, и тихо что-то бормочет, и от этого бессловесного побратимства, как от умокнутой в ведро кисти, веяло и обновлением, и теплом.

Не могло омрачить его радость и то, что ни азербайджанец-еврей Михаил Рубинов, ни подполковник медицинской службы Савелий Зельцер, ни ангелоподобный сапожник Абба Гольдин не откликнулись на его приглашение — никто из них пока в Бернардинский сад не пожаловал. Мало ли чего случается с людьми! Нагрянул, к примеру, Ицхак к родне Брониславы Жовтис, чтобы последнюю волю Моше Гершензона выполнить — отдать остаток денег, хранившихся в томе Ленина, а они, Жовтисы, фьюить, фьюить — в Америку упорхнули. Сейчас все куда-нибудь упархивают. Оседлый период в жизни евреев кончился — начался кочевой. А может, никуда ни Зельцер, ни Гольдин не укатили — выбрали скамеечку около дома и в прошлую жизнь играют.

Чаще других в Бернардинский сад прибегал запыхавшийся музейщик Валерий Эйдлин, весь увешанный заграничной благотворительной аппаратурой. Он включал свой диктофон и принимался пылко расспрашивать Ицхака о службе в Алитусе, в уланском эскадроне, о царивших там нравах, о покойной Эстер, о боях на Орловско-Курском направлении, о распространенных среди литваков ремеслах, о забредавших в Литву хасидах.

Малкин отвечал Эйдлину устало, скупо. Отчаявшись разговаривать Ицхака, Валерий принимался рассказывать о всякой всячине: скоро в Вильнюсе откроется еврейский ресторан, и все там будет кошерное: повар, официанты, гарде-

робщик, пища и вино; хозяин, Ицхак Давыдович, из Парижа, где вы в молодости учились шить, он согласился обеспечивать бесплатными обедами двести евреев. Представляете себе, за столами сидят бедняки, и им на шикарных подносах подают устрицы и креветки, гусиную печенку и лягушачьи ножки в бургундском...

Малкин рассеянно слушал. Всю жизнь прожил без устриц и лягушек в шампанском и дальше проживет. Он не настолько беден, чтобы воспользоваться великодушием новоявленного Ротшильда, к тому же нет большей муки, чем дарма обедать на виду у всего города, уж лучше голодной смертью помереть.

Злоупотребляя терпеливостью портного, Эйдлин жаловался на свое начальство: мой директор, Ицхак Давыдович, прошу прощения за грубость, такой жополиз, такой жополиз — свет не видал... так лезет власти в задницу, так лезет, что без посторонней помощи ему оттуда уже, пожалуй, не выбраться. Ицхак, увы, не был в состоянии помочь ни притесняемому Валерию, ни его директору. Хотя Эйдлин и досаждал ему своими расспросами и жалобами, Ицхак искренне огорчался, когда музейщик исчезал надолго или уезжал в длительную командировку.

Малкин понимал, что настанет день и интерес Валерия к нему будет исчерпан. Еще одну кассету запишет, еще сотню-другую метров пленки ухлопает — и поминай как звали. Улетучился же из его жизни Джозеф Фишман. Нет, он на них, записывающих и снимающих, не в обиде, он благодарен им за ту вьюгу, через которую он проридился не в Америку, а к своему началу, к заждавшейся Эстер, ко всему, что обыденному зрению недоступно, ибо даже самому памятливому зрению дано увидеть только клочья. В тот день под стон вьюги и шуршание камеры все обрело завершенность и целостность, он дышал не этим воздухом, а тем, на заснеженных дорожках Бернардинского сада, как на том прибрежном лугу, паслись не в воспоминаниях, а рядом те бессмертные коровы и тыкались мордами в его пальто на ватине, в его старость.

Те два часа съемки что-то перевернули в его нутре, лишили его укоренившегося, вошедшего в кровь ощущения своего сиротства и самовнушенной неполноценности. Оказалось, самое живое вовсе не то, что вокруг копошится, чирикает, лопочет, не Натан Гутионтов и Гирш Оленев-Померанц, а то, что бесследно и безвозвратно кануло в небытие. Небытие, уловил себя на мысли Малкин, при ближайшем рассмотрении и оборачивается что ни на есть настоящим бытием, самым необходимым и близким. Пока по снегу, как по лугу, бродят те коровы, пока по княжеской башне, как по крыше местечковой синагоги, расхаживает пушистый кот рабби Менделя, пока по той вон аллее, как по раскисшему от весенней распутицы поселку, спешит с пирогом на вытянутых руках Эстер, ничего, считай, не произошло, мир не взлетел в воздух, небо не рухнуло, никого не убивали в рощах и перелесках, не склоняли ради спасения к отречению и к измене.

Ицхак в одиночку бродил по парку, когда из-за раскинутого на Кафедральной площади шатра, где которую уж неделю держали голодовку литовцы, требовавшие вывода оккупационной армии из Литвы, вынырнул пристрастившийся к Бернардинскому саду Валерий Эйдлин. Он был налегке, без фотоаппарата и видеокамеры, даже без диктофона, и Малкин сразу же смекнул, что на сей раз музейщик явился не за очередными рассказами, а по какому-то, может, очень даже важному личному поводу. Неужели и он наладился уезжать? Что же он выбрал — Америку Джозефа Фишмана? Германию или Израиль?

Догадка сдавила сердце и долго не отпускала. Ицхак вдруг пригорюнился — ему стало жалко и себя, и Эйдлина, но он не мог себе эту жалость объяснить. Кто ему Эйдлин? Кто он Эйдлину?

— Здравствуйте, Ицхак Давыдович. Я к вам прямо из музея. Все бросил и поехал. Вас один человек разыскивает.

Отлегло от сердца — пока Эйдлин никуда не уезжает.

— Что за человек?

— Немец.

— Немец? — не выразил никакой радости Малкин. — И что ему от меня нужно?

— Он из Тюрингии... Приехал с делегацией германо-советской дружбы. Пришли в музей на выставку «Понары в фотографиях и документах».

— Может, ему не я, а Гирш Оленев-Померанц нужен?

— Вы, именно вы... Хагер подошел к нашему директору и спросил: «Не слышали ли вы про такого Малькина?»

— Я без мягкого знака. Малкин. Как, говоришь, его зовут?

— Директора?

— Немца.

Как и водится у евреев, вопросы строились в колонны.

— Ганс Хагер. Он тоже портной. То есть бывший портной.

— Ганс, Ганс,— пожевал чужое имя губами Ицхак.— Был у нас в мастерской немец. Но как звали — хоть убей.

— Через два дня они уезжают. Он просит о встрече.

Весть и впрямь была ошеломляющей. Малкин не чаял, не гадал, что судьба сведет его когда-нибудь с пленным немцем-брючником, помогавшим им, вражеским портным, шить парадное галифе Рокоссовскому. В темных и сырых подвалах памяти среди бесчисленных имен, дат и событий затерялись и его внешность, и возраст, и звание. Единственно, что пылилось на полке, были яйцевидная голова с большими залысинами, огненно-рыжие волосы и рыжие усы с вычурными завитушками.

Эйдлин переминался с ноги на ногу в ожидании решения. Но Ицхак почему-то медлил, не спеша переваривал услышанное. На кой ему приезжий немец, пусть и помощник в прошлом? Что с ним вспоминать, чем с ним делиться? Эстер в гробу перевернется, если он пригласит к себе домой немца...

— У меня кавардак...— наконец выдавил Малкин.

— А что если тут... на скамеечке?

Ицхак насутился.

— На свежем воздухе... Как в Кемп Дэвиде...

— Где, где?

— В Кемп Дэвиде,— безуспешно повторил музейщик.— Я до двух должен дать ответ.

— А как мы друг друга узнаем?— снизошел Малкин.

— Он маленький, лысенкий, рыженький. В три у них прием в Совете Министров. А с пяти они свободны. Я, с вашего позволения, приведу его.

— В полшестого так в полшестого. Только с одним условием.

— Честное кавалерское, диктофона не будет!— поклялся Эйдлин и опрометью бросился на Замоквую улицу.

Они явились с немецкой пунктуальностью — ровно в пять тридцать. На подступах к Бернардинскому саду уже зажглись фонари. Их свет нетающим снегом падал на подсохшие дорожки, струился по очнувшимся от зимнего обморока веткам.

Приземистый Ганс в штормовке плелся за высоким Эйдлиным. Он смачно посасывал трубку, и запах отменного табака дразнил ноздри старого курильщика Малкина. В правой руке Ганса поблескивал целлофановый мешочек с живописной картинкой — Тюрингский лес, карабкающийся на террасы горный город Зул, дорога в сосновых объятиях, охотники у костра.

— Ганс Хагер,— подойдя к освещенной скамейке и обдав Ицхака душистым грехом, промолвил немец.— А вы Малькин.

— Малкин,— поправил его Ицхак и глубоко вдохнул ароматизированный воздух.

— О, да, да!— смущенно затараторил Ганс.— Извините... Мы, немцы, все смягшаем... Отшень, отшень рад... Как фидите, я немного гаварийю по-русски... Примите, пошалюста, потарок от меня и обшейства германо-зовиецкой трушбы...— И он протянул Ицхаку Тюрингский лес, горный город Зул и пылающий костер, поначалу, видно, предназначавшиеся другому фройнду.

Малкин долго отказывался от подарка, но в конце концов под решительными взглядами Эйдлина его с благодарностью принял. Хагер, довольный, заморгал белесыми ресницами и, как стеклодув, выдул изо рта душистое облачко благородной «Амфоры».

Он принялся что-то втолковывать Ицхаку, но так тараторил, что тот вылушил из его тарабарщины только главное — Ганс приглашает его на все лето в горы, под Зулом, там у него, у Хагера, свой охотничий домик; они будут вместе отдыхать, ходить на охоту (найн, найн, не на медведя, а на зайца), собирать грибы и плести корзины; он, Ганс, научит его и соломенные шляпы делать; плетение отшень и отшень успокаивает. Когда же они отдохнут, то поедут в Берлин и сфотографируются на фоне рейхстага — Ицхак как победитель, а Ганс как побежденный, хотя на войне победителей не бывает, потому что поражение всегда терпит жизнь.

Малкин благодарно наклонил голову, оценив дружеские чувства Хагера, и пообещал, что, если здоровье не подкачает, он обязательно приедет в Тюрингию и научится плести соломенные шляпы. Он вспомнил военную пошивочную мастерскую, где они короткое время работали вместе, признался, что после расформирования интендантской части совершил недостойный поступок — разобрал чужой «Зингер», упаковал его и вывез из Германии.

— О, это неважно... У нас много, отшень много «Зингер».

Но для Ицхака его слова не были искуплением. Он стал уверять Хагера, что справедливость требует, чтобы он присвоенное вернул. Отыскался же среди сотен тысяч немцев Ганс Хагер — отыщется и хозяин швейной машинки.

Ганс прощающе-покаянно улынулся Малкину, пыхтя, пососал трубку, откинул капюшон, погладил, как школьный глобус, лысину в прожилках-меридианах и снова улыбнулся. Его улыбка странно подействовала на Ицхака. В ней были унижающая снисходительность, плохо скрытое превосходство, и вместо чувства облегчения Малкин испытал что-то похожее на острый укол стыда — ну какого лешего он перед ним винится? Хагер все равно не поверит в его искренность. Они, немцы, в большом долгу перед евреями — никакими «Зингерами» его не покроешь.

Ицхак ругал себя за желание слыть добреньким, за самолюбование: чего, спрашивается, корчить из себя праведника. Еще рабби Мендель в детстве поучал его, что на свете есть одно изделие, которое лучше не делать, чем делать скверно. И имя ему — добро. Малкин вдруг сник, скукожился, внимание его рассеялось, взгляд стал бесцельно блуждать вокруг; чуткий Эйдлин вовремя уловил перемену в настроении Ицхака и бросился спасать положение.

— Герр Хагер рассказал мне, как вы его спасли от гибели... Если бы не вы, его косточки давно бы истлели в какой-нибудь Костроме или Калуге.

— Да, да,— закивал Ганс.— Если бы не герр Малькин, я бы уже не шиль...

— Не жил,— перевел Ицхаку с русского музейщик.

— Да, да...— Хагер с той же доброжелательностью принялся тормошить память Ицхака, которому много лет тому назад начальник интендантской службы полковник Иванышенько задал вопрос жизни и смерти: «Нужен ли нам этот лысый немец?»

— И вы, Ицхак Давыдович,— перехватил у Ганса инициативу Эйдлин,— полковнику Иванченко будто бы ответили: «Нужен, товарищ полковник! Такого брючника сейчас трудно найти...»

— Мы шили его экзцеленции фельдмаршалу галифье...

— Наверное,— дипломатично произнес Малкин.— Разве это сегодня имеет значение? Маршал умер, парадный мундир висит на вешалке в музее, белый конь пал...

— Имеет, имеет,— воспротивился Хагер, отстаивая свое невермахтовское прошлое.— Я вас раньше изкал, абер не нашьоль.

Чем больше он кивал, тем острее Малкин жалел себя, его и то далекое время, когда жизнь человека значила не больше, чем портновская иголка,— сломал, выбросил и заменил другой.

— Отшень рад, отшень,— как заведенный повторял немец.— Сделайте одолжение,— обратился он вдруг к Эйдлину и пальцами изобразил щелк фотоаппарата.— Чик, чик — и вылетит птищья...

— К сожалению, я свою камеру оставил дома,— сказал Валерий.

— Там есть... отшень хоршьяя камера...— успокоил его Ганс и ткнул в целлофановый мешочек.— Нашь презент...

Эйдлин извлек из мешочка новехонькую «Практику», попросил Хагера сесть рядом с Малкиным на скамейку и, когда Ганс подкрутил свои рыжие завитки, легко и радостно щелкнул.

— Вундербар! Перфект!— воскликнул Хагер.

Восторг его был не натужным, а неподдельным, но таким же неощутимо холодным, как сияние Большой Медведицы.

Ицхак проводил Ганса и Эйдлина до Кафедральной площади. Пока они шли, он договорился с Хагером держать связь через музейщика, знавшего немецкий язык,— герр Валерий пришлет ему в Зул снимки. Обещал Малкин, правда, с оговорками приехать и в Тюрингию, поохотиться с ним на... комаров и привезти оттуда в Вильнюс соломенную шляпу собственного плетения.

Возле колокольни они расстались. Ганс Хагер помахал Ицхаку рукой, и взмах ее привел в движение и джип, и крохотный самолетик неразговорчивого Бородулина, и охотников в Главной ставке фронта; с лаем побежали гончие, из ягдташей взмыли в небо подстреленные тетерева, маршал Рокоссовский вышел из-за массивного стола и шагнул на середину пустой залы, еще мгновение — и он доверит ему, портному, свой торс и дату парада на Красной площади.

Вся жизнь, раскрутившись, как ярмарочная карусель, устремилась назад, в прошлое, в кукольный немецкий городок, как бы сложенный из рафинада, и Малкину по-детски захотелось: пусть вертится вокруг него, как Земля вокруг Солнца.

— Уже домой?— раздался за его спиной знакомый баритон, и Гирш Оленев-Померанц бесцеремонно снял его с карусели.

— Что-то забько стало. Боюсь простыть.

— А я к тебе направился. Может, в кабак на часочек заглянем?

— Почему ты меня в эту вашу... как ее... филармонию не приглашаешь?.. А в кабак тащишь и тащишь.

— Почему, спрашиваешь? Отвечаю: в музыке разбираться надо, а в водке не обязательно... Зайдем — я угощаю. На Бернардинском саду свет клином не сошелся. Люди живут, пьют, танцуют, трахаются. Чем мы хуже? Чарли Чаплин в твоем возрасте детей делал, за красотками волочился.

— Ты еще праотца Авраама вспомни.

— С тобой не сладишь. А жаль... Разговор у меня, как говорил вождь пролетариев всех страх, архиважный.

— Бог с тобой. Пошли!

Кафе литераторов пользовалось в городе не самой дурной славой. Гирш Оленев-Померанц выбрал столик у окна, царственным жестом подозвал скучающего официанта и заказал двести пятьдесят граммов водки, котлеты по-киевски, черный кофе и мороженое.

— Что стряслось?— спросил Малкин, когда подавальщик скрылся.

— Ну как тебе кабак? — придвигая к себе пепельницу и вытаскивая любимое «Мальборо лайт», произнес флейтист.

— Я сегодня расслаживаться не намерен. Выкладывай.

— Года три тому назад тут было куда лучше...— Гирш Оленев-Померанц размял сигарету, сунул в рот и принял ее перекатывать от одной щеки к другой.— Раньше можно было курить. А сейчас за одну затяжку — штраф, чуть ли не бутылка коньяка...

— Котлеты придется подождать,— сказал официант, ставя на стол граненый графинчик с водкой.

— Что за страна? Кроме водки, приходится ждать всего.

За долгие годы дружбы Малкин хорошо изучил повадки Гирша Оленева-Померанца. Ты его хоть каленым железом пытай или осыпай золотом, ничего не выудишь, пока он не выпьет. Причем чем новость ценней, тем длительней выпивка. Ицхак томился — ему претили и кухонный смрад, и хлопанье осипшими дверьми, и учтиво-наглые взгляды официантов. Надо терпеть, Гирш Оленев-Померанц «примет на грудь» и раскроет все дворцовые тайны.

В кафе было малоллюдно. На возвышении траурно чернело пианино. Музыкантов еще не было — на аккуратно составленных стульях лежали нерасчетленные инструменты. Гирш Оленев-Померанц налил себе и Малкину, поднял рюмку и сказал:

— Давай за Натана.

Малкин замер.

— Что с ним? — только и выдавил он.

Тост был неожиданный. Гирш Оленев-Померанц вообще презирал тосты — они, по его мнению, только затягивали удовольствие. И вдруг — за Натана!..

— Ты можешь не играть со мной в прятки? — взмолился Малкин.

— Со скучными не пью и за скучных не пью. Натан — человек хороший, но тусклый, как засиженная мухами лампа. Он один из тех, кого даже страдания не красят... Такие люди живут себе, поживают... Все у них, как в школьном задачнике: дом, работа, жена, пудель... Сгорел дом — катастрофа, ушла жена — конец света, околед пудель — трагедия.

Официант принес котлеты по-киевски. Малкин отодвинул тарелку и, понизив от волнения голос, осведомился:

— Так что же все-таки стряслось? Катастрофа, конец света или трагедия?

— Конец света, — старательно обгладывая белую косточку, ответил Гирш Оленев-Померанц.

— Нина ушла?

— Ушла, не ушла, но пока ее найти не могут.

— Неужели руки на себя наложила?

— Так уж сразу и руки! — Гирш Оленев-Померанц взял салфетку и тщательно принялся вытирать подбородок, как будто на нем были не пятна жира, а что-то другое, несмываемое и неудаляемое — то ли следы его ночных гульбищ, то ли крохи незасыхающей, вьезшейся в кожу глины из понарских рвов.

Водки в графинчике оставалось на самом доньшке. Официант, следивший за тем, как она иссякает, услужливо вырос перед ними, но Ицхак не дал ему даже рот раскрыть:

— Счет, пожалуйста.

— Ну куда ты торопишься? Звонить Натану? Я раз пять звонил. Дома его нет. Не рискать же нам с тобой по городу...

— Ты как хочешь, а я пошел. Возьму такси и поеду к нему.

— Погоди. Долью, расплачусь и составлю тебе компанию.

Они поймали такси и поехали на окраину Вильнюса. Натан Гутионтов жил на улице Танкистов. Ни одного танкиста там и в помине не было. Вблизи день и ночь грохотали поезда, в хатах-развалюхах ютилась беднота — кочегары, машинисты, прицепщики, уборщики мусора, стрелочники, кондуктора. За пригорком маячила тюрьма, исправительно-трудовая колония, расположенная на территории храма, окруженной колючей проволокой и хиреющими год от года деревьями, на которых по-прежнему, как в старые, добрые времена, справляла заутреню и вечерню птицы, молившиеся с старостным неистовством.

Света в окнах Гутионтова не было. Гирш Оленев-Померанц и Малкин вошли в слабо освещенный, вонький подъезд, поднялись по витой лестнице со сломанными перилами на третий этаж и по очереди принялись нажимать на шоколадную плитку звонка. Никто не отзывался. Постояв в горестном молчании у дверей, они спустились вниз и, поглядывая на слепые окна и ежась от пронзительной весенней прохлады, зашагали взад-вперед по выбитому тротуару.

Ицхак уже жалел, что выпил только одну рюмку, — не приведи Господь, схватит воспаление легких, надолго ляжет, и это когда у друга такая беда. Правда, надежда еще своим воробьиным клювиком склевывала наихудшие предположения. Может, все еще уладится, Нина передумает и вернется, а Натан поклянется, что никогда... ни при каких обстоятельствах без нее в Израиль не поедет, и, стало быть, нечего приносить себя в жертву.

Малкин вспомнил угрозы Нины уехать к родичам на Волгу, в Балахну. Что если сложила вещишки и укатила? Мол, теперь каждый из них свободен и волен делать все, что заблагорассудится.

— Знаешь, Ицхак, какая мысль мне пришла в голову? Тебе не кажется, что все вокруг нас — тип-топ гетто? Ни души. Ни огонечка... Мертвая тишина... Только где-то там, вдаль, поезд на стыках грохочет... И патруль по тротуару подковами стучит... Слышишь?

— Ничего не слышу.

— А лай овчарки? Оттуда, где тюрьма...

— И лая не слышу...

— А я слышу... Вот-вот они нас настигнут...

— Глупости! — рассердился Ицхак. — Бред сивой кобылы.

— Бред, говоришь, а почему у меня все поджилки трясутся?

— Недопил...

— Нет, нет... Просто страшно... А вдруг и на сей раз побег не удастся... Из этого гетто, брат, убежать невозможно.

— Ты бы лучше о Натане подумал! — пристыдил его Малкин. — В твои годы надо поменьше заказывать...

— Хочешь знать, почему невозможно? — не обиделся Гирш Оленев-Померанц. — А потому, что страх — самое вместительное гетто на свете... Тебе не кажется, Ицхак, что всю жизнь мы только и делаем, что от одного страха бежим к другому...

Надвигалась ночь. Бедняга Натан, наверно, мечется, рыскает на своей культяпке по городу, набережные обходит, мосты, парки...

— Взял бы в жены еврейку, глядишь, беды и не было бы, — прогудел продрогший Гирш Оленев-Померанц.

— А что, еврейки из дому не сбегают? Не кончают с собой?

— Сбегают и руки на себя накладывают. Но прежде чем покончить с собой, они петлю на муже затягивают. Может, Господь и покарал нас... меня... Натана... за наше отступничество... за то, что заветам предков изменили... — Он отдышался и тихо промолвил: — Ну да... Ему легко карать. Ведь Он холостой.

— Шаги! — вскрикнул Малкин и весь напрягся.

Оба прислушались. В иссиня-черной тишине, густой, как волосы, послышался стук деревяшки.

— Он! — обрадовался Гирш Оленев-Померанц. — Точно... У меня абсолютный слух... даже на культяпки...

— Один?

— Один.

Абсолютный слух не обманул флейтиста.

— Парочка — гусь да гагарочка... И давно вы тут сумерничаете? — спросил Гутионтов. Голос его звучал хрипло, как после болезни; он то и дело откашливался, но то был не кашель, а скорее нервный клик. — Пошли ко мне греться.

И двинулся к дому, припадая на деревяшку и все время оглядываясь: а вдруг из темноты, населенной его отчаянием и надеждами, вынырнет строптивница Нина, подойдет к ним и попросит прощения за свою глупую самоотверженность, чуть ли не стоившую ему, Натану, жизни?

— Объявлен розыск, — прохрипел он, вешая в прихожей на гвоздь пальто и осыпая ласками бросившегося к нему пуделя.

— Она что-нибудь оставила? — краснея, осведомился Малкин.

— Нет. Пошла в парикмахерскую прическу делать ко дню рождения и исчезла. Люда, ее парикмахерша, говорит, что она была весела, шутила, анекдот про Горбачева рассказала. Не было ни гроша, да вдруг такой алтын.

— Поверьте моему слову, — загорелся Гирш Оленев-Померанц, — все кончится, как в голливудских фильмах: герои покочуют-покочуют, потом поплачут-поплачут и бросятся друг другу в объятия.

Обнадежил Гутионтова и Малкин. Он готов биться об заклад, что Нина через день-два вернется. Таких мужей, как Натан, на старости лет не бросают. Гутионтов страдальчески улыбался — изголодавшийся за день пудель ластился к нему, виляя хвостиком, просил есть, и Натан бросился его кормить, расчесывать мягкий каракуль. Ицхак на всякий случай проверил, работает ли телефон, а Гирш Оленев-Померанц, предвкушая выпивку, сел за стол, накрытый немаркой скатертью, присланной Ларисой из Израиля к юбилею матери. Парикмахер откупорил бутылку украинской горилки, молча разлил по серебряным рюмкам и первый залпом выпил.

До самого рассвета сидели они, не пьянея, не мучая друг друга вопросами, глядя друг на друга исподлобья, засыпая на минутку коротким заячьим сном. Казалось, ни Гутионтов, ни Гирш Оленев-Померанц, ни Малкин никогда между собой не говорили, словно были от рождения глухонемые. В этом молчании, в этом переглядывании, в этих наплывах сна, в подбадривающих вздохах и скупых жестах было что-то от нерастроченной нежности, невесты для кого припасенной и оставшейся не востребованной, от незатейливого, но избыточного страдания друг к другу.

То была неповторимая, нечаянная ночь, поразившая их своей неброской, как слог, слитностью, незримой спаянностью — может статься, у них такой ночи никогда и ни с кем не было, даже с женами и детьми, даже в вольной молодости, ибо молодость размашиста и беспамятлива, а старость жертвенна и почти лишена алчности — что ей лишний рассвет, лишний год, лишняя копейка?

— Билет у меня уже в кармане,— под утро объявил Гутионтов.

— Далеко ли собрался? — попытался шуткой снизить напряженность Гириш Оленев-Померанц.

— Она либо у Зорькиных в Балахне, либо у Ковшовых в Горьком, либо у Карныгиных под Иркутском.

— Под Иркутском? — как спросонья повторил Малкин.

Куда ему одному в такую дорогу? Здоровяк, и тот ее не осилит. Но, если уж Натан вылез из окопа, никакой обстрел его не остановит.

— Под Иркутском в монастыре ее сестра... Евдокия... Но пока билет у меня до Балахны.

...Вальс! Дамы приглашают кавалеров!.. Треск радиолы, шарканье ног, пот, шепотки, ситцевая поляна, мелькание серег, гимнастерки, кирзовые сапоги, «Сталин под Царицыном», молодой, черноволосый, вдохновенный. Клуб машиностроителей заполнен до отказа. Сегодня — танцы.

Ицхак стоит в углу и ждет, когда кто-нибудь подбежит к нему с ситцевой поляны, осторожно взяв за кончики пальцев, выведет на середину зала и низвергнет в водоворот пар. Но — эго невезенье! — то ли он забрался на задворки, то ли из-за широких спин однополчан его не видно, то ли он не заслуживает такой чести — никто не приглашает. А может, Эстер грозит пальчиком, когда ему удастся переглянуться с какой-нибудь чертовочкой. Только привяжется к русоволосой прелестнице взглядом, как тут же доносится голос Эстер: не смей с чужими красотками якшаться, за плечи их обнимать, глазки им строить! Пока только они двое не танцуют — Ицхак и Сталин. Но Сталин — это понятно, ему не до вальса и не до фокстрота, отец всех народов о наступлении немцев думает. Танцевальный вечер до девяти. А время бежит быстро — скоро и в казарму возвращаться.

— Можно вас? — слышит Ицхак тоненький дискант.

Перед ним круглолицая, с тонкими косичками с вплетенными в них бантами девочка — может, еще школьница. Смотрит на него испуганными, немигающими глазами. Ицхак растерян, шмыгает носом, медлит. Наконец делает решительный шаг вперед, кладет даме руку на талию и безоглядно бросается в эти ласковые «Амурские волны», которые гулко плещут о кирпичные стены, растут и, разбившись, как о волнорез, о лепной потолок, с упоительной яростью заливают пол.

— Меня зовут Вера. А вас?

Девчонка не из робких. Она преподносит ему свое имя, как подарок, и доверчиво ждет отдарка.

— Ицхак.

— Очень приятно. Какого имени я еще не слыхала.

Вера улыбается, скалит свои белые, словно на подбор, зубы, Ицхак улыбается в ответ, только Сталин хмурится и ревниво следит за ними, за их движениями, за их улыбками, за их губами. Издали Малкину машет рукой Натан Гутионтов, поздравляет с победой, и они кружатся до изнеможения, до упаду.

— Вы грузин? — запыхавшись, допытывается Вера.

— Нет.

— Армянин? — Вера отбрасывает за спину непослушные косички с бантами.

Глаза пылают, щеки горят. Она прижимается к Ицхаку своим худеньким тельцем, и ласковость «Амурских волн», тепло битком набитого зала и нежность этой неутомимой козьявки вливаются в смятенную душу.

— Я знаю — осетин! — шепчет она, готовая, кажется, до зари отгадывать эту головоломку.— К папе на стройку приезжал один осетин из Нальчика... Похожий на вас... Красивый... С большим носом, как рог для вина...

И заливается простодушным смехом, и клонит свою голову ему на грудь. «Красивый» — эхом отдается в ушах Ицхака.

— Я еврей.

— Еврей? Как интересно! — восхищается она.— А где они живут?

— Везде.

— В классе у нас ни одного не было... И на заводе нет.

— Я плохо говорю по-русски,— пытается спастись от ее расспросов Ицхак.

— Кавалеры меняют дам! — перекрикивает «Амурские волны» чей-то зычный бас.

Вера искательно смотрит на Ицхака, в глазах у нее мольба и ожидание, и он не отпускает ее от себя, и вот уже их накрывает бархатным звездным пологом южноамериканская ночь, и «Аргентинское танго» вдруг смывает все на свете — и Эстер, и Литву, и войну, и Россию... Все, кроме Сталина в царичинской степи.

— Дамы меняют кавалеров!

И под звездами Аргентины внезапно вырастает белолицая пухленькая соперница, отрывает Веру от Ицхака, кладет ему на шею свою тяжелую руку, закатывает глаза и, суча дубовыми ножками, начинает кружить на одном месте.

— Роза.

Ее не смущает его молчание. Она топает и сладострастно подпевает не то Козину, не то Лещенко. Ицхак ищет в толпе тонкие косички с бантами, но видит перед собой не Веру, а раздурманенную, чем-то напоминающую самовар Розу, ее полуоткрытые, чувственные губы, пышки щек.

Дамы меняют кавалеров. Кавалеры меняют дам.

Господи, как много с тех пор менялось! Менялись гимны и молитвы, менялись имена (Натан — Николай, Гириш — Григорий, Ицхак — Игорь, Зелик — Зорий), менялись вожди и лакеи, власти и присяги, вероисповедания и столицы, мужья и жены, месторасположение армий и народов, палачи и жертвы. И все это выпало на их долю. Мир-меняла обчистил их до нитки, обменяв их молодость на окопную сырость, тюремную решетку, вынужденное затворничество и вдовство.

Назавтра Малкин проводил Натана в Москву — оттуда Гутионтов полетит в Горький.

— Не люблю, когда до последней минуты провожают. Баба с возу — кобыле легче,— сказал на перроне парикмахер.— Иди домой.

— Ну если тебе так хочется,— сглотнул обиду Малкин.

— Как мне хочется — не получается, к сожалению.

— Привет Балахне... Казарме... Ну и «Амурским волнам». Сходите с Ниной в клуб машиностроителей.

— Если найду ее. Как говорят, либо пан, либо пропал.

— Найдешь, найдешь...

— Ко всем моим бедам мне только танцев на культе не хватает.

— Что ни говори, а мы с тобой тогда по-своему были счастливы. Может, счастливей, чем за минувшие полвека.

— Ничего себе счастье! Без родины, без дома, в полном неведении, что будет с нами, с нашими близкими.

— А родина что нам дала? Что мы, вернувшись, узнали-разведали? Что мы отравители в белых халатах... шпионы... Что во всем виноваты... Если хорошо подумать, то еще не известно, спасла ли нас победа или доконала?

— Меня не доконала. До вчерашнего дня я был счастлив.

— Граждане пассажиры! Скорый поезд Вильнюс — Москва отправляется с первой платформы первого пути.

Ицхак подхватил чемодан и вслед за Гутионтовым метнулся в вагон.

— Снова на фронт еду,— сказал Натан.— Но теперь если что и потеряю, то не ногу. Снявши голову, по волосам не плачут...

Поезд тронулся, Малкин заметался, парикмахер вонзил беспомощный, щенячий взгляд в друга, но колеса крутились все быстрее и быстрее.

— Старый человек, а хулиганите! — мрачно бросила проводница.

— Я сойду... я на первой же остановке сойду,— виновато зачастил Ицхак.

Его ссадили недалеко от Вильнюса — в Новой Вилейке. Совместного пути хватило только для того, чтобы условиться с Натаном о связи: тот звонит каждую среду, а Малкин ему каждую субботу. Оставшись наедине с туго завязанными узелками забот, Ицхак долго и бесцельно бродил по пригороду, утопавшему в садах и в простонародной польской речи. Он корил себя, что не предложил Натану поехать вместе — на первой большой станции купил бы билет и от-

правился с ним в Балахну. Хоть разок куда-нибудь махнуть — ведь он дальше Белоруссии никуда и не выезжал.

Всегда хорошо искать вместе, думал Малкин. Он завидовал Натану; ему, Ицхаку, некого и нечего было искать. Все, что навеки потерял, нашел, а все, что нашел, навеки потерял. Пустота, пустота. Обволакивающая, обступающая со всех сторон.

Завидовал он и Гиршу Оленеву-Померанцу и даже Моше Гершензону. Все они, кроме него, проявляли похвальную настойчивость в достижении своей цели — первый отчаянно сражался за то, чтобы лечь рядом со своими убитыми родственниками, другой чуть ли не костями ложился, чтобы вырваться из этого свинского загона на волю, пусть воображаемую, мнимую.

А что он, Ицхак? Целыми днями в Бернардинском саду землю утрамбовывал, карнавалы воспоминаний со старыми евреями устраивал. Как же ему не завидовать им — да что им, ледащим воробьям под скамейками, тихо шелестящей липе. Кому нужен его шелест? В чем смысл его чириканья? Должен ли он, маленький, неприметный человек, быть иным, чем мир, в котором он живет, и чем время, которое ему против воли навязали? Может, не стоит морочить себе голову и вылушивать из провинции событий смысл? Большинство людей на свете не терзается такими вопросами.

Но если смысла нет, если зря течет река, шумит липа, чирикает воробей, если рождения и убийства — одинаковый вздор, сменяемый в каждом поколении таким же вздором, то какая разница между человеком и лесным волком, для которого логово, корм, самка и есть величайший смысл?

У него, Ицхака, есть логово и в корме нужды нет. И самка — Господь, прости и помилуй — была. И что? Все, что он делал, чем мог гордиться, износилось, распозлось по швам. Может, смысл не в умножении, а в непрерывном вычитании? Можно ли еще что-то из его жизни вычесть?

Домой он вернулся поздно. Свет на лестничной площадке не горел, и Ицхак долго вертел ключом в замочной скважине, пока дверь не открылась. Скрип ее заглушил звонок телефона.

— Квартира Малкина слушает... Ты, что, позже не мог?.. Ну совсем у тебя совести нет... Ну? Какой еще, к черту, воскресник? А-а... Это меняет дело... Как добираться будем? Богач! А кроме нас? Никто... Мне все равно нечего делать.

Ицхак положил трубку, и тоска когтем впиалась в сердце. Боже праведный, только вдвоем остались — он и Гирш Оленев-Померанц. Как в белорусской пуше. Ау, подполковник Савелий Зельцер! Ау, сапожник Абба Гольдин! Ау, ненужные евреи и христиане! Принимаем всех! Приходите!

Впору уже и себя окликнуть как без вести пропавшего. Ицхака захлестнуло предощущение чего-то неотвратимого. Но то была не боязнь смерти — еще на войне Малкин заметил, что, чем больше ее боишься, тем она вероятнее. Может, впервые на своем долгом веку он почувствовал, как темнота поглощает все его существо, часть за частью, член за членом, которые откальваются от него, как льдины от припая, и с этим неосозаемым, безболезненным поглощением Ицхак не был в состоянии бороться. Зажигай свет, не зажигай — ничего не изменится. До других не докричаться, не достучаться, не дотянуться!..

В Понарах бесчинствовала весна — талые воды уносили сор, хвою и жухлые листья. Распоясавшись, пели птицы, и от их пения дрожал воздух. Кое-где из-под земли пробивалась первая травка, еще скромница, еще не сорвиголова. Гирш Оленев-Померанц был в своей рабочей одежде — в синем кладбищенском комбинезоне с накладными карманами и в картузе с загнутым козырьком. У ног его стояло эмалевое ведро с разведенной известью. Флейтист старательно макал в него кисточкой и выводил на деревцах, посаженных им в прошлом году, белые кольца.

— Рано белишь, — произнес не сведущий в садоводстве Малкин. — Дай им подрасти.

— Не рано, — возразил флейтист. — Ты только посмотри, как подрост мой старший брат Файвуш... Как вытянулась моя сестра Хава. Мы с ней близнецами были...

— Ага, — умерял своим соглашательством боль Гирша Оленева-Померанца благоразумный Малкин.

— Солнца маловато,— жаловался тот.

— Солнца тут поровну,— промолвил Ицхак.

Он изнывал от безделья и не мог взять в толк, зачем он понадобился другу — то ли он позвал его на смотрины, то ли на толоку.

— Мама меня беспокоит,— прошептал Гирш Оленев-Померанц.— По-моему, она скоро совсем зачахнет. Надо было посадить ее поближе к дорожке, где намного светлей, а не тут, в тени.

— Родители на старости всегда в тени,— сострил Малкин.

— Может быть. Но мама состариться не успела... Ей было только сорок восемь...

Гирш Оленев-Померанц закончил побелку, схватил ведро, затопал к железнодорожному полотну, зачерпнул в воронке дождевую воду, притащил к своему семейству и стал медленно поливать каждое деревце.

— Когда я сюда прихожу, то говорю себе: «Гирш, постарайся прожить еще десяток-другой, чтобы они,— он благословил взглядом свое семейство,— выросли в три обхвата». Но стоит мне отсюда уйти, как на меня нападает такая хандра! Гирш, говорю я себе, зачем ты высадил деревца там, где их корни переплетаются с волосами твоей матери, твоих сестер? Там, где злодеи на веки вечные обесчестили саму землю, где каждая пядь жжет стопу и вопиет о несправедливости.

— Тем не менее ты их все-таки высадил. Почему?

— Почему? А чтобы своими листьями шелестели и оплакивали себя и эту землю... Не пора ли нам с тобой червячка заморить?

«С ним всегда так,— беззлобно подумал Малкин.— Гиршу Оленеву-Померанцу ничего не стоит перейти от задумчивости к беспечности, от уныния к беспричинному веселью».

Флейтист расстелил на земле большой клеенчатый лоскут и стал выкладывать снедь: булочки с ломтями ветчины, бутерброды с сыром, термос с кипятком, пакетики с фруктовым чаем, консервную баночку, набитую вареными бобами — любимой пищей Гирша Оленева-Померанца, и две бутылки жигулевского пива.

— Ешь! — скомандовал он, вытер о мокрую прошлогоднюю траву руки и принялся уминать ветчину с бобами.

Взял булочку и Малкин.

— Знаешь, что я после отъезда Счастливики Изи решил? — спросил он и сам себе ответил: — Я решил ухаживать за могилой Моше даром. Никто меня не просил. Сынко меня и знать-то не знает. Да черт с ним. Приехал — уехал. Жаль только — бабу увез. Не баба, а соты, полные липового меда. Где он только отхватил такую?

— Египтянка она,— невпопад вставил Ицхак.

— Арабка?

— Еврейка из Александрии.

— Мама миа! Что, Ицхак, ни говори, а лучшее, что наш Господь создал,— это чужие жены.

Он подряд выпил обе бутылки пива, прополоскал последним глотком горло, сплюнул, бросил тару в мусорную урну, выгреб из консервной банки пригоршню бобов, раскрыл рот и стал ими бездумно обстреливать свое небо.

— Да, совсем забыл спросить, что с письмами случилось?

— Кажется, оставил. Последний из квартиры с саквояжем вышел он. Запер квартиру — и адью.

— А твой ключ?..

— Я ему отдал. Зачем мне ключ от чужой жизни?

— Не писал он их, негодяй!.. Ты что, не видел его на кладбище? Ни одной слезинки над могилой отца не обронил. Пес шелудивый и тот на похоронахозяина плачет.

Все было выпито и съедено. Гирш Оленев-Померанц стряхнул с лоскута крошки, свернул его, сунул в авоську, спрятал в малиннике ведро, снова вытер о прошлогоднюю траву руки, подошел к крайнему деревцу, погладил ствол, белое колечко.

— Маму я все-таки пересажу. Пусть греется на солнышке. Она его и при жизни почти не видела: все у печки, все с пеленками, все с шитьем и латанием...

Одиннадцать душ на шее висели...— Он помолчал и еще раз погладил тоненький ствол.— Когда вырастет, я снова у нее на шее повисну. Выберу сук и... повисну...

Автобус в Понары и обратно ходил редко, и они на остановку топали не спеша. Каждый втискивался мыслью в свой закуток, каждый льнул к своему деревцу, каждый гладил свой ствол.

— На родину собираюсь,— тихо сказал Ицхак.— Моше Гершензон обещал со всеми удобствами довезти, да наши дороги разминулись.

— Все разъезжаются,— пригорюнился Гирш Оленев-Померанц.— Моше Гершензон, Лея Стависская, Натан Гутионтов. Он случайно не звонил?

— Звонил. В Горьком ее нет. Он решил отправиться в Иркутск. Там неподалеку в монастыре сестра Нины игуменьей служит. Натан просит немного денег прислать на всякий случай.

— Бедный. Россия громадна, а старость безнога и безденежна. Кочевник из Натана никудышный. В Чингисханы не годится... И вообще зачем еврею вся эта география?

Он закурил, смачно затянулся. Его крупно вырезанные, сладострастные ноздри раздулись, как у племенного рысака.

— Все разъезжаются,— повторил он, глядя с тревогой на Ицхака.— В детстве как-то к нам в местечко цирк приезжал. На рыночной площади огромный шатер к небу взметнулся. Вокруг вагончики с диковинными зверями — слоны, тигры, медведи, ученые собачки, лошадки-пони, медведи. Вся малышня бегала к шатру и выстраивалась в длинную очередь у черного входа перед началом представления, чтобы хоть краем глаза чудо-зверинец посмотреть. Билеты были не по карману.— Гирш Оленев-Померанц вдруг дернулся, прервал рассказ, прислушался.— Это не наш гудит.

Вдали прогремел автобус.

— Так вот,— волнуясь, ухватился за обрывок тянущейся из детства нити флейтист.— Пока музыка не стихала, и я, и мои братья, и мои дружки ни на шаг не отходили от шاپито и ждали, когда зверей поведут обратно. Для счастливых обладателей билетов слоны отплясывали краковяк, тигры прыгали через горящие кольца, ученые собачки изображали хор гимназисток и пели а саpella, фокусники вытряхивали из рукава разноцветные ленты, бусы, ожерелья. Мой старший брат Шая пустился на хитрость: в какой-то вечер он явился с шилом и ножичком и прорезал в брезенте дырку. Как царь свою челядь, он подпускал каждого из нас к глазку только на одну минуточку, мы были на седьмом небе от счастья... Ты можешь спросить, зачем я своими рассказами дурю тебе голову? Страшно, Ицхак, когда все разъезжаются сразу: и слоны, и тигры, и лошадки-пони, и фокусники,— и на рыночной площади остаются только слоновье дерьмо и моча... Ах, если бы можно было сделать так, чтоб музыка не обрывалась внезапно, чтобы исчезновение происходило постепенно — сперва ученые собачки, пони, а потом слоны и тигры, медведи и наездницы с хлыстами, а напоследок фокусники в высоких блестящих шляпах! Какой смысл вырезать в брезенте дырку, за которой ничего нет... Не уезжай, Ицхак, прошу тебя...

— Ты так просишь, будто боишься, что не вернусь.

— Боюсь, боюсь. Честное слово. У меня был попугай. Вылетел в окно, прокричал: «До свиданья, Гирррш!» — и не вернулся.

— Да, но я не попугай...

— Господи, как хочется захлопнуть все окна... чтобы мы еще... хотя бы точку вместе... полетали...

В глазах у Гирша Оленева-Померанца тревоги было больше, чем зрения.

— Скоро полвека, как я там не был...— растроганно промолвил Малкин.

— Подумаешь, не был. Ну и что? Я в свой Слуцк ни разу не съездил. И не поеду.

— Тяжело, конечно, ездить на пепелища.

— Жизнь моя уехала оттуда, как цирк в детстве. Приезжала раз и уехала.

Пришел автобус. Кроме них, ни одного пассажира не было...

Натан Гутионтов больше не звонил, не тратился на звонки и Малкин. Пока парикмахер доберется до Иркутска, пока уговорит Нину, чтобы не постриглась в монахини, а вернулась в Вильнюс, пройдет не одна неделя. Нечего звонками тревожить и Ларису — там у них и так тревога по всей стране, от Средиземно-

го моря до Красного, и отбоя не предвидится. Малкин сходил в сберкассу, заплатил за два месяца вперед за квартиру, проверил, не задолжал ли за газ и электричество, за воду и телефон, и в тот же день поездом Вильнюс — Рига отправился к себе на родину. До родины было недалеко, четыре часа езды, и духота в старом, облупленном вагоне не успела его довести до полного изнурения.

Прислонившись лбом к студеному оконному стеклу, словно Гирш Оленев-Померанц в детстве к натянутому на высоких опорах брезенту, Ицхак следил за бегущими вдоль железнодорожного полотна деревьями и, уподобляясь фокуснику, вытряхивал из рукава все, что было, и все, что будет. Рукав был такой же ширины, как излучина Вилии, на которой — ни дать ни взять цыганский табор — гудело лавками, дымило пекарнями, дышало кузнечными мехами, отсвечивало лудильными паяльниками и портновскими иглами, пахло сырмятными ремнями, звенело уздечками, перекатывалось бондарными обручами родное местечко.

Первой из рукава выползла разноцветная лента проселка. Ицхак шагал по нему вольно и уверенно — короткостриженный, в высоких армейских ботинках, изготовленных в Чехословакии, в выглаженной уланской униформе, наصистывая бравурную песенку; солнце пригревало его кудри, которые грачиной стаей чернели на голове; в солдатском ранце вместо маршальского жезла лежали подарки строгого командира (за примерную службу!) — блестящие шпоры и новехонькая уздечка. Он был первым евреем в местечке, которого так одарили, и его распирало от гордости.

Вслед за проселком из рукава вылетела стремительная, как ласточка, Эстер с пирогом на вытянутых руках, словно на свадебном подносе. За Эстер высыпали на проселок братья Айзик и Гилель, боявшиеся воинской службы как огня и тайно мечтавшие от нее укрыться за небоскребами в Америке.

За Айзиком и Гилелем из рукава кряхтя выбрались отец Довид и мать Рахель, благочинный рабби Мендель и его пушистый кот, сопровождавший своего хозяина и на амвон-биму, и в нужник. Кот трубно на всю округу мяукал. До поры до времени в рукаве теснились мельник Мордехай Гольдштейн, лавочник Беньямин Пагирский и бургомистр Меделинскас, поспешивший поздравить на проселке Ицхака с успешным окончанием службы на благо отечества. С проселка Ицхак свернул к синагоге. Там негде было яблоку упасть. Услужливый староста Шперлинг бросился к отслужившему улану и спешно заменил фуражку с государственным гербом на вышитую кипу.

Выскочивший из рукава Ганс Хагер, устроившийся на запястье, как на дереве, щелкнул фотоаппаратом, и белая вспышка озарила не только передние ряды, где восседала вся местечковая знать, но и задние, где Счастливики Изя чмокал в щеку свою египтянку Варду, Натан Гутионтов держал за руку, как за поводок, не постригшуюся в монахини Нину, Гирш Оленев-Померанц тайком прикладывался к чекушке, нищие всей округи терпеливо ждали подаяния (кто подаст, тот и Машиах).

Старательный немец из Тюрингии щелкал и щелкал, и дружелюбная улыбка светилась на его лице. Он все снимал крупным планом — и родинки на лице Эстер, и призывно позвякивающие серьги Варды, и запеченное в мучную пудру лицо мельника Гольдштейна, и синий комбинезон Гирша Оленева-Померанца, только-только пересадившего свою маму из прохладной, невыгодной тени на выгодную, солнечную сторону.

И вдруг все затянуло, засосало обратно в рукав. Только река, только коровы, пасшиеся на прибрежных лугах, только пчелы, залетевшие сюда словно из рая, только птицы, усыпающие деревья, не подчинялись никакому колдовству, ибо сами были чудом. Ицхак опустился на косогор и усталился на спокойное течение Вилии, и в один миг исчезло ощущение времени и возраста; прошлое, настоящее и будущее слились воедино, сочленились детство и старость, цветение и увядание.

Послесловие

— Один из героев вашего романа говорит о том, что весь мир — одна могила: «Как от других ни отгораживайся, а дотлевать приходится всем в одной земле». Почему вы обратились именно к такому трагическому образу единения людей на нашей Земле?

— Ни к чему, по-моему, человечество так быстро не привыкает, как к статистике жертв, и ничто с такой легкостью не усваивает, как расхожие понятия, к которым многие обычно прибегают в траурные, прискорбные для того же человечества годовщины. В самом деле, чье воображение может сегодня поразить неоднократное повторение восьмизначных цифр, сухо и деловито свидетельствующих о последствиях второй мировой войны и проходящих в замшелом массовом сознании под рубрикой «Потери»?

Человечество, занятое своими делами, порой такими же кровавыми, как в давнем прошлом (Босния и Герцеговина, Чечня), спокойно садится завтракать и смахивает с полушария, ведающего в мозгу памятью, совершенные злодеяния, горы трупов и братские могилы, как смахивают салфеткой с губ прилипшие крошки, — мол, все это, господа, давным-давно утратило свою актуальность, лишилось живого смысла.

Может быть, поэтому и чудовищная вторая мировая война, и напрямую связанная с ней тема исчезновения восточноевропейского еврейства с его многовековыми ценностями все больше уходят в тень. Образно говоря, центр тяжести из эмоциональной сферы, являющейся генератором всех страстей, всех разноречивых взглядов на прошлое, настоящее и будущее, переносится в плоскость скрупулезных подсчетов, окрашенных в политические тона калькуляций, перемещается с улиц и площадей в тихие, почти священные залы музеев, куда, как известно, ходят только любознательные зеваки и избранники духа.

Возможно, в моих словах есть доля преувеличения, столь свойственная литератору, воспринимающему мир не по-бухгалтерски, не отстраненно, а так, как будто все несчастья во все времена произошли и происходят с ним.

Спору нет, наличие памятников и музеев, выпуск книг и появление фильмов о потонувшей Атлантиде, о популяции, насчитывавшей, если брать только Литву и Польшу, около четырех миллионов, — вещь весьма отрадная. Особенно отрадная в сегодняшнем, как бы вывороченном наизнанку мире, где неуклонное повышение среднего уровня равнодушия ни у кого уже не вызывает удивления и где сомнительный и небезопасный принцип «Не высовываться, пока убивают, слава Богу, не нас, а других» находит на всех континентах больше сторонников, чем противников.

Но почему, спрашиваю я, будучи одним из тех, кто тридцать пять лет своего творчества посвятил попыткам увековечить моих предков, трудолюбивых портных и каменотесов, печников и горшечников, почему я, кроме чувства благодарности к каждому, кто запечатлел хоть один миг, кто зажег хоть одну звездочку на потухшем, как растоптанный костер, небосклоне, испытываю что-то похожее не то на горечь, не то на тревогу? И тревожусь я вовсе не потому, что еврейские музеи открыты не в каждом городе Литвы и Польши, — храмов испокон веков было меньше, чем мясных лавок и булочных, хотя, чего греха таить, и тут, и там приторговывали. А совершенно по другой причине.

По правде говоря, я долго ее скрывал от самого себя, полагал, что у нее нет сколько-нибудь серьезного основания. Но, чем чаще я заходил в музеи, чем ниже склонял голову, стоя у какого-нибудь памятника, чем больше читал романов и смотрел фильмов, тем упорней долбила виски одна кошунственная мысль. Кому нужны все эти музеи и памятники, эти картины и книги? Кому нужны эти печальные, вполсилы светящиеся огоньки на усыпанном новыми, молодыми и яркими светилами небосклоне? Мертвым они, естественно, не нужны.

— *А живым?*

— Еще совсем недавно я пребывал в полной уверенности, что живым они нужны все-таки. Но моя вера — прежде всего вера в необходимость собственного труда — вдруг дала трещину. И началось это еще тогда, когда я жил в Литве, а продолжилось и углубилось в Польше, Чехии, Израиле.

В Литве, где во время войны было убито около двухсот тысяч ни в чем не повинных евреев, на мемориальные места их массового захоронения в овечьих глупой печальной юбилейные дни приходят только узники гетто и концлагерей со своими семьями и на черных лимузинах приезжают государственные деятели с государ-

ственной скорбью на лицах, а в будни сюда после сытного ленча привозят туристов. Но в местах массового уничтожения евреев — в Панерях или на Девятом форте — вы редко встретите человека другой — нееврейской — национальности; вы редко тут увидите школьников, студентов, рабочих или служащих.

Такая же картина в Польше. Мне не раз приходилось бывать в Кракове и Люблине, посещать близлежащие Плашув, Освенцим и Майданек. Что-то я не заметил, чтобы там было полно поляков. Зато в глаза мне бросилось другое — в Плашове на неухоженном памятнике школьным мелком было выведено: «Евреи, вон из Польши!» К кому анонимный сочинитель обращался, для меня осталось тайной до сих пор. Вокруг, если не считать меня, ни одного еврея не было. Может, к мертвым?

Не лучше обстоит дело и в других странах Восточной Европы, в том ареале, где столетиями — несмотря на преследования и гонения — традиционно обитала основная масса еврейского народа.

— *Белоруссия, потерявшая в войну каждого третьего своего жителя, включая и грудных младенцев, должна была стать по планам гитлеровцев пустошью для выращивания кок-сагыза. Но братские могилы там не утопают в цветах. Миллионы погибших русских и возникающие в России фашистские организации, красные кхмеры... Видимо, губительная короткая память — это проблема всего человечества?*

— Я далек от мысли призывать тот или иной народ бросить все свои дела и переклочить все внимание на нас, на наше наследие, на нашу боль... Нельзя требовать от человека, чтобы он каждый день ходил на кладбище. Особенно на чужие могилы.

Справедливости ради надо отметить, что мы и сами этого не делаем. Мало того. И мы тут, в Израиле, на мой взгляд, нередко относимся к тому, что называется восточноевропейской диаспорой, предубежденно, без должного уважения. В лучшем случае — снисходительно. В сознании многих израильтян, выросших в свободной стране, восточноевропейское еврейство кажется если не нонсенсом, то далекой планетой, на которой когда-то жили униженные и дрожащие от каждого стука в дверь существа, почему-то называющиеся их братьями.

Спору нет, дань памяти миллионам погибших тут воздается — в день Катастрофы во всей еврейской стране замирает на несколько минут движение и вой сирены, как вопль всех сожженных и расстрелянных, объединяет всех и на те же несколько минут возвращает туда, в те неведомые, опустошенные, почти ирреальные, но когда-то, до Катастрофы, плодоносившие пределы; существует уникальный Музей диаспоры — «Яд Вашем», где собраны бесценные документы и сведения и в котором каждый желающий может при помощи компьютерной техники побывать на родине своих предков, сходить в местечковую синагогу, узнать о всех своих истребленных родственниках. Но как жаль, что и туда не приходят — туда приводят (я говорю не о средствах передвижения, а о мотивации, о внутренней потребности).

— *Вы пишете об истории еврейского народа более тридцати лет, но, побывав в разных странах, вы убедились, что равнодушие все более овладевает людьми. Что же может сделать литература?*

— Литература как одна из форм публичного проявления общественного сознания не может не учитывать эти безотрадные сдвиги, это несомненное затухание интереса к прошлому вообще и к прошлому восточноевропейского еврейства в частности.

Ничего не поделаешь, читатель неподсуден, и время на скамью подсудимых не посадишь. Приходится утешать себя тем, что спрос на настоящее всегда превышал потребность в том, что принято называть прошлым. Особенно если оно, это прошлое, залито кровью и застлано тучами пепла. Однако было бы непростительным малодушием поднимать вверх руки. Ведь должен же кто-то оставаться и с мертвыми, сторожить их покой, ибо одиночество мертвых порождает отчужденность и вражду живых.

Отчаяние порой утраивает силы. Надо писать, надо ваять, надо снимать фильмы, строить новые музеи, не отрекаться от своего прошлого, чтобы все знали, кто такие были, есть и будут евреи и что они не пасынки человечества, а его родные сыны.

Я знаю, что никакая книга не в силах возродить то, что стерто с лица Земли, проще говоря — воскресить из мертвых. Но литература может и должна помочь каждому человеку независимо от его национальности и героического поведения в непреклонности заповеданной нам библейской истины: что на свете нет больших ценностей, чем любовь к ближнему и памятливые уважение к его трудам и могилам.

И проступает след...

* * *

Ломкий лед на стекле,
как оклад на иконе.

За стеклом лик Дающего
напоминанием
над землею язычников —
в пол небосклона...

Ломтик жизни лежит
на огромной ладони,
словно солью, усыпанный
густо сиянием...

Но не видно берущих.

* * *

К утру окно
в прожилках голубых,
по потолку
струится свет проточный.
И проступает след
перста судьбы
на испещренных
буквами листочках.

Иерусалим

Лохмотья крикливых базаров
и запах лимонов прогнивших
разбросаны по тротуарам.
Горячие плоские крыши,
текущие солнцем и потом,
прорезали лысые горы.
Царица евреев Суббота
вступает в сияющий город.

Все небо сгибается плавно,
как свод синагоги, и снова
под ним в колыбели из камня
качается Божие слово.



И. Б. ЛЕВИН

Гражданское общество и Россия

Понятие гражданского общества относится к числу совсем недавно вошедших в наш обиход — отчасти этим можно объяснить его малую укорененность. По-видимому, даже без специально проведенных опросов можно утверждать, что это понятие все еще пребывает в нашей стране на довольно далекой периферии массового сознания. Тем самым, однако, судьба уберегла — пока — «гражданское общество» от той печальной участи, которая постигла такие понятия, как «демократия» и «рынок». Неумеренное и неосмотрительное их использование, а главное — контраст между возбужденными этими словами ожиданиями и той действительностью, которая явилась под их оболочкой, привели к тому, что «демократия» и «рынок» приобрели устойчиво негативную окраску в глазах едва ли не большинства россиян. С «гражданским обществом» этого (еще) не произошло, но гарантий на будущее нет.

Было бы любопытно проследить (например, с использованием контент-анализа) историю употребления термина «гражданское общество» в России за годы с начала перестройки. На первых порах это делали с оглядкой, сопровождая обязательным эпитетом «социалистическое» (1). Потом стали понимать все смелее и чаще: с пылкой надеждой на выход из мрака тоталитаризма на лучезарные просторы свободного, самоуправляющегося и «самонастраивающегося» общества, но без сколько-нибудь ясного понимания, о чем идет речь. Определения гражданского общества той поры часто походили больше на описание то ли анархистского андеграунда, то ли «неформальной экономики» («гражданское общество есть желание и способность людей жить вне решений властей») (2). Можно было услышать, что заменой гражданскому обществу может служить нация: мол, ту полноту человеческих отношений, которые индивид ищет в гражданском обществе, ему способно дать окружение соплеменников и т. д. Вероятно, это и было одной из причин, по которым публицистическая мода на гражданское общество довольно скоро пошла на убыль.

Как минимум прохладно отношение к гражданскому обществу и правящих политиков (у оппозиционных национал-патриотов оно изначально было не в чести). В сознании «верхов» гражданское общество, по-видимому, ассоциировалось с представлениями о неуправляемой социальной стихии, если не прямо с бунтом (в памяти администраторов, особенно из недавней номенклатуры КПСС, вряд ли стерлись воспоминания, например, о том, как в 1989 г. протестом экологистов был сметен первый секретарь обкома в Самаре, и некоторые другие сходные эпизоды).

Во всяком случае, в правительственных декларациях, в трактовке лозунга «Стабильность!» «партий власти» во время парламентской кампании 1995 г., да и в выступлениях самого президента Б. Ельцина, упоминания о гражданском обществе отсутствуют: его нет ни как ценности, ни как перспективы. В свою очередь, от лидеров «новой волны» (вспомним хотя бы А. Лебеда) можно услышать, что гражданское общество — если не блажь, то по крайней мере роскошь, которую могут позволить себе только тучные страны Запада, но не Россия. Похоже, позиция всей правящей политической элиты в целом выражает своего рода молчаливое согласие с «отторжением завязей гражданского общества» (М. Гефтер).

Допустим, что политиков можно понять. Но вот что пишут вполне академические специалисты: «Длительное подавление гражданского общества существовавшими политическими институтами определило неуправляемый, часто разрушительный характер возрождения демократии в России, вытеснение в сферу стихийного, где единственно возможным способом существования были формы протеста, придало формирующемуся гражданскому обществу конфликтный, агрессивный характер. Оно оказалось ориентированным прежде всего на уничтожение созданных ранее социальных институтов как объективаций сознательного («несвободы») и поощрения стихийных тенденций общественного развития («свободы»). Однако нарастающее господство стихийного во всех сферах общества ныне так же губительно сказывается на формировании и функционировании элементов гражданского общества, как когда-то абсолютизм сознательного» (3).

Гражданское общество неактуально, так как оно помеха с огромным трудом воздвигающемуся зданию российской государственности — примерно так можно синтезировать суть этих и множества других публицистических и научных выступлений последнего времени. Примечательно, что ни на учредительном заседании Академии политической науки, ни на первом заседании Научного совета РАН по проблемам политологии (то и другое летом 1995 г.) гражданское общество, судя по опубликованным отчетам, даже не упоминалось в числе необходимых объектов изучения (4).

Сказанное относится не только к России. На всем пространстве бывшего «соцлагеря» гражданское общество — идеальная конструкция и практика — наталкивается на неприятие политиков (для революционно мыслящих радикал-демократов оно слишком расплывчато и постепенно, в глазах «чистых» либералов, или элитарных демократов, подозрительно отдает популизмом, у националистов вызывает раздражение тем, что «дробит» и отвлекает в сторону общественную энергию, и т. д.) и одновременно не получает достаточной укорененности/массовой поддержки со стороны населения.

Некоторые авторы при этом предполагают, что указанный кризис закономерен как итог первой фазы в осмыслении и становлении гражданского общества и предвещает в дальнейшем новый виток восхождения. Возможно, но тем настоятельней необходимость понять причины отмечаемой (при) остановки. Не претендуя на строгость, можно выделить, по-видимому, примерно такие варианты объяснения:

— в процессе осмысления/освоения традиционной, т. е. западной, «модели» гражданского общества на постсоветской почве были совершены ошибки и допущены отклонения (типа тех, что инкриминируются Гайдари по поводу экономических реформ), которые исказили конечный результат;

— гражданское общество, т. е. его единственно известное, западное воплощение, в принципе не подходит России, ибо является плодом, выросшим на совершенно иной, чуждой почве в результате совсем иного, чем наше, многовекового — постепенного и стихийного — развития;

— гражданское общество есть лишь идеалтипическая конструкция: в лучшем случае — некая идеологизированная отвлеченность, в худшем — миф; все попытки его определения и отграничения не случайно вязнут в паутине переплетающихся различий и оговорок, самое большее — знаменуют приближение к цели, ускользающей, как линия горизонта;

— гражданского общества, о котором мы спорим, уже не существует; к моменту, когда эта проблематика актуализировалась на постсоветском пространстве, оно претерпело столь существенные перемены, что ныне его облик, структуры, природа стали совсем иными, чем прежде.

Возможны также комбинации этих вариантов или их частей. Более того, накопление эмпирического и аналитического знания о предмете порождает больше вопросов, чем ответов. Есть риск, что необходимые упорядочение и систематизация смыслов, элементов содержания, интерпретаций того, что мы называем гражданским обществом, способны обернуться своего рода «игрой в бисер».

С учетом всего этого данная статья представляет собой попытку обзора проблемы с трех точек зрения:

1) исторически-теоретической обоснованности понятия «гражданское общество» и степени его методологической годности для практического (политического) целеполагания;

2) принципиальной применимости понятия к разным этнокультурным (цивилизационным) контекстам;

3) изменений самого понятия (его отдельных характеристик, параметров) в современных условиях тех стран, где, собственно, и произошло его рождение.

В треугольнике: государство — общество — гражданин

Литература о гражданском обществе безбрежна, подходы к его определению многомерны. К счастью, ныне в нашем распоряжении имеются обобщающие работы и пособия, которые позволяют охватить картину в целом. С опорой на них (5) можно попытаться пунктирно прочертить след, оставленный усилиями мыслителей, бившихся над определением понятия «гражданское общество». Первое, что обращает на себя внимание в этой траектории, — это ее изломы, резкие переходы от одной позиции к другой, диаметрально противоположной, по главному вопросу: о соотношении государства и гражданского общества.

Напомним, что, хотя исходные категории в осмыслении гражданского общества заимствованы из обихода Древней Греции и Древнего Рима — «*politeia*» (греч.) и «*societas civilis*» (лат.), — самого этого явления в античном мире не было и быть не могло. «Полития» — по определению — представляла собой нерасчленимо слитное существование общества и государства, гражданина и политика. Не знало этой категории и феодальное общество с его концепцией «органицизма», обеспечивавшей цельность социума, в недрах которого, впрочем, уже вызревали субъекты будущего гражданского общества: структуры самоуправляющихся городов-коммун, купеческие гильдии, ремесленные корпорации, монашеские ордены и т. д.

Отец современной политической науки Н. Макиавелли практически соприкасался с такого рода образованиями, но мыслил еще, как и подобает человеку эпохи Возрождения, категориями «республиканских добродетелей» («*virtù repubblicane*»). Предтечи современной теории государства Т. Гоббс и Г. Гроций придавали огромное значение договоренностям между частными лицами — членами общества, но именно признание автономного существования множества носителей разнонаправленных воли и интересов было для них главным доводом в пользу непререкаемого главенства государства над обществом.

Как вполне различимая самостоятельная политическая категория гражданское общество рассматривается Дж. Локком. Более того, в «Двух трактатах о государственном правлении» Локк, по существу, признает за государством лишь тот объем полномочий, который санкционирован общественным договором между гражданами, сообщающимися между собой — в рамках закона — по собственному разумному выбору. В принципе подобные воззрения были типичны для мыслителей эпохи Просвещения, наиболее пристально анализировавших интересующее нас соотношение: Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Хатчесона, А. Фергюсона и др. Поразному интерпретируя, аргументируя, детализируя положение о гражданском обществе как источнике легитимности государства, они сходятся на признании верховенства гражданского общества над государством.

В отличие от этих предшественников, чьи идеи готовили почву для революций в Америке и во Франции, Г. В. Гегель отталкивался от несовершенства и ограниченности человеческих интересов и отношений в гражданском обществе. Абсолютная свобода в гегелевской системе получала воплощение лишь в Государстве, которое соотносилось с гражданским обществом, как небо с землей.

К. Марксу либеральная традиция (как, впрочем, и «марксизм-ленинизм») приписывает полное опрокидывание построений Гегеля. Поскольку центральное место в теории исторического материализма заняли производственные отношения, гражданское общество — в такой трактовке — оказывалось просто синонимом базиса, детерминирующего надстройку — государство. «Небо» и «земля» в очередной раз поменялись местами.

В действительности мысль Маркса была не столь плоской. В его анализе (если иметь в виду зрелого Маркса и не ограничиваться несколькими расхожими цитатами) гражданское общество — это та сфера, в которой постоянно происходит превращение, взаимопроникновение буржуа в гражданина и наоборот. Не случайно решение проблемы гармонизации частных и общественных интересов, индивида и социума — решение, которое современники и предшественники искали для наличного общества, — Маркс переносил в неопределенное будущее, «синхронизируя» преодоление (буржуазного) гражданского общества и исчезновение государства как такового (а стало быть, и власти, и политики).

С высоты сегодняшнего дня теоретический спор о дихотомически-иерархическом соотношении государства и гражданского общества, занявший XVIII и XIX века, возможно, несколько отдаст схоластикой. Приведенный здесь в телеграфно

кратком пересказе, он тем не менее может быть полезен хотя бы как напоминание об историзме: меняющейся, преходящей природе рассматриваемого явления, заставляющей даже самых пылких приверженцев приоритета гражданского общества признавать, что оно не вечно, что в современном мире, где выживание социумов определяется в первую очередь по признаку экономической эффективности, «неясно, как долго еще либерализм и гражданское общество продержатся в фаворитах» (6).

«Зигзаги» теоретического спора интересны также тем, что отражают не только историю теории, но и — что существенней всего — историю самого гражданского общества, насквозь пронизанную острыми конфликтами, кризисами, наконец, сокрушительными политическими революциями. Это константа эволюции гражданского общества, не подлежащая забвению и нисколько не отменяемая тем обстоятельством, что в унаследованных нами представлениях о нем (по существу, сложившихся в таком виде к концу XIX века) оно выступает как самый действенный фактор интеграции общества, его «сплочения» с государством.

Разработку понятия «гражданское общество» трудно представить себе без вклада последнего из крупных мыслителей марксистской ориентации — А. Грамши. Распространено даже мнение, что именно к его «Тюремным тетрадам» восходит та трактовка гражданского общества, на которую наука опирается вплоть до наших дней. В этой трактовке получил свое первое осмысление драматический опыт «введения» в XX век: мировой войны и революций, гражданской войны и «победы социализма» в СССР, «великой депрессии» и распространения фордизма, антикризисного регулирования и утверждения тоталитарных режимов. В свете этого опыта по-новому оказались прочерчены сами границы гражданского общества: как по отношению к государству, так и по отношению к экономике. «**Между** (подчеркнуто мною. — И. Л.) экономическим базисом и государством с его законодательством и его принуждением находится гражданское общество (7, р. 1253). Но такая «промежуточность» не означает ни пассивности, ни нейтральности. Гражданское общество воспринимает и преобразует «сигналы», посылаемые экономикой, делая их внятными для государства, и одновременно активно опосредует «правила игры», устанавливаемые государством. При этом гражданское общество выполняет эти функции органичной, «деликатней», чем жесткие структуры государства. Для парной формулы «политическое общество (государство) и гражданское общество» Грамши подбирает следующий синонимический ряд: «сила и согласие, принуждение и убеждение, государство и церковь, политика и мораль,.. право и свобода, порядок и дисциплина» и даже (с «анархическим оттенком», как он сам оговаривается) «насилие и обман» (7, р. 763; см. также р. 868).

Современник начала превращения классово структурированного общества в общество массовое, Грамши определял совокупность институтов гражданского общества как своего рода «второе», или «резервное», государство, способное гарантировать целостность социума даже в условиях катастрофического национального кризиса. Об этом говорит его анализ различий ситуации 1917—1920 гг. в России и западноевропейских странах: «На Востоке государство было всем, а гражданское общество пребывало в первородном и студнеобразном состоянии; на Западе между государством и гражданским обществом существовало верное соотношение, и при дрожи государства сразу же обнаруживалась крепкая структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, за которой находилась прочная цепь крепостей и казематов» (7, р. 866).

Это ставшее хрестоматийным определение обычно интерпретируется как свидетельство того, что Грамши — в противоположность Ленину, отстаивавшему возможность взятия политической власти до и без завоевания гегемонии в гражданском обществе, — уделял этой сфере первоочередное значение как полю развертывания революционной практики. Дело, однако, не ограничивается этим. Если вдуматься, грамшианская формула предвосхищает ту проблему, которая окажется в центре дискуссий о гражданском обществе к концу столетия. Для простоты ее можно выразить в виде дилеммы — кого и от кого защищает гражданское общество: государство от граждан или граждан от государства?

Здесь следует напомнить, что на протяжении большей части XX века гражданское общество будто выпадает из аналитического поля обществоведения, чтобы вернуться в него лишь в 70 — 80-е гг. Фиксируемая многими авторами эта «странность» имеет вполне постижимые причины. XX столетие стало временем беспрецедентной экспансии государства в сферы частной жизни граждан. Даже если оставить в стороне крайние — тоталитарные — формы этой экспансии, нельзя не заметить, что она происходила практически по всему региону развитых стран.

Сущностным содержанием этого процесса (динамика которого не в последнюю очередь определялась «соревнованием двух систем») было переосмысление понятия гражданских прав. Гражданство (citizenship) наполнялось социальным содержанием, превращаясь в юридически закрепленное право гражданина (entitlement) на получение некоей услуги — бесплатного образования, медицинской помощи, пенсии и т. д. — от государства.

Строительство «социального государства» (welfare state) широко развернулось после второй мировой войны. Особенно сильный импульс оно получило на рубеже 60 — 70-х гг., когда мир стал свидетелем беспрецедентно мощного — для периода «нормального» развития — выброса энергии социального протеста: забастовочных кампаний, антивоенного движения, «молодежного бунта», формирования массовых «контркультурных» потоков и т. д. Именно началом 70-х гг. исследователи датируют момент полномасштабного развертывания «социального государства» (за критерий берется увеличение доли социальных затрат до 60 и более процентов государственных расходов) в большинстве западных стран.

Однако функционирование структур «социального государства» и связанный с этим рост масштабов перераспределения средств через бюджет повлекли за собой хорошо известные негативные последствия. Одним из них стал «фискальный кризис», рост бюджетного дефицита. С другой стороны, расширилась зона иждивенчества, ослабли стимулы к напряженному труду, конкурентной борьбе, стала ухудшаться социодемографическая ситуация. На этой почве в 70 — 80-х гг. развернулось неоконсервативное (по другой терминологии, неолиберистское) контрнаступление, питавшееся идеями таких теоретиков либерализма, как Ф. Хайек, Л. Мизес, Р. Нозик и др., и получившее наиболее выразительное практическое воплощение в правительственной деятельности таких государственных руководителей, как М. Тэтчер и Р. Рейган.

Именно с этой попыткой отразить экспансию этатизма, с усилиями внедрить в массовое сознание лозунг «Больше рынка, меньше государства!» и связано «воскрешение» интереса к проблематике гражданского общества. Если в начале века гражданское общество сыграло роль щита для государства, которому угрожала революционная социальная стихия, то к концу столетия его мобилизация имела целью защитить свободу индивида от ставшей «чрезмерной» опеки государства: его компенсирующих акций (affirmative actions) — когда, например, как в США, вводятся квоты, жестко резервирующие рабочие места для женщин, негров, инвалидов — и вообще всякого рода «асимметричных вмешательств» (Р. Дарендорф), призванных гарантировать реальное равноправие менее зажиточной части граждан.

Существует и другой мотив, также, впрочем, берущий начало от социального взрыва на рубеже 60 — 70-х гг. В середине десятилетия 70-х интерес к гражданскому обществу возрождается одновременно в диссидентской среде восточноевропейских стран и неомарксистских кругах Латинской Америки и Южной Европы, т. е. там, где ощущался более или менее острый дефицит демократии. Дискуссии на эту тему не просто обогащали теоретический арсенал борцов с авторитарными режимами, но и питали быстро набиравшие вес общественно-политические движения («Солидарность», «Хартия-77» и т. п.).

Разумеется, есть немалые различия между борьбой за демократизацию общественно-государственных порядков в странах «реального социализма», в условиях военно-диктаторских режимов (Греция, Испания, Бразилия) или в такой стране «блокированной демократии», как Италия. Однако с более общей исторической точки зрения речь идет как бы об одном потоке. Сливаясь и переплетаясь, две тенденции — которые условно можно обозначить как «правая» (неоконсервативная) и «левая» (радикал-демократическая) — дали жизнь беспримерно широкому социальному экспериментированию в «пространствах» гражданского общества. Семидесятые—восьмидесятые годы стали временем возникновения новых общественных движений, необычных форм общественно-политической мобилизации (партии-движения, партии-«сети», партии-«антипартии» и т. д.), развития так называемого третьего, или альтернативного, сектора экономики (предпринимательство без цели получения прибыли, ассоциации самопомощи и многое другое), разработки — нередко с последующим законодательным оформлением — принципиально новых социально-этических норм и т. д.

Итог такого развития, предстающий взору в 90-е гг. после поражения Р. Рейгана и М. Тэтчер, после распада СССР и конца «биполярного мира», весьма специфичен и, похоже, пока не получил удовлетворительного концептуального оформления. С одной стороны, государство не только консолидировало, но и расширило свои «завоевания» на «территории» гражданского общества (фактически сохранив

структуры «социального государства» и дополнив их нормами и механизмами контроля над гражданами, например, ради противостояния терроризму). С другой — гражданское общество энергично вторгается в пределы государства, навязывая ему институционализацию совершенно новых ценностей и норм (например, множество запретов и ограничений экологического характера, требования кодекса «политкорректности» и т. п.). Можно сказать, конечно, что гражданское общество тем самым лишь выполняет свою естественную функцию: выявлять вызревающие в недрах социума запросы и транслировать их — через политические партии — на уровень государственных институтов, обеспечивая первичную общественную мобилизацию в их поддержку. Однако, когда силу нормы приобретают инициативы заведомо миноритарных групп (акты, легитимизирующие права сексуальных меньшинств, некоторые формы девиантного поведения, неоправданные ограничения в быту и т. д.), приходится говорить о качественно новом переплетении и взаимообусловливании структурных и функциональных характеристик гражданского общества и новой конфигурации его отношений с государством, плохо укладывающейся в ложе старых представлений, ограничивающихся «совокупностью независимых от государства социальных акторов и каналов коммуникации» (8). Сохраняя внутреннюю диалектичность своих отношений, связка государство — гражданское общество, можно сказать, вышла на качественно новый уровень — уже не симбиоза даже, а своего рода взаимного прорастания.

К этому, впрочем, мы вернемся чуть позже. Пока же отметим, что у некоторых западных исследователей, наблюдающих за процессом освоения новых форм жизнеустройства в странах Центральной и Восточной Европы и России, возникает в этой связи небезосновательное предположение о некоей подмене понятий: то, что нам представляется категориями гражданского общества, на самом деле просто совокупность организационно-институциональных форм, призванных обеспечивать функционирование демократии (9, pp. 117, 124 и др.). Демократия и гражданское общество между тем далеко не одно и то же. Демократия с ее стержневым принципом главенствования большинства представляет собой свод процедур, позволяющих устанавливать «правила игры», в которых этот принцип реализуется без попрания прав меньшинства. В этом смысле демократия может быть установлена и там, где гражданского общества не существует (избитый пример — введение американцами демократического конституционного строя в Японии). Гражданское же общество нигде и никому не дано было «учредить». Оно вырастает — постепенно и спонтанно — из корней, которые лишь отчасти можно описать в функционально-институциональных терминах. И когда, скажем, даже такой просвещенный политик, как Е. Гайдар, полагает, что за считанные месяцы можно «сформировать дееспособные политические и экономические институты гражданского общества» (10), невольно возникает подозрение, что и на новую действительность мы не разучились еще смотреть сквозь призму райкомовских представлений о партстроительстве.

Все мы, конечно, в большей или меньшей мере оказываемся в положении китайского императора из андерсеновской сказки (помните: «Замычала корова. «Это соловей?» — спросил император») и нуждаемся в ясных, по возможности не слишком заумных описательных категориях, которые бы позволяли «узнавать в лицо» институты гражданского общества среди нескончаемо разнообразной массы социальных явлений. Однако добиться этого непросто. Возьмем, например, такой надежный, казалось бы, признак наличия (или отсутствия) условий развития гражданского общества, как способность социума к самоорганизации. Ограничься мы только этим — и сразу возникает риск, что передовыми по части «выращивания» гражданского общества окажутся регионы наибольшего распространения организованной преступности. Речь должна идти поэтому о самоорганизации как творческом процессе, где под творчеством понимается поступательное движение, раздвижение горизонтов, преодоление косной инерции. Модель же воровской шайки или гангстерской «семьи» отсылает вспять: в архаику, в пещеру, в джунгли.

Сложнее с организациями, которые, не вступая в открытый конфликт с законом, ограничивают права граждан на почве национальных или, допустим, сословных отличий. Почему закрытый аристократический клуб в Англии признается принадлежностью гражданского общества, а кастовые структуры в Индии — нет? Можно ли причислить к гражданскому обществу ку-клукс-клан? А «Память»?.. Критерий самоорганизации усложняется, обрастает уточнениями и поправками, среди которых определяющими выступают направленность и цели, в конечном счете — мотивы, по которым создаются те или иные ассоциации.

Между тем мотивация — категория психологическая, элемент сознания. Американское общество, описанное А. Токвилем (и принимаемое многими за эталон

гражданского общества), отличалось не просто повышенной способностью стихийно структурироваться в группы, объединения, коллективы по водоразделам самых разнообразных интересов, но и тем, что получало при этом санкцию со стороны религиозно-этических норм, коренившихся в глубинных пластах его культуры. Но это переводит разговор о гражданском обществе в иную плоскость.

В цивилизационном контексте

Зависимость социально-политической морфологии от этнокультурного и — шире — цивилизационного уклада — факт хорошо известный. Особенно рельефно такая зависимость прослеживается в структурах гражданского общества, которые, как многократно отмечалось, вырастают прямо в «теле» социума, из его сокровенных глубин. И возникающие здесь проблемы «отторжений» и «несовместимостей» приобретают чрезвычайную остроту. Воспользуемся свидетельством специалиста, известного этнопсихолога Э. Геллнера, чья последняя работа «Условия свободы» увидела свет на русском языке через год после кончины автора. Отвергая распространенное мнение, будто «наличие гражданского общества рассматривается как неперемненное условие всякого человеческого существования», исследователь без оличностей устанавливает жесткие границы явления: «Феномен гражданского общества существует в странах североатлантического региона... На востоке и юго-востоке наша либеральная цивилизация граничит с иными обществами, относящимися к двум совершенно различным типам». Речь идет о регионах с исламским и конфуцианско-буддийским цивилизационными укладами, в которых «мы сталкиваемся (или сталкивались) с вопиющим отсутствием гражданского общества» (6, сс. 23 — 24).

Объясняется это тем, что религии, лежащие в основе указанных цивилизаций, задают иную ориентацию отношениям индивида и власти, индивида и социума; ориентацию, не предполагающую отстраненной (от государства) и автономной активности человека, его участия в каких-то «альтернативных» группах. Большую роль при этом играет сам тип организации религиозной жизни, устройства культурных учреждений, принципы отношений как внутри духовенства, так и между ним и властью (как следует оценивать российскую ситуацию в свете этого анализа, автор деликатно умалчивает).

Здесь, впрочем, нет необходимости ни подробно пересказывать, ни подвергать критическому разбору ту аргументацию, на основании которой Геллнер делает свой решительный вывод. Непосредственно интересующий нас сюжет торопит выяснить другое: а как же относиться к тем институтам гражданского общества (в западном понимании), которые — по крайней мере формально — существуют в странах, где гражданского общества, по определению (Геллнера), быть не может?

Понятно, что смысл одних и тех же терминов («партия», «профсоюз», «ассоциация», «клуб» и т. д.) может быть разным в разных социокультурных контекстах. Достаточно сопоставить, скажем, представления о церкви в таких странах, как Польша (или Россия) и США. Или: одно и то же социальное благо, допустим, бесплатная медицина, как отмечают исследователи, переживается в Англии или Скандинавии как итог борьбы за важное гражданское право и долг государства перед обществом, а в странах бывшего «соцлагеря» воспринимается как льгота и стимулирует рост иждивенческих тенденций (9). Не может ли случиться так, что, развиваясь в среде, «исторически чуждой» гражданскому обществу, институты общественной самодеятельности приведут к результату, противоположному ожидаемому?

Для размышлений над подобными коллизиями у обществоведов всего мира есть уникальный полигон — Италия. В этой стране в рамках единого национально-государственного устройства сосуществуют два не просто разных, а полярно ориентированных типа социального уклада: в центрально-северных областях и на Юге. В 70-е гг., обобщая целый пласт исследований западных (особенно американских) социологов, Ю. Лисовский предложил четкий различительный критерий: в южноитальянском обществе преобладает ориентация на «короткие», родственно-соседские связи, в северном — на «длинные», типа партия-профсоюз (11).

Один из основателей этого концептуального подхода, Э. Бэнфилд, определил ориентацию на «короткие» связи как «аморальную семейственность» (amoral familism), имея в виду, конечно же, не безнравственность, а близорукость (с позиций пуританско-протестантской морали) стремления максимизировать выгоды для себя и своего ближайшего окружения в противовес (если не ущерб) интересам общества (12). Неудивительно, что в такой среде форма и содержание институтов гражданского общества могут расходиться весьма далеко: то, что в Турине и Милане выступает как партия, в Неаполе и Палермо может оказаться клиентелой (группой лиц,

служащих одному покровителю), профсоюз — рэкетирской шайкой, ассоциация — ответвлением мафии и т. д. Соответственно одни и те же внешние воздействия, импульсы, воспринимаемые двумя столь различно ориентированными социальными укладами, могут порождать не просто разные, но и противоположные последствия.

Десятилетия спустя другой известный американский социолог, Р. Патнэм, не только подтвердил, но и еще больше заострил вывод насчет такого рода «дуализма социального развития». Анализ Патнэма, опирающийся на грандиозный информационный массив (изыскания длились 20 лет и носили беспрецедентный по масштабам и глубине характер), был нацелен на выяснение вопроса: как социокультурный контекст влияет на функционирование институтов, конкретно — областных органов самоуправления, учрежденных в Италии в 1970 г. Все зависит, по мнению исследователя, от уровня «гражданственности» (civicness). На Севере, где этот уровень высок, областные правительства успешно работают на благо общества. На Юге «само понятие «гражданин» искажено. Индивид думает, что публичная администрация здесь функционирует в интересах других — нотаблей, «начальников», «политиков», — но только не в его собственных. Лишь крайне немногие участвуют в выработке решений, касающихся общественного блага... Редким является и участие в общественных и культурных ассоциациях. Частная благотворительность заменяет собой солидарность. Коррупция рассматривается, как правило, самими политиками. К демократическим принципам относятся с цинизмом... Практически все сходятся на том, что законы издаются не для того, чтобы их соблюдали. Однако, опасаясь неисполнения закона другими, люди требуют большей суровости от государственных властей». В свою очередь, ужесточение административных мер лишь подливает масла в огонь. «Став заложником этого порочного круга, население чувствует себя беззащитным, угнетенным и недовольным... Ясно, что любая форма представительной власти здесь является менее эффективной, чем та, которая действует в условиях более гражданского общества» (13).

Отчего же столь устойчиво неприятие Югом этоса гражданского общества? В поисках ответа Патнэму приходится совершать погружение в глубины истории. Именно там, на удалении чуть ли не в тысячу лет, он обнаруживает «развилку», от которой движение Юга и Севера пошло в противоположных направлениях. На Юге под господством норманнов укоренилась военно-феодалная монархия с жестко иерархизированным строем всех общественных отношений; на Севере возникли города-коммуны с растущим числом горизонтально построенных структур. Таким образом, неблагоприятный для гражданского общества социокультурный генетический код Юга имеет историческое, т. е. вполне постороннее происхождение. Что, однако, не смягчает пессимизм авторской оценки — скорей, наоборот, придает ей оттенок обреченности.

Труд гарвардского профессора в этом пункте любопытным образом перекликается с той дискуссией, которая ведется у нас вокруг перспектив развития российского общества. Обществоведение в посткоммунистической России оказалось в своеобразной ситуации. После стремительного изъятия из оборота «марксистско-ленинской методологии» в образовавшуюся пустоту хлынула лавина идей и концепций самого различного происхождения и свойства. Согласно расхожей метафоре, «распахнулись окна»; возможно, точнее было бы говорить о «дверках холодильников» — львиная доля новых материалов восходит к дореволюционным временам и авторам.

Как бы то ни было, впервые за многие десятилетия открылись не только новые методические подходы, но и целые ранее пребывавшие под глухим запретом дисциплинарные поприща: геополитика, психоанализ, религиоведение и богословие и т. д. В разверзнувшихся безднах обнажились глубинные факторы обусловленности российского общественного развития: от ландшафтно-климатических до этнонациональных, культурно-религиозных, военно-исторических и т. д. Сквозь пелену времени прорвались давние речи о «западном» и «восточном» векторах, роли и значении «византийского наследия», «миссии евразийского Хартленда» и прочих материях, оставшихся terra incognita для нескольких поколений исследователей.

При этом, однако, изменились не просто объем знаний о том или ином предмете и взгляд на него. Сменилась сама мировоззренческая парадигма. В основе прежней, которую с известной долей приблизительности можно было бы назвать левогегельянской, лежала дерзко оптимистическая уверенность в возможности изменить все и вся: от мертвой природы до живого человека. Ее цепкая привлекательность, не случайно лучше многих других уловленная поэтом, назвавшим свои автобиографические заметки «В соблазнах кровавой эпохи» (14), заключалась в этом ее «антимещанском», бунтарском, богоборческом ореоле.

Когда «реальный социализм» камнем пошел ко дну, на смену ему пришло прямо противоположное умонастроение. Следствием внезапно открывшегося интеллектуального изобилия стала по крайней мере на первых порах не динамизация мысли, а состояние своеобразного оцепенения: что-то вроде «зачарованности смертью», загнипнотизированности неодолимой основательностью «вечных» исторических факторов. Если, к примеру, тебе объясняют, что Берлинская стена (она же «железный занавес») прошла почти строго по линии плюсовой изотермы января, то какие, спрашивается, требуются еще политические, социальные или идеологические резоны для объяснения — и тем более преодоления — извечной несоединимости «Запада» и «Востока»?!

Причинно-следственные объяснения напрямую, сквозь тысячелетия протянутые к нашим дням (для их обозначения историки броделевской школы «Анналов» ввели понятие «long durée» — «долгих протяженностей»), действительно обладают завораживающе убедительной силой. Но вовсе не освобождают от необходимости всестороннего анализа наличной действительности. У итальянских социологов попытка Патнэма свести отторжение гражданского общества Югом к дальним историческим корням вызвала энергичные возражения и требование рассматривать социальную ситуацию во всем ее многообразии (Bagbasco A. *Regioni, tradizione civica, modernizzazione, italiana: un commento alla ricerca di Putnam. Stato e mercato. 1994, № 40, aprile, p. 102.*). Подобная же реакция, похоже, набирает силу в российском общественном сознании, тем более что сама действительность, по-видимому, способствует тому.

По разным данным, в нашей стране действуют от 50 до 150 тысяч самостоятельных объединений частных лиц; если вспомнить, что считанные годы назад их перечень исчерпывался Клубом самодеятельной песни, «диким» туризмом да, пожалуй, сборами «у Пушкина» (6 июня в Москве и 11 февраля в Ленинграде, на что начальство всегда смотрело весьма косо), контраст не может не поражать. Сотнями, если не тысячами измеряется число официально зарегистрированных партий и политических движений: от тех, что заседают в Думе, до Ассоциаций обманутых вкладчиков и Партии любителей пива. По поводу наших партий принято иронизировать — и небесполезно. Однако достаточно на мгновение представить себе, что их снова не станет, чтобы понять, насколько они в действительности уже выросли в нашу повседневность.

Можно по-разному относиться к тому, что число предпринимательских ассоциаций, лиг, союзов (а чаще всего это организации для лоббирования) перевалило за полторы сотни, как и к тому, что около полутора миллионов человеко-дней в год «съедают» забастовки, организованные профсоюзами разной ориентации; однако невозможно не признать, что и то и другое — неотъемлемая часть окружающей нас реальности.

Своя жизнь течет в трех десятках тысяч церковных приходов, мечетей, дацанов, синагог, моленных домов, в почти четырех сотнях монастырей, причем уже мало кого удивляет, что в среде единомышленников существует разный подход к одним и тем же фактам и событиям. Как, впрочем, и то, что вся наша жизнь по-разному осмещается и интерпретируется разными средствами массовой информации.

Более 600 общественных объединений занимаются защитой прав потребителей; за 1996 г. ими рассмотрено свыше 270 тысяч обращений граждан и по их просьбе подано в суд 14 с лишним тысяч исков. По сведениям наиболее авторитетного исследователя отечественного экологического движения О. Яницкого, только на «зеленом» поле насчитывается «от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч» организаций. В орбите одного лишь Московского исследовательского центра по правам человека — около двух десятков правозащитных организаций, имеющих опорные пункты и группы на местах практически по всей стране.

На фоне этого перечня, а он далеко не полон, вполне убедительно, казалось бы, звучит вывод одного из первых исследований, в котором систематически рассмотрен национальный эмпирический опыт: «Плюрализм в российском обществе уже реален, свобода выбора расширилась... России не заказано движение к гражданскому обществу...» Однако если вспомнить исходный пункт нашего анализа — зависимость *реальной* содержания форм самоорганизации от цивилизационного контекста, — то с категорическими суждениями придется по времени. Сами авторы исследования жестковато напоминают: «В разных своих аспектах одни и те же структуры... могут отражать как импульсы зарождающегося гражданского общества, так и тормозящие его развитие олигархические, клановые интересы» (15).

Сомнения насчет перспектив гражданского общества в России, таким образом, сохраняются, но их вряд ли правомерно толковать в пользу известного тезиса о незыблемом традиционализме российского общества (16), о «российской цивилизации» (в шпенглеровско-тойнбианском смысле) и общинно-соборном начале, исклю-

чающем выделение личности из массы, а следовательно, и становление тех начал индивидуализма, которые являются неперменной предпосылкой развития структур гражданского общества. Подобное толкование было бы неверно уже потому, что оно во многом опровергается самими российскими традициями.

Следует помнить, что в российской истории наличествует не одна лишь тоталитарно-автократическая традиция, не признающая иных отношений, кроме вертикально-иерархического: подданный — власть. Определенный след в этой истории оставлен и альтернативной, утилитарной традицией, восходящей, как считают, например, участники социокультурного семинара А. Ахиезера, к Петру I (царю, впервые взявшему в руки рубанок) и тем русским писателям (от Радищева и Крылова до Гончарова и Чехова), которые любовно пестовали образ рационально мыслящего и действующего русского человека, сознающего ценность гражданской автономии и знающего, как ею распорядиться (17).

Можно вспомнить в этой связи и о вкладе предпринимателей-старообрядцев в общественно-экономическое развитие страны, вкладе, настолько огромном (если сравнить его с удельным весом приверженцев этой конфессии в общей массе россиян), что возникает мысль об аналогии между ролью старообрядчества в России и той миссией, которую сыграли в формировании гражданского общества на Западе пуритане-протестанты.

В некоторых специфических, как принято считать, чертах русского психологического уклада уже содержатся зародыши, способные развиваться в структуры гражданского общества. Это показывает, например, К. Касьянова, описывая своеобразный феномен диффузного лидерства (восходящий, должно быть, к традиции «старчества»), когда авторитет отдельного уважаемого человека очерчивает вокруг него, словно ауру, контуры неформальной, никак не институционализированной группы (18). Примечательно, что с этими наблюдениями напрямую пересекается проблематика эмпирических наблюдений в самых горячих точках общественной жизни России, где формирование структур гражданского общества выступает как актуальнейшая из *практических* задач. Речь идет, в частности, о судьбе новых, посткоммунистических профсоюзов и о том, что в условиях кризиса, по-видимому, лишь опора на уважаемых в своем кругу людей, чье влияние закрепляется и распространяется подобно авторитету главы семьи, способно обеспечить выживание этим организациям (19).

Кстати, потенции семьи как института, обеспечивающего первичное пространство частной жизни и способного в силу этого стать отправной точкой «роста снизу» гражданского общества в России, весьма велики. Это документально устанавливают авторы пилотного обследования молодежи, проведенного в 1995 г. В структуре российской повседневности, подчеркивают они, вопреки общепринятому мнению о падении значения традиционных форм наличествуют зерна, способные дать интересные всходы (20).

Наконец (хотя примеры можно множить), в самой структуре российской истории различима традиция изменчивости/адаптации к новым условиям в виде «догоняющей модели» развития. Суть этой модели как имитационно-творческой блестятельно сформулировал Г. Федотов: «...Поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли — Захаровым, Ворониным; через полтора года после петровского переворота — срок небольшой — блестящим развитием русской науки. ...Погибни она, как нация, еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда не узнал бы, что он потерял с Россией» (21).

Возможен, впрочем, и другой путь разрешения сомнений, и о нем еще раз напоминает новейший опыт Южной Италии. В самые последние годы здесь отмечают немаловажные перемены, особенно в борьбе с таким «непобедимым» злом, как мафия. За решетку отправлена практически вся мафиозная «номенклатура», впервые с правосудием сотрудничают сотни самих членов банд, открылась брешь в непробиваемом, казалось, законе круговой поруки — «омертá». Что-то сдвинулось в глубинах массового сознания, чего не объясняет «традиционалистская» схема Патнэма. И тогда местные социологи решили по-иному подойти к выявлению потенций гражданского общества. Они ограничили обследование лишь самостоятельными организациями культурно-просветительного характера. Результат оказался поразительным: по темпам распространения музыкальных обществ, кружков любителей старины, ассоциаций защитников природы, клубов краеведения и т. д. и т. п. Юг даже опережает Север (22)!

Иначе говоря, там, где не укоренились универсалистские, обезличенные нормы служебных отношений, где карьера зависит от персонального покровительства, а экономический успех — от политических решений, где поэтому и партии, и профсоюзы тяготеют к привычной форме клиентелы, динамика роста ассоциаций, не стремящихся к «выходу во власть», может более точно сигнализировать о вызревании гражданского общества. И пусть это — пока — лишь эмбрион, или «протогражданское» общество, но оно уже начинает, как показывают факты, исподволь воздействовать и на социально-политическую обстановку.

Если наша гипотеза верна, то наличие 200 театров в Москве (в самые благополучные прежние времена их число не доходило и до 50) или, например, ста с лишним издательств в Твери — не менее важное свидетельство жизнеспособности гражданского общества в России, чем существование политических партий и профсоюзов. Не то чтобы открытие, скажем, Музея уникальных кукол на Малой Дмитровке прямо вело к качественному скачку в демократизации нашего общества — связи здесь куда более сложны и опосредованны. Но для политиков — да и всего общества — возникновение подобного «самочинного движения» (Х. Арендт) представляет собой сигнал и одновременно стимулирующий вызов.

В постиндустриальном мире

Итак, если российская этнокультура не содержит принципиальных противопоставлений к формированию гражданского общества в европейском понимании, более того — способна придать этому процессу дополнительные импульсы в силу догоняюще-развивающей модели (явленной миру Россией не меньше, чем за полвека до «японского чуда»), следует подумать и о других сторонах проблемы. Перспектива «наверстывания» предполагает знание того, что, собственно, предстоит «нагонять»: какие именно показатели, уровни, формы? Дело ведь в том, что эволюция взаимоотношений государство — гражданское общество в той части мира, где институты гражданского общества и явились впервые на свет, не стоит на месте. А если так, то до какой степени мы способны предугадать ловушки и западни, которые современный мир расставляет на пути «догоняющего»?

Как бы ни продуктивен был поиск (потенциальных) ростков гражданского общества в национальном историческом прошлом, нельзя не видеть, что самым мощным стимулом к его развитию сегодня является имитационный эффект, индуцированный неслыханным развитием коммуникаций. В эпоху, когда фраза Маклюэна о «всемирной телевизионной деревне» у всех на устах, как никогда быстро распространяются не только идеи, но и образы и стили жизни, модели поведения, системы целесообразностей, потребленческие стандарты и т. п. С ними (внутри них) на новую почву попадают семена ценностей гражданского общества.

Одновременно эти новые факторы, обстановки постиндустриального, или ин-формационного, общества производят немаловажные изменения в уже сложившихся структурах и отношениях гражданского общества там, где оно существует не первое десятилетие, — в развитых странах Запада. Одно из наиболее существенных изменений такого рода имеет своим предметом власть.

О том, что власть в XX столетии — как реальность и как отражающая эту реальность теоретическая конструкция — не соответствует более представлениям авторов прошлого, от Гоббса до Вебера, исследователи задумывались еще в предвоенные годы. Но лишь к 50 — 60-м гг. в политической науке сложилась обширная область современных интерпретаций власти уже не только как «свойства», атрибута, полномочий индивидуального или группового субъекта, но и — в растущей степени — как все более сложной и многоуровневой системы отношений. С опорой на труды бихевиористов (Х. Лассуэл, А. Каплан), в особенности философов Франкфуртской школы и, в частности, Х. Арендт и Ю. Хабермаса, стало возможным концептуальное выделение в категории «власть» таких типов отношений, как «влияние», «контроль», «авторитет», «доминирование», «давление» и т. д.

Это более адекватное современным условиям «прочтение» понятия «власть» помогает лучше понять, почему — и в каких именно точках — становятся проницаемыми перегородки, прежде более или менее исправно разделявшие государство и гражданское общество. Возникающие в этих точках «гибриды» могут иллюстрировать то, что выше было охарактеризовано как взаимопрорастание первого и второго. Например, расширение прав местного самоуправления (процесс, отмечавшийся едва ли не повсеместно на Западе в 60 — 70-е гг.) с формальной точки зрения представляло собой экспансию государства в пределы гражданского общества, хотя, по существу, предоставляло институтам этого последнего новые возможности воздей-

ствия на власть. То же можно сказать о ширящейся практике создания смешанных органов контроля — за состоянием окружающей среды, функционированием медицинских учреждений, муниципальных служб и т. д., в которые наряду с чиновниками входят представители профсоюзов, местных общин, экологических движений и т. д.

В целом, впрочем, такое размывание разграничений и огосударствление все новых сфер частной жизни воспринимается отнюдь не идиллически; хуже того, создает ситуацию дезориентации, болезненного переживания слома привычных представлений, травмирующей «сверхсоциализации». Реакцией граждан на все это становится поиск надежных точек опоры и, в частности, обращение к собственным «корням». Одна из форм такого поиска приводит к возникновению разного рода низовых (grassroots) объединений. Но «низовой» в большинстве случаев означает также «местный». В США — стране классических, как принято считать, форм гражданского общества — начиная с 60-х гг. наблюдается выраженный рост подобного рода локальных сообществ — «гражданских комьюнити». Позже нечто похожее стали отмечать и в других странах. Примечательно, что у некоторых авторов эта категория словно попросту вытеснила/впитала в себя более широкое понятие гражданского общества.

В соразмерном себе пространстве «комьюнити» человек восстанавливает утраченное было ощущение своего права на отдельное от государства существование, на власть над собственной судьбой. Тем самым облегчается его примирение с новой общественной системой координат. «Комьюнити» становится формой, или средой, в которой совершается «притирка» к ценностно-нормативным сдвигам, «происходит смена акцентов в системе идентификации индивида» — в конечном счете ко благу социетального целого (23).

По мнению некоторых исследователей, на новом витке воспроизводится — обостренная ситуацией постиндустриальной эры — вечная драма невозможной гармонизации частных интересов, представленных гражданским обществом, и коллективной воли социума, рационально выраженной государством. Эту коллизию М. Вебер выразил с помощью известного парадокса «стального панциря»: порожденная рационально-аскетическим этосом протестантства организация общества, мыслившаяся не более чем «тонким плащом, который можно ежеминутно сбросить», обернулась — по мере поглощения гражданского общества государством, а государства — гражданским обществом — стальным панцирем всеподчиняющей регламентации.

В поисках выхода теоретическая мысль все чаще обращается к категории «социального капитала». Идея «социального капитала» как дополнения, необходимого для оптимального функционирования физического и человеческого капиталов, высказывалась рядом авторов еще на рубеже 70 — 80-х гг., но, как считается, была окончательно концептуализирована Дж. Коулменом в 1990 г. в его фундаментальном труде «Основания социальной теории». По его мысли, «социальный капитал» — это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностном пространстве (24).

Одним из самых горячих поклонников и пропагандистов теории «социального капитала» является уже известный нам Р. Патнэм. «По аналогии с физическим и человеческим капиталом, воплощенным в орудиях труда и обучении, которые повышают индивидуальную производительность,— объясняет он,— «социальный капитал» содержится в таких элементах общественной организации, как социальные сети, социальные нормы и доверие (networks, norms and trust), создающих условия для координации и кооперации ради взаимной выгоды» (см., например Р. Прозветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь. МЭиМО, 1995, № 4, с. 78). В отличие от капитала денежного «социальный капитал» по мере расходования только возрастает, поскольку чем интенсивней практика кооперации и взаимовыручки, тем прочней и эффективней сети солидарности и больше масса взаимного доверия. Нетрудно понять — и автор специально подчеркивает это,— что «социальный капитал» представляет собой жизненную лимфу гражданского общества, его сокровенную суть.

Стоит прислушаться к одному из его заключений, имеющему прямое отношение к нам: «Там, где отсутствуют нормы и сети гражданской активности, будущее коллективного действия выглядит мрачно. Участь Юга (Италии.— И. Л.) — это наглядный пример для «третьего мира» сегодня и для бывших коммунистических стран Евразии завтра в их эволюции к формам самоуправления. Социальное равновесие, основанное на принципе «Всегда уклоняйся, никогда не бери на себя общую ношу»,— вот, возможно, то, что ждет большую часть тех стран, где социального ка-

питала недостаточно или вовсе нет. С точки зрения политической стабильности, эффективности правительства и даже самого экономического прогресса социальный капитал может оказаться еще более важным фактором, нежели экономические и людские ресурсы. Во многих бывших коммунистических странах гражданские традиции были слабы еще до прихода коммунизма, а тоталитарные режимы подорвали и тот скудный запас социального капитала, который имелся. Без норм взаимопомощи, без сетей ассоциативности и гражданской ответственности аморальная семейственность, клиентелизм, беззаконие, неэффективная власть и экономический застой окажутся более вероятным исходом, чем действительная демократизация и развитие экономики. Будущим Москвы может оказаться Палермо» (13, р. 216).

Объем «социального капитала» измеряется обычно по двум показателям: индексу доверия и членству в общественных объединениях (благо в США, например, оба эти показателя фиксируются — по опросам и в статистике — уже около полувека). И именно в процессе их измерения Патнэм обнаружил вдруг явную тенденцию к сокращению «социального капитала» в Америке на протяжении последней четверти века. Число членов разного рода добровольных ассоциаций (от родительских комитетов до клубов женщин-избирательниц и кружков игры в боулинг) за минувшие два-три десятилетия сократилось в пределах 25—50%; время неформального общения (informal socializing and visiting) с 1965 г. уменьшилось на четверть, а на деятельность в общественных организациях — чуть ли не наполовину; наконец, индекс доверия (процент положительных ответов на вопрос: «Можно ли доверять людям?») с 1972 г. снизился примерно на треть.

Проанализировав огромный массив данных и их возможных взаимовлияний, автор пришел к выводу, что фактором, расширяющим «озоновую дыру» над «социальным капиталом» США, является... телевидение. «На увеличение продолжительности пребывания перед телевизором в тех масштабах, какие отмечаются в Соединенных Штатах на протяжении последних четырех десятилетий, возможно, ложится прямая ответственность за падение объема «социального капитала» в пределах от одной четверти до половины, даже если не принимать во внимание, например, косвенные последствия в виде меньшего чтения газет или сокращения времени досуга в целом» (25).

Выводы и методы Патнэма, по-видимому, не могут быть приняты за истину в последней инстанции (в частности, они не находят полного подтверждения в практике других стран), однако уловленная им тенденция, бесспорно, опирается на знакомые каждому факты повседневной жизни. Самое мощное из средств массовой коммуникации — ТВ, — рожденное, казалось бы, для укрепления и обогащения тканей гражданского общества, оборачивается фактором подрыва коммуникации (т. е. общения, контакта между людьми) и орудием, способным нанести тяжкий урон гражданскому обществу.

Описанная парабола выглядит горьким парадоксом для Америки. Но еще более парадоксальной она может оказаться в качестве предостережения России. Гражданское общество в нашей стране находится в зачаточном состоянии, а социологические опросы уже фиксируют устойчивое положение «Просто Марии» или «Богатых», которые «тоже плачут», в верхней части колонки ответов на просьбу назвать наиболее важное событие последней недели. Иначе говоря, как уже не раз бывало в процессе «ускоренного развития», мы рискуем начать платить по счету его негативных последствий прежде, чем воспользуемся его позитивными плодами. А ведь на подходе поколения, которые чуть ли не с пеленок приобщаются к Интернету...

Предложенные три среза современной проблематики гражданского общества могут самое большее дать представление о ее сложности, противоречивости, пестроте. Пожалуй, ясно в этой картине лишь то, что любые однозначные ответы на интересующие всех вопросы — так возможно ли гражданское общество в России? какого типа? в какие сроки? — могут быть лишь шарлатанством. Это не значит, однако, что из сказанного нельзя извлечь некоторые, пусть частные, но, хочется надеяться, небесполезные выводы.

Один из них заключается в том, что цивилизационная матрица России не является совершенно гетерогенной по отношению к тем цивилизационным контекстам, в которых исторически зародилось и получило развитие гражданское общество. Объективные потребности и постепенно формирующиеся субъективные запросы россиян отводят гражданскому обществу те же функции/задачи, которые изначально характеризуют его на Западе:

- продуцирование норм и ценностей, которые государство затем скрепляет своей санкцией;
- интегрирование общества, в частности, путем придания цивилизованного вида социальным конфликтам и тем самым гашения их;
- образования среды (почвы), в которой формируется развитый социальный индивид.

Принципиальным признаком, по которому можно судить о возможностях развития гражданского общества в той или иной стране, является способность ее населения к самоорганизации (при том, разумеется, что ее цели и мотивы носят творческий, созидательный, инновационный характер).

Все это побуждает взглянуть на перспективы российского посткоммунистического общества с менее пессимистической точки зрения, чем та, которая распространена в современной публицистике, особенно если учесть исторически присущий России тип заверствающего, имитационно-творческого развития, о котором писал Г. Федотов. На этом пути, однако, особенно велика может оказаться опасность взаимоналожения двух негативных последствий: от чрезмерной продвинутости и от непреодоленного отставания (не случайно адресованная Италии фраза Энгельса о стране, страдающей как от развития капитализма, так и от недостаточного его развития, чаще всего применялась именно к России).

В одной из самых глубоких своих работ, «Россия и Маркс», М. Гефтер, обнажая интеллектуальную драму Маркса, на примере России открывающего для себя невозможность мирового единообразия в коммунизме, обозначает ее как «схватку разнонаправленных развитий». Движение в одном вроде бы направлении, но отдалеко отстоящих друг от друга стартовых линий порождает ситуацию, когда процессы исторического развития/созревания попадают в контрфазу один относительно другого и рискуют фронтальным столкновением (26).

С другой стороны, за минувшие со времен Маркса десятилетия появились такие мощные факторы гомогенизации/глобализации мирового исторического процесса, которые глубоко изменили рисунок описанной закономерности. Что же предвещает (частичное) совпадение признаков/симптомов новейших тенденций в развитии гражданского общества на Западе и в России: рост исторического разрыва с перспективой фронтального противопоставления или, напротив, возможность (относительно) ускоренного сближения по уровням, направленности и социальному содержанию? Велик соблазн спрятаться за стандартной ссылкой на общественную практику, которая, мол, со временем сама укажет, расставит на места и пр., и пр. Если не знать, что за этой безымянной и безответной дамой нет никого, кроме нас самих. Таких, как есть. Уже вроде бы не подданных, но не вполне освоившихся в роли граждан.

Примечания

1. См., например, такой «манифест перестройки», как: «Иного не дано». М., 1988, сс. 84—96.
2. Третьяков В. После путча, накануне реформы. Независимая газета, 23.10.1991.
3. Голенкова З. Т., Витюк В. В., Гридчин Ю. В., Черных А. И., Романенко Л. М. Становление гражданского общества и социальная стратификация. Социс, 1995, № 6, с. 22.
4. Полис, 1995, № 4, сс. 187—190.
5. Воспользуемся, например, книгой: Гаджиев К. С. Политическая наука. М., 1994, сс. 61—84; или многократно переиздававшимся пособием: Held D. Models of Democracy. Oxford, UK, 1992.
6. Геллнер Э. Условия свободы. М., 1995, с. 202.
7. Gramsci A. Quaderni del carcere. Torino, 1975. Vol. II.
8. Рукавишников В. О. Социологические аспекты модернизации России и других посткоммунистических обществ. Социс, 1995, № 1.
9. См., например: Seilgman A. The Idea of Civil Society. N. Y., 1992.
10. Гайдар Е. Дни поражений и побед. М., 1996, с. 9.
11. Лисовский Ю. П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии. М., 1979.
12. Banfield E. C. The Moral Basis of a Backward Society. Chicago, 1958.
13. Putnam R. Making Democracy Work. N. Y., 1993, p. 135. (Стараниями Московской школы политических исследований эта книга недавно вышла на русском языке: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996.)
14. Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Новый мир, 1992, № 7.
15. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская действительность (рук. и отв. ред. К. Холодковский). М., ИМЭМО РАН, 1996, с. 139.

16. См., например: Кара-Мурза С. СССР как традиционное общество. В сб.: Куда идет Россия? М., Интерцентр, 1997; см. также: Зарубина Н. Самобытный вариант модернизации. Социс, 1995, № 3; Айзатулин А., Кара-Мурза С., Тугаринов И. Идеологическое влияние евроцентризма. Социс, 1995, № 4.
17. См. Туркатенко Е. В. Культурные коды России и современность. Полис, 1996, № 4.
18. Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.
19. См.: Олейник А. Н. Есть ли перспектива у социальных движений в России: анализ развития шахтерского движения, 1989—1995. Полис, 1996, № 3, сс. 70—78.
20. Российская повседневность и политическая культура: возможности, проблемы и пределы трансформации (рук. и отв. ред. С. Патрушев). М., ИСП РАН, 1996.
21. Федотов Г. П. Россия и свобода. В кн.: Федотов Г. П. Империя и свобода. Нью-Йорк, 1989, сс. 78—79.
22. *Cultura e sviluppo* (a cura di C. Trigilia). Catangaro, 1995.
23. Грунт Э. А. Коммунитаризм и изменения в системе ценностей американского общества. Рабочий класс и современный мир, 1989, № 5, сс. 146—158.
24. Coleman J. *Foundations of Social Theory*. Cambridge (Ma), 1990. См. также: Швери Р. Теоретическая социология Джеймса Коулмена: аналитический обзор. Социологический журнал, 1996, № 1—2.
25. Putnam R. *Tuning in, Tuning out: the Strange Disappearance of Social Capital in America*.— PS: Political Science and Politics. December 1995. Vol. XXVIII. № 4, pp 666, 678.
26. Гэфтер М. Из тех и этих лет. М., 1991, с. 49.



Между бедностью и богатством

Термин «бедная религия», созданный Михаилом Эпштейном*, вероятно, войдет в обиход. Надо как-то назвать духовное состояние постатеистов, вернувшихся к идее Бога и остановившихся, не решаясь выбрать ту или другую систему символов и не достигая живого непосредственного религиозного опыта. В эссе еще раз блеснул ум, способный видеть новое и мгновенно замыкать его в стройную схему. Однако набросок 80-х гг., легший в основу работы, имеет недостаток всех набросков: он строится «по прямой», обходя изломы жизни. Это неизбежно. Если сразу погнаться за всей сложностью, выйдет не философский текст, а каша ассоциаций. Но, публикуя эскиз через 15 лет, можно бы уделить некоторое внимание оттенкам, пропущенным при построении основных линий теории. Я чувствую, что слово «оттенки» слишком слабо, и прямо перейду к тому, о чем думаю: не хватает различия между бедностью религиозного слова и бедностью опыта. Творцы негативной теологии, на которых ссылается Эпштейн, были людьми огромного внутреннего опыта. Они потому и отбрасывали всю символику и обрядность, что все это мешало прямому погружению в бездну Бога, до вспышки света из тьмы. Сошлюсь на «Проповеди и рассуждения» Мейстера Экхарта, хотя бы на проповедь «Ибо сильна, как смерть, любовь». Смешивать эту духовную нищету с «бедной религией», по-моему, неверно.

Воображение Эпштейна иногда рисует ему возможность внутреннего богатства религиозного чувства в пустоте, не заполненной никакой символикой. Это стоит процитировать: «Слух — это предел, дальше которого не может зайти опредмечивающая сила безбожия. Божье слово, как бы ни было велико и необъятно, все-таки может быть опредмечено, пересказано, перетолковано, осмеяно, отвергнуто, но Божий слух раздвигается за пределы всякой объективации. Мы в нем, он же всегда больше нас, объемлет, окружает, как горизонт. Бедная религия не имеет никаких слов, кроме житейских, человеческих, но зато ей внятно присутствие Божьего слуха. Перед лицом этого слуха нельзя говорить о Боге, но только Богу. Тем самым Слух готовит людей к последнему суду, когда говорить и отвечать будут они, а Судья — только слушать и решать. Слово уже было сказано в начале, чтобы вести и направлять человека, в конце же говорит сам человек, отвечая за свои пути перед Богом».

После такой вдохновенной вариации на темы Апокалипсиса ожидаешь ссылки на что-то вроде бесед Кришнамурти, или «Сонетов к Орфею» Рильке, или на что-нибудь подобное из самиздатной поэзии духовного опыта (она уже существовала в начале 80-х). Однако примеры, выбранные Эпштейном, — не о том: «Герои Василия Аксенова, Юза Алешковского, Андрея Битова, Беллы Ахмадулиной, Венедикта Ерофеева, Юрия Трифонова — все они болеют какой-то высшей духовной потребностью, которая не может найти удовлетворения в традиционных формах веры... Так, автобиографический герой книги Андрея Битова «Птицы» — типичный «бедный верующий». Когда начинается страшная гроза, которая чудится ему почти концом света, он хочет вознести мольбу Всевышнему, но это оказалось, «какая-то мычащая молитва без слов». И он несказанно удивился, когда под воздействием страха вдруг быстро и правильно перекрестился». Хочется возразить, что **такая** бедная вера была и при царе Горохе: «Гром не грянет, мужик не перекрестится».

В перечне собраны совершенно разные, духовно несводимые имена. Особенно вытарчивает Венедикт Ерофеев. Конечно, до святости ему далеко. Но страдания

* Михаил Эпштейн. Постатеизм, или Бедная религия («Октябрь», 1996, № 9).

его вполне могут быть определены как богооставленность. Мирские люди от богооставленности не страдают, они ее почти не замечают. Тут все дело в глубине тоски. Герой Битова (беру пример, предложенный Эпштейном) может жить без Бога и вспоминает Его только по особому случаю. Тоска Венички захватывает его целиком, миг распространяется на всю жизнь, вся жизнь абсурдна, вся бьется на пороге Бога (не умея перейти этот порог, но не в силах и перестать биться), и даже икота напоминает о непостижимости Бога. Это очень близко к средневековому юродству. Так, дзенский старец на вопрос: «Что такое Будда?» — мог ответить: «Подтирка для зада». Потому что Будда в его вездесущности есть и эта подтирка; мысль, кошунственная для «богатой религии», сосредоточившей свое богатство в храме, в святая святых, и совершенно простая и понятная для юродивого, чающего Бога (или Будду, или Брахмана) всюду. Конвульсии богооставленности еще не благодать, но они в одном ряду с благодатью.

Бог — это сверхразумная целостность всех отношений и смыслов. Рациональный герой Трифонова к ней и близко не подошел. Это целостность, предшествующая всякому анализу, предшествующая различию бытия и небытия, смысла и бессмыслицы и **всем** различиям. Это целостность, прикосновение к которой может быть пережито ярко (как внутренний свет) или смутно и тревожно:

Час тоски невыразимой,
Все во мне и я во всем...

Однако она никогда не может быть втиснута в логику, ибо сама форма логического предложения раскалывает целостность на субъект, предикат и связку (истина, открытая Нагарджуной примерно две тысячи лет тому назад). Ее можно передать только намеком, парадоксом, игрой символов, каждый из которых, взятый сам по себе, — «не это!», смысловой паузой в музыкальном ряду; «Бога можно почтить только молчанием», — говорили мистики, имея в виду именно такую паузу, интервал между попытками постичь непостижимое, интервал, в котором нечто, не втиснувшееся в слово, всплывает в чувстве:

О ты свободный! Расточитель света!
Пронесишься, минуя ночь и день,
Ничьей стрелой ни разу не задетый
Тысячерогий золотой олень!

О лес рогов! Лес древний! Все сплелось.
Ты сбросил их. Быстрей! Быстрей! Одним
Прыжком (о дрожь!) промчался сквозь
Охотников — для них недостижим.

(Р.-М. Рильке. Из «Импровизации на тему
Каприйской зимы».)

Перевод З. Миркиной.

Мы подошли здесь еще к одному различию, которого не коснулся М. Эпштейн: между творческим меньшинством и массой. Я беру эти термины у Тойнби, сознавая их неточность: никакой стенки между двумя полюсами нет, переходов бесконечно много. Но два полюса разведены, и то, что составляет все для одного, для другого ничто. Вл. Антоний Сурожский (Блум) в одной из своих лекций в Духовной академии сказал: «Религиозному гению мы не нужны». О том же — в книге «Старец Силуан», изданной архимандритом Софронием. По словам св. Силуана, если бы вдруг исчезли святоотеческие писания, афонские старцы создали бы всё заново: они обладали живой полнотой религиозного опыта.

Различие между полнотой и неполнотой опыта (и совершенным отсутствием опыта) существует и в церкви, и вне церкви. Гений, оказавшийся вне вероисповеданий, как Рильке, творит новые образы, создает свою «поэтологию» (как выразилась покойная исследовательница Рильке Зельма Федоровна Руофф). К этому в России близок был Даниил Андреев. Его сейчас пытаются выдать за верного сына православной церкви (см. подборку в журнале «Новый мир», 1996, № 10), но достаточно беглого знакомства с поэмами «Ленинградский апокалипсис», «У демонов возмездия», «Изнанка мира», с трактатом «Роза Мира», чтобы увидеть нечто совершенно другое: мистик-поэт взламывает старую традицию и пытается создать новую. Что же делать другим, не способным ни принять старую символику, ни обойтись без нее?

Церковь столкнулась с этой проблемой еще в дни апостола Павла и нашла выход в системе подстановок. Первой была формула Павла: «Бога не видел никогда и никто. Единородный Сын, сущий в недрах Отчих, — Он явил». Беру эту формулу

так, как ее сохранило предание, возможно, со следами редактирования в духе Никейско-Константинопольского символа веры, не в этих следах дело. Главное действие принадлежит Павлу. Именно он подставил на место незримого Бога евреев зримого (по меньшей мере мысленно) Иисуса из Назарета. Дальнейшее догматическое творчество только уточнило и завершило великий поворот.

Русское слово «ипостась» — не переведенное (и фонетически искаженное) греческое «гипостазис», «подстановка». Однако в новом контексте ипостась не просто подстановка. Это аспект Целого, в котором Целое полностью вместились. Целое, впрочем, и равно, и не равно ипостаси. Сын единосущен и равночестен Отцу, но Святой Дух исходит только от Отца. Иначе говоря, Целое все же превосходит свои ипостаси. Это превосходство Целого выражено тем, что ипостасей три, и в гениальной иконе Рублева можно почувствовать мысленное кружение ипостасей, мысленный хоровод,— то, что чувствовал Мейстер Экхарт: «Игра идет в природе Отца. Зрелище и зрители суть одно».

В каждой ипостаси непостижимое ассоциативно связано с постижимым образом: первая ипостась — Отец, третья — Утешитель. Христос — вполне Бог и вполне человек, распятый при Понтийском Пилате. Ипостась — подстановка — и есть, и не есть Целое, но в движении, в кружении, в переливах смысла из одного в другое они достигают полноты истины. Нельзя отделять то, что нам понятнее, как ветку от дерева, и ставить в красный угол. Отрезанная ветка мертва. Подстановка превращается в подмену.

Таких подстановок, движущихся к подмене, полно в истории. Мысленно зримый Христос отгесняет не зримого даже мысленно Отца (в символе веры Христу посвящено столько текста, сколько Отцу и Святому Духу, вместе взятым), а суровый Христос-вседержитель отгесняется младенцем на руках Богоматери и наконец самой Богоматерью. Сказано, что Бог есть Дух, и нигде не сказано, что Богоматерь есть Бог, но молятся Богоматери, а не Святому Духу; однако католическая церковь, чуткая к развитию практической религиозности, сделала несколько важных шагов к признанию Марии-девы ипостасью, и польский поэт, лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош пропагандирует эту идею. Своего рода подстановкой — в широком смысле слова — было и почитание икон, прямо запрещенное заповедью «Не сотвори себе кумира», и многое другое.

Новый смысл, вложенный в будничные гипостазисы, — изобретение византийцев; но нечто вроде подстановок есть в любой великой религии. Без подстановок миллионы людей не смогли бы вместить, хотя бы отчасти, опыт святых. В северном буддизме образ Троицы был разработан даже раньше христианской церкви. Разница — в терминологии (Трикайя — «три тела Будды») и в распределении функций. Дхармакайя — нечто вроде слияния первой и третьей ипостасей: незримый дух, веющий всюду, в роли творца вселенной; а две другие «кайи» — примерно то, что в византийском богословии названо «природами» Христа, человеческой и божественной, соединенных неслиянно и нераздельно: Нирманьякайя — Будда страдающий, Самбхогакайя — Будда во славе. Суть подстановки та же: можно созерцать статую или фреску зримого Будды и чувствовать незримое. Предание сохранило формулу, напоминающую слова Павла: «Кто видит Меня, видит Дхарму; кто видит Дхарму, видит Меня».

В исламе до уровня ипостаси поднят Коран: он совечен Аллаху и сотворен до вселенной. В иудаизме между человеком и Богом встало писание и разработанное до мельчайших подробностей богословие. Обе религии запрещают изображение святых; но вместо зримой подстановки развитие заставило создать другие, интеллектуальные. Всюду одна и та же закономерность: подстановка становится подменной, подмена — подтасовкой, подмены и подтасовки вызывают бунт. Учения Будды и Махавиры были бунтом против подстановок индуизма. Книга Иова — бунт против богословия, против благочестивого интеллекта, включенный в Святое писание самой интеллектуальной, самой богословской из религий. История христианства прошла через несколько расколов. Первым было иконоборчество, подавленное св. Ириной с большой жестокостью. Через несколько веков восстал Лютер. В его глазах поразительная по богатству культура, выросшая на почве подстановок, была скомпрометирована индульгенциями и т. п. грубыми подтасовками и осмыслена как сплошной ряд подмен, искажений святых.

На этом фоне заново смотрится явление «бедной религии». Это не чисто современное и не чисто русское, постсоветское явление. Кризис религии может быть отчасти определен как кризис подстановок. Чувство божественного присутствия в мире резко ослаблено развитием техники, требованием точных, однозначных решений, составления и выполнения инструкций. Бог в это инструктивное мышление не

укладывается, с каждым шагом научно-технического прогресса Он вытесняется из мира (вместе с человеческим в человеке, Его образе и подобии). Старые подстановки не выдерживают критики «просвещенного» ума. Для человека, выросшего в верующей семье, они тысячами ассоциаций связаны с памятью детства и удерживаются сердцем вопреки разуму. А для постатеизма это просто условности.

Постатеист знакомится с историей веры до самой веры, и всякая вера для него чужая, странная. Так для верующего по-православному странно верить, что Коран совечен Аллаху; а для мусульманина еще больше странностей в православии. Для постатеиста разные системы подстановок, оказавшиеся в одном пространстве информации, сталкиваются друг с другом и уничтожают друг друга. Непосредственное **чувство** Бога, если оно испытано, не может быть расшатано, но оно редкость. И «бедному верующему» по большей части остается только отвлеченная, бесплотная идея Бога. А дальше каждый решает проблему по-своему: остается с комплексом религиозной неполноценности, пытается заставить себя принять ту или другую традицию, приходит к пониманию единого духа многих вер и т. п. Во всяком случае, это не личный и не местный кризис. Это в личном и местном облике мировой кризис.

Были и в прошлом движения, сознательно отказывавшиеся от богатства во имя честной бедности. Помимо иконоборческих движений в христианстве можно указать на еще более глубокое «знакоборческое» движение, в дальневосточном буддизме. В сущности, таким знакоборчеством был и буддизм Будды. Никаких подстановок нет в «четыре благородных истинах», которые он проповедовал: все существующее болезненно и несовершенно; у этой болезненности есть причина; эта причина может быть устранена; и есть путь к устранению этой причины. Однако после тысячи лет развития религии, создавшей богатейший арсенал подстановок, возвращение к бедности было парадоксом и не случайно избрало язык парадоксов, вошедший в моду на Западе вместе с философией абсурда, театром Йонеску и т. п. Сегодня публике нравится язык дзэнского старца: «Если ты идешь к освобождению и по дороге встретишь Будду — убей Будду...» (убей — мертвое слово во имя живого опыта). «Буква мертва, только Дух животворит», — сказал апостол Павел. Буквой он назвал святой закон, который Христос обещал исполнить до последнего слова... История повторяется.

Эта история описывается Паулем Тиллихом как постоянная борьба Бога с застывшими идеями о Боге. Атеизм занимает здесь свое законное место как момент движения, как плодотворный ноль. По Тиллиху, религия в широком смысле слова — это все предельно глубокое в человеческой культуре (этической, эстетической, научной), и если религия в узком смысле слова отвергается во имя истины, то она отвергается во имя религии. А собственно религия, религия в узком смысле слова, — всего только противовес силам цивилизации, которые уведут нас от нашей собственной глубины, противовес, ценность которого относительна и резко падает, если ревнители религии выводят его за абсолютную высоту. Я мог бы цитировать Тиллиха целыми страницами — недавно прочтенный текст у меня под рукой, — но лучше пусть читатель сделает это сам и купит книгу: П. Тиллих. Избранное. Теология культуры, серия «Лики культуры». М., 1995. А я лучше укажу на два примера, подтверждающие парадоксальные мысли великого богослова. Первый — записка Иконникова из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это тот самый случай, когда религия (как совокупность благочестивых ответов) отвергается во имя религии как духовной глубины, как вечно открытых вопросов Иова. Современный составитель мысленной русской Библии бедной религии мог бы включить в нее Гроссмана, как в Библию включен Иов.

Второй пример — из классики. Тиллих ссылается на Апокалипсис, на пророчество, что храм будет не нужен, когда Бог всюду. Но об этом писал и Достоевский — в «Дневнике писателя» за 1877 год, в «Сне смешного человека»: «У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что, когда исполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего» (ПСС, т. 25, с. 114).

Для тех, кто чувствует этот текст, религиозная бедность становится почвой, на которой растет новое богатство. И я благодарен Михаилу Эпштейну за завязку разговора, в котором еще многое может быть сказано.

Иван ОСИПОВ

Разъятые на части

КРИТИЧЕСКИЙ ГИНЬОЛЬ

Часть первая

Поколение сочинителей определяется не столько сходным возрастом, сколько поставленными вопросами, на которые никто из поколения не может ответить либо отвечает ошибочно, в силу чего любое поколение не сбывается, сбываются отдельные люди. Так же и с теми, кто входит сейчас или только вошел в литературу, они отличны от предыдущих, различие слишком велико и определено некоторыми причинами, о которых надо сказать особо.

Т. С. Элиот утверждал: между поколениями сочинителей лежит промежуток в двадцать лет. Должно быть, верно для впасть текущего времени, притом вялого, будто спросонья. Но в данном случае чуть по-другому. Те, кто лет на двадцать старше, запоздали, жили, подремывая, сном и покоем одолевая годы, по злобе называемые теперь застойными, ведать не ведали, что в литературу стобит, а главное, возможно войти. Свободы иметь свое мнение и высказывать его на бумаге и в кругу друзей доставало. Когда же покой обрушился, назад тому более десятилетия, время побежало иначе. Сделалось ясно: что-либо предпринимать уже поздно, они исчерпали отпущенное время. Потом пролегал долгий провал. Люди следующего поколения спешат по собственному хронометру.

Не стану судить об их художественных победах, чтобы не сойти до рассуждения о поражениях, хотя разного рода претензий легко предъявить не две и не три. То автор пытается бесконечной затайливостью составленных рядом противоречивых словес скопировать платоновскую интонацию, то вместо рассказа предлагает попросту анекдот, от которого бы должна начинаться, но к которому вдруг свелась, замкнув круг, современная проза, при том проникнутая у каждого сочинителя морализирующей дидактикой. Любопытны не выдумка либо органичность, интересные общие закономерности, они более значимы, чем самые яркие частности.

Новое поколение вызвано к действительности распадом. Довольно взглянуть на героев рассказов или романов. Тут же лезут в глаза или недочеловеки, недоделки, или живущие на ущербе: карлики, лилипуты, кривые, глухие, хромающие, пропитанные алкоголем и насыщенные наркотиками так, что источают облако жара, терпкого яда вокруг себя, где должен бы витать тонкий пар, выделяемый чистой и удобством тела, называемый эманацией души, проникнутые ужасом существования (экзистенциальным — крепко заявлено, экзистенция сопровождается целое, угрожает ему, а части, куски живут по законам дробы).

Везде недостаточность, телесная нехватка, воспитанные предыдущим историческим опытом, нынешним упадком и частной человеческой слабостью, подчинением обстоятельствам и страстям, обоюдно и воздействующим на окружающий мир, и зависящим от мира. От встряски истории, социума актуализовались, выступили четче прежнего культурные схемы и мотивы. Тело человека застыло гротеском, только нет карнавальная радости, чаемой и воспеваемой М. Бахтиным. Верно, единственный эпизод, где присутствуют прения верха и низа, царит веселый вповалку гогот,— эпизод из повести П. Санаева «Похороните меня за плинтусом»*: «...несколько дней назад мы ходили в поликлинику делать укол кокарбоксылазы. Перед

* Здесь и далее речь идет о произведениях, опубликованных журналом «Октябрь» в 1996-1997 годах. (Прим. автора).

выходом, прошу прощения за деликатную подробность, бабушка поставила мне свечку. ... Свечки эти имели ужасную особенность, которой случилось проявиться перед кабинетом, возле которого в ожидании своей очереди сидело человек восемь.

— Пу-у-уу... — послышалось вдруг из меня, и все заулыбались. Я испуганно сжался. «Пу-у» изменило тембр и, продолжая менять его, тянулось долго и протяжно. Вокруг засмеялись.

— Что смеетесь, идиоты? — крикнула бабушка. — У ребенка свечка в попе! Выходит — и такой звук. Ничего смешного!

У сидевших перед кабинетом оказалось другое мнение, и некоторые стали сползать от хохота со стульев».

Становление обернулось противоположностью — разъятием, расчленением, растлением, настоятельно переходящим в полный тлен. Трещины пролегли по человеческому телу и его существованию, микрокосм и макрокосм рассыпаются на куски, несамостоятельные, мертвеющие.

И вправду тут нечего уже делать с бахтинскими выкладками. Другое время и другое восприятие телесного заступило место прошлого ренессансного восприятия. Карнавальность — ныне актерство, даже фиглярство, когда осуществляется имитация, подмена. Героиня рассказа М. Шараповой «Трамвайный разъезд» смотрит на сцену, конкретную сцену конкретного театра, где разыгрывают конкретную шекспировскую пьесу (все это можно уточнить, но утонешь в повседневных подробностях), смотрит и видит: ее знакомый актер, «ломааясь в притворных актерских судорогах, выпрастывает из-за пазухи атласные алые ленты — ерническая имитация крови». В ее-то случае дело обстоит серьезнее, она продала свой труп государству, и в паспорте бледнеет водянистый штамп «Захоронению не подлежит».

Парадокс, казался бы: по русской традиции о духовном принято рассуждать, да существует и страдает тело — через него заявлен смысл эпохи, хоть впрямую, хоть символически. Сквозь тела проходят и ненависть, и любовь, осуществляются посредством их. (Телом ли можно передать равнодушие? Его-то нет даже в смерти. Смерть — огромное несогласие, если она действительна, а не сыграна.)

Почему так вышло — свои причины. Стоит отойти вспять и посмотреть. Современный гротескный человек, человек, разъятый на части позитивизмом науки (пока только науки) и осмеянный, униженный повседневно (пока только ей), созрел в конце прошлого века. Еще ни о каком особом унижении, особом страдании, о половинности человека не может и речь идти. Пока и занятно, и не чересчур обидно (едва ли весело). Впрочем, случалось и чересчур. Мопассан утверждал: составь рядом случайных прохожих и сфотографируй, возникнет галерея гротесков, таких, что и мертвец рассмеется. Человек вызывает ужас: различный рост, очень длинные либо очень короткие ноги, худоба и толщина, бледность и краснота лиц. Да Мопассан ли первый? Еще и современного человека не существовало, а человеческая особь отвращала зрителя. На том построена книга Свифта: теряются, искажаются перспективы, и слишком плотное приближение к человеку грозит подобным искажением восприятия. Гулливер в стране великанов видит грудь женщины-кормилицы, чудовищную, покрытую прыщами, пятнами и веснушками. Плоть приближенная, раздерганная даже взглядом — страшна.

Ошибки природы и цивилизации пытались исправить и выгладить, создать существо пленительной чистоты и улучшенных способностей, в немецких концлагерях из человека готовили препараты, изучали его природу куда подробнее и дотошнее прежних позитивистов, чтобы осуществить мистическую мечту — вывести человека будущего.

Чужой опыт накладывался на особенный опыт России, где селекция тоже вершилась. Людей и перевоспитывали, истребляя и подразумевая при том, что полноценные, нормальные люди остались на воле. (В. Шаламов писал: в представлениях государства физически сильный человек моральнее слабого. И где-то, уточняя мысль, добавлял: человек выжил не потому, что он Божье создание, а по причине того, что он выносливее любого животного и духовное начало подчинил физическому.) Позднее оказалось: количество прошедших испытания и селекцию непомерно, нормальных-то нет, отсутствуют. А тех, кто выжил, покорнала еще и война: «Без рук, без ног в трамвай скок» (в другом варианте «на бабу». Да и это почти ничего. Только в частушках — в потенциале — в принципе возникала андрогинная полнота, от безвыходности ситуации. Частушки пропевались и замолкали, а безвыходность оставалась:

Вот закончилась война,
Я осталась одна.
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик).

Восприятие телесности возникает не в пустоте: оно копилось, на него воздействовали и мировой путь, совершенный Россией вместе с прочими до того, как она отошла на отдельное место от сообщества на семнадцатом году двадцатого века, и дальнейшие перипетии истории, когда страна вторглась в мир уже освободительницей от фашизма, также почерпывая и усваивая созданное другими, и случившееся позже.

Человек, бредил В. Гаршин, часть большого общего, палец на ноге. Само гротескное тело империи, государства, раздерганное, больное, где Москва — сердце, остальные же члены отрублены, отъяты от пока живого, агонизирует. В судьбе страны заключена частная человеческая судьба, отражается, чего обычно не существует с такой наглядностью, с таким соответствием, как теперь.

Страдание тела и отсутствие в нем души, словно не бывшей, улетучившейся через прорехи и пазухи, и следует разглядеть в прозе нынешнего, последнего поколения сочинителей. И, как поколение составляет тоже некое тело, сопоставленное единство, имеет собственную судьбу, так и отдельные произведения запечатлевают разные стадии пути от человека к миру и разложения того и другого.

Если я уделяю равное внимание повести Павла Санаева, рассказу Маргариты Шараповой, роману Олега Павлова и Алексея Варламова, это значит лишь, что дисгармонии соответствует дисгармония. Странно было бы посвящать больше внимания роману на основании его протяженности и оделять рассказ из-за его краткости: при желании можно то же самое разглядеть, например, в любом рассказе из подборки «Новые имена», напечатанной в прошлом году.

Часть вторая

Саша Савельев, герой повести «Похороните меня за плинтусом», сам признается, сколь часто его мучили мысли о смерти. Он не рисовал кресты, не клал карандаши крест-накрест, боялся спичек, боялся ходить задом наперед, перепутать тапочки, боялся встретить в книге и слово «смерть». Еще бы не бояться, когда он то и дело пьет горсти таблеток, сдает анализы и пробы крови, проверяется на хитро устроенных аппаратах. По словам бабушки, у него золотистый патогенный стафилококк, пристеночный гайморит, синусит, фронтит, панкреатит, колит, астма, тонзиллит, почечная и ферментативная недостаточности, повышенное внутричерепное давление. Тут уж нет нужды выяснять, какие болезни действительные, какие мнимые, в пору лечиться без перерыва.

Только можно ли верить бабушке, взбалмошной говорливой ругательнице, безудержно матерящейся, проклинающей землей и водой, птицами и рыбами, стихиями и явлениями самых близких и дальних, сумасшедшей — по крайней мере о том заявляет с гордостью она сама (даже справка имеется!) и горестно подтверждает ее муж, известный старый артист. Да и по делам ее видно, она не в себе: гонит дочь, Сашину маму, величает ее потаскухой за то, что бросила ребенка и влюбилась в пьющего сочинского карлика (пусть не карлик, уточнял Сашин дедушка, вот такого роста, и поднимал руку на метр от земли), а ребенка матери не отдает, и живет Саша Савельев с дедушкой-бабушкой.

Жизнь его переполнена ежедневными тихими и громкими сражениями из-за ошибок, допущенных в диктанте, из-за вожделенного магнитофона «Филипс», из-за возможности (верней, невозможности) пойти во двор соседнего института МАДИ, чтобы побегать по стройке. Жизнь его — борьба, пусть и не понимает он сам, не за волю (какая воля у задерганного маленького мальчика!), но за телесное функционирование, за эмансипацию тела и подчинение его собственному телу не чьей-то чужой указке, а собственному произволению.

Саша растет от личного, частного к социальному опыту, осознавая неизбежность смерти (ведь смерть неизбежна) и боится, боится. В доме порхают посулы «убить», «убью». Грозится дедушка — он нестрашно, грозится бабушка — куда страшней. Бабушка обещает убить за любую провинность: за то, что вспотел, за то, что пошел не туда, за то, что ослушался, — порежет бритвой на куски, купит вагончики для детской железной дороги и разломает на его голове. А бабушкины проклятия! «Чтоб ты заживо в больнице сгнил! Чтоб у тебя отошли печень, почки, мозг, сердце!»

И сколько возможностей смерти, да каких необычных, пророчит бабушка. Дедушка пойдет в МАДИ, даст сторожу десять рублей, и, когда Саша появится на стройке, сторож из уважения к дедушке убьет Сашу, вырвет ему ноги и руки, а в зад напихает гаек, за которыми, по бабушкиному разумению, внук ее туда и ходит. А то

еще Саша поступит в школу, где учатся не дети, форменные битюги, они его растопчут и не заметят.

Саша растет, а тело не делается его телом, оно принадлежит другим, остается набором предметов, объектом для изучения и истязания; в детском санатории подросток Лордкипанидзе делает ему «сливки» и «бубенчики», медсестры за шалость обещают взять кровь на анализ и таскают за волосы. На Сашиных глазах разыгрывается гротескная смерть: Лордкипанидзе наносит маленькому Куранову серию боксерских ударов в живот, и Куранов не от боли, от страха падает на кровать, а Лордкипанидзе с чудесным грузинским акцентом произносит над павшей «боксерской грушей» надгробную речь.

Телесность торжествует, а духовность не побеждает плоть, она делается столь же гротескной, как сделалось тело. Саша выходит зимой на балкон, но, чтобы бабушка не ругалась, выдумывает какую-то фантастическую историю — сверху на балкон упали чьи-то тапочки, которые потом унесли вороны. И так и темнеют на белом снегу неопознанно чьи таинственные следы, будто след снисхождения свыше.

Кто может ощущать счастье в таком безысходно телесном мире? Едва ли не сумасшедшая бабушка, да и у нее счастье спроецировано в прошлое, относится туда памятью: «Сидишь в манежке, бывало, зассанный весь. Ручками машешь и кричишь: «Я дидивот! Я дидивот!» Я подойду, сменю тебе простынку, поправлю ласково: «Не дидивот, Сашенька, а идиот». А ты опять: «Дидивот! Дидивот!» Такая ласпочка был...» Станем как дети?

Часть третья

В «Трамвайном разъезде» есть другой мальчик, Алеша Куприянов, о бытии которого никак не может вспомнить героиня — ну, позабыла за временем и пространством, — а ведь сын, продолжение фамилии, рода. И вот появляется он то ли в подступившем омерзительном алкогольном бреду, то ли и вправду — раздается звонок в дверь. И уже стоит на пороге: «Пацан. Тоший. Отвратительно хмурый. Лобик и так узкий, а он его еще и морщит». Извинился, как обознался. А может, и вправду не он. Этого «вправду» и нет у безыменной героини рассказа. Есть многое, например, дважды бывший Чижик, бывший ее муж и бывший цирковой клоун, полужаркий-полумальчик сорока пяти лет с лилипутским голоском (когда она его обнимает, лицо Чижика оказывается у нее под мышкой). А между тем Чижик ее любил, даже в любовном угаре из стартового пистолета стрелял ей в висок, так из-за любви стрелял, не из-за чего-нибудь. Может, он и теперь ее любит, по крайней мере зовет в гости к своей нынешней сожительнице да и в театр приглашает, где работает сейчас актером.

Героиня и хотела бы понять, нужен ей Чижик, не нужен, но не может, кругом все затянато пьяным туманом и ужасом. И страшные намеки перепархивают вокруг об убийстве в Светлом проезде; вообще то тут, то там вспыхивает это слово — «убийство». Смысл улетучивается, а страшное слово остается, потому что вокруг героини порхает смерть, а ей никак нельзя умирать. Умрет она, произойдет нечто страшное: ведь она продала свое тело после смерти в медицинский институт, и не в один, а в разные учреждения — в Вишневского, в Первую градскую, в Склифосовского. И целиком, и по частям, отдельно: почки, печень, костяк.

Скоро ее будут судить за продажу трупа, ее собственного, не чьего-то. Но ей и так несладко. Она подвержена мании, кажется, ее преследуют, сейчас подкрадутся и вырвут печень. (Это могло бы выглядеть изящной пародией на древнегреческий миф о Прометее. Но там вырывают не щипцами какими-нибудь, железными и страшными, а благородно — выклеывает орел, а печень нарастает вновь и вновь. Нет унижения, напротив, мифологическая благодать. Вечное повторение.) А тут постоянный ужас и постоянное ощущение смерти, у нее же гипоксия, она в любой момент задохнется, и врожденный порок сердца. Кому нужны ее жалкие внутренности, если она пропитана, больна, в глухом бреду? И постоянное физическое ощущение смерти: вот сейчас, вот в самый ближайший миг — она. Еще со школьных лет запомнила поездку в институт возле ВДНХ: «Младенцы заспиртованы всякие в банках. Потом еще руки, ноги, но уже от взрослых... без кожуры уже, без кожи то есть. ...Отдельно руки от ног, причем правые отдельно от левых. Ноги в ваннах отмывают в растворе каком-то, руки тоже в ваннах. ...А мозги в кастрюлях — обыкновенных, эмалированных. Несклько кастрюль с мозгами». Не хочется умирать, не хочется, отдадут ее в какой-нибудь институт. Только в какой? Тело же распродано и распивочно, и навывнос по разным учреждениям, принадлежит и многим, и никому.

Что прорывается сквозь алкогольный туман, трудно разглядеть, между тем тут полная социализованность, растворение в государственном. И очень известный литературный мотив мертвого тела, «неизвестно кому принадлежащего» (по сказке В. Ф. Одоевского). Всем и никому: и государству, и человеку, ни человеку, ни государству. Вот почему ей плохо в метро. «В метро и всегда-то плохо. Это мир мертвых. Живым здесь нельзя. А тем более жутко, когда немощь. Трупкою. Сую под язык нитроглицерин. Я не доеду к маме. Я умру по дороге. Упаду на этот шатающийся вагонный пол. Вынесут на станции в дежурку. Опознают. А потом, да, а потом, нет, не похоронят. «Захоронению не подлежит» — так отмечено в документах. Нет! Не хочу. Я хочу, как все... Да, надо сменить имя, паспорт, страну...» Это сказано о метрополитене, который в масштабе, в приближении рукотворности символизирует на тогдшний и на сегодняшний момент распавшееся, а прежде неделимое, цельное государство, в котором, как помните, ценятся только сильные, здоровые люди. Немудрено, что здесь страшно жить. И еще страшней умирать.

Она жалуется Чижику, что боится смерти. Я тоже содохну, успокаивает Чижик. Но она-то умрет иначе. Вдруг ее отправят в институт Склифосовского, тогда точно отделят руки и ноги, выпотрошат, разложат по емкостям. А душа? «А душа моя в это время будет незримо сверху находиться и переживать!»

Еще бы, на земле-то жизнь была не обустроена. Вот вспомнила случайно о сыне. Надо бы отвезти ему чего-нибудь. Мыслится привычными категориями: носки — какие ему купить носки? Какой он теперь, этот позабытый ею сын, Алеша Куприянов, даже носящий чужую фамилию, то бишь совсем отдаленный, отделенный от нее. Вот и везет в детскую колонию, где теперь сидит утраченный сынок, носки большого размера — большое не маленькое, можно пятку повыше натянуть, и шагай себе сколько захочешь. Жвачку. И еще книгу, не что-то там, а «Всадник без головы» Майн Рида, пусть читает Алеша Куприянов, набирается ума-разума (даже в вещах, даже в названии книги отражается то же — отсутствие, нехватка, усеченность). Каждая вещь, любое именование, слово оборачиваются символами — дидактика искажает прозаическую ткань, повествовательность выходит прямым рассказом, длящимся монологом, бессильным прерваться, чаще от первого лица, где первое лицо замещено третьим, звучит авторский монолог, пластика заменяется истолкованием, объяснением. Частные причины разные: и самоупоеание, и ученичество, и учительство, — общая причина единична: дисгармония мира проникает сквозь человека, часть отделена от целого, функционирует, чудовищно разросшаяся. Голос, телесная способность выговаривать, бормотать, по Достоевскому, умирает последней, после смерти (рассказ «Бобок» и состоит из таких голосов).

Часть четвертая

Уверен, что еще напишут о романах Олега Павлова и Алексея Варламова и подробней, и с других позиций. Меня же здесь интересует тема, соответственно объединяющая и поколение, и такие разные произведения. Хотя во многом «Дело Матюшина» и «Затонувший ковчег» похожи. На мой взгляд, оба сочинения условны, не романы. Сложность и многофигурность заменена пространностью, временной дистанцией.

«Дело Матюшина» — попытка проследить через биологические и общественные перипетии становление человека, на самом же деле тут прослежено становление тела, от неприличного матерного определения соития матюшинских родителей до форм социализованных: герой пошел служить отечеству. Жизнь Матюшина — тоже в первую очередь жизнь тела. Он недостаточен, неполноценен, глух на одно ухо, по глухоте его сперва и не берут в армию (ущербные родине лишни), лишь потом из уважения к отцу-военному призывают на службу.

И все произведение — становление бесконечных синонимических рядов («умереть», «содохнуть», «убить»), где смерть повторяется и повторяется, приобретает смысловые дублеты, теряя свою сущность, выговаривается словом до конца.

Схоже и у А. Варламова. Автор повествует о раскольничьем поселке Бухаре, долгой истории его и остальном мире, расположенном концентрическими кругами вокруг, он задается вопросами духовности, истории и религии. Но на первый план опять настойчиво выступают перипетии телесности. Тут и судьба попавшей в капкан и потерявшей ногу травицы Евстолии, и судьба директора школы Ильи Петровича, чуть не совершившего грех с девочкой-подростком, в конце концов через много лет попавшего в тот же самый, выставленный уже на него заржавелый капкан. И судьба оскопленного за изнасилование самозванного Божественного Иску-

пителя Люппо, судьба созданной им общины скопцов. Судьба притворного самозванного старца Вассиана. Уже из этого перечисления понятно: автор тоже строит синонимический ряд, ряд повторяющихся ситуаций, ситуативных аналогий, который можно при желании продолжить.

Главное же, что указывает на истинный объект повествования,— вдвинутая в центр романа притча «Рука Москвы», притча, сочиненная старцем Вассианом. Такая центральная история, отражающая смысл всего сочинения и стягивающая остальные смыслы, интегрирующая их, зовется «геральдической конструкцией» и хорошо проработана в современной культурологии, впрочем, появилась она отнюдь не в здешнем веке (еще в «Гамлете» центр занимает пьеса в пьесе «Мышеловка»).

Но вернемся к притче о майоре милиции со звучной фамилией Мудрак, не верующем в Бога и не поверившем даже тогда, когда потерял правую руку, а явившийся спасти его душу ангел, дабы майор поверил в чудо, восстановил эту потерянную руку в том же самом виде, что и была: «Он дотронулся до нее, кисть не пропала. Мудрак испуганно ею пошевелил — кисть сидела на месте как влитая. Рука как рука — точно такая же, как и была раньше, с крепкими пальцами, с толстой кожей, в которую въелся и уже не отмывался порох, с желтыми от никотина ногтями». Опровергая чудо и подтверждая свою надуманную фамилию, майор схватил тесак и заново отрубил выросшую кисть.

Повествование, скрепленное таким «замковым камнем», не может восприниматься в иной тональности, чем сама притча. И потому гиньодем кажется сцена самосожжения раскольников, так же как и другая сцена с душой академика Рогова: «Он глядел с небольшой высоты на свое мокнущее тело и терпеливо ждал, пока наконец в середине дня заявили в милицию, пока приехали врачи и покойника отвезли в больницу. ...Убивалась и плакала пожилая медсестра, пришел патологоанатом, и после ненужной, но обязательной процедуры вскрытия посиневший старческий труп отнесли в привилегированный морг. ...Он чувствовал, что та свобода, которой он одновременно боялся и искал, пришла к нему, и он был волен делать, что хочет, гонимый игольчатым ветром посмертия. И рядом с ним так же блуждали в потемках души других людей, задевали друг друга, жаловались и тосковали. Иные, более опытные, готовились к восхождению в вышину...» Опытная душа, превосходный оксюморон.

Часть пятая

Что же может склеить человека, скрепить воедино, если не смерть и любовь, любовь и смерть, находящиеся в строгом и тесном сопряжении. Отсутствие любви и боязнь смерти свидетельствуют о понарошности их, неподлинности. И тогда случается самоутверждение, ибо, если смерть не настоящая, то и жизнь не подтверждена ею, до тех пор и будет существовать это, витающее над людьми, «Захоронению не подлежит». Иначе — неживость и несмертельность. Вечное прозябание рядом с чужой жизнью: «"Никогда" было самым страшным в моем представлении о смерти. Я хорошо представлял, как придется лежать одному в земле на кладбище под крестом, никогда не вставать, видеть только темноту и слышать шуршание червей, которые ели бы меня, а я не мог бы их отогнать. Это было так страшно, что я все время думал, как этого избежать.

"Я попрошу маму похоронить меня дома за плитусом,— придумал я однажды.— Там не будет червей, не будет темноты. Мама будет ходить мимо, я буду смотреть на нее из щели, и мне не будет так страшно, как если бы меня похоронили на кладбище"».

Религия, во всяком случае, религия прошлая, тут слаба, смертью смерть теперь не поправь, то бишь не спасишься от смерти ненатуральной, гиньольной и от ужаса смерти — действительного и яростного. Можно попробовать:

«— Чижик, а давай ты убьешь меня, а? Помнишь, ты однажды стрелял мне в висок из стартового пистолета? Помнишь?»

— Помню, помню...

— Чижик, пожалуйста. Только труп никому не отдавай. Зарой меня тайно в землю. Где-нибудь, не важно! Лишь бы в землю. Целиком. Пожалуйста, похорони меня. Прошу, пожалуйста. Я не хочу мозги в кастрюлю, а сердце в банку... руки с ногами в ванны, левые отдельно от правых». Выстрелить из пистолета, именно из стартового, чтобы начать бег на свободу, на волю.

Есть и другая возможность спаситься: не отомолить у небес, а отнять на земле свою жизнь, совершить волевой акт обмена собственной смерти на смерть другого

(по сути — собственной немощи на чужую телесную и духовную немощь), как это описано в «Деле Матюшина».

Понимая, что судьба проиграна, его сдадут сослуживцы, сами же заставившие продавать заключенным спиртное, Матюшин решил застрелиться. И пока он, при высоком росте затиснутый на вышке почти полулежа, словно в гробу (этакий Радион Раскольников в косой каморке), вдруг почувствовал выход. Да и кого жалеть? Корявого зека, почти труп — в нем будто сразу, с самого что ни на есть начала отсутствует жизненная сила, гнездится немочь. Он и движется этой нехваткой, колеблясь, переминаясь: «Трудно ему было совладать с хромой ногой, которая то оттягивалась, то утыкалась палкой. От трудности, что ли, он вставал, озираясь украдкой сгорбленно на проделанные шаги, но выпрямлялся, двигаясь к водочной и маяча солдатку».

И потому смерть выглядит такой же игрушечной, не возвращая к жизни. Разве можно обменяться силой с марионеткой, подведомственной ниточкам, посторонним усилиям и обмирающей, едва усилие водителя исчерпалось: «Он выдохся на глазах, но дернулся назад, настигнутый вдруг испугом. Его хромая дряхлая нога подвернулась, и он рухнул наземь, уже порываясь уползти... И выстрел загрохотал за выстрелом, оглушивая. И все будто добить никак не может. Зек от разрывов пулевых вертится, неживой, и от пуль изворачивается, умирать не хочет. Когда же затвор по-пустому дернулся и окошел, то тело обмякло и обрело вечный покой от одного пустого щелчка».

Подчеркивая внятное, тем строя символику («одуревшего Матюшина стащили с вышки, где сторожил он убийцей свой труп»), автор заставляет героя еще раз (пусть неведомо для него) осуществить обмен. Кабы Матюшин знал, что убивать зека и таким образом спастись, нет никакой нужды: у него умер отец, и скорости его приказным порядком отпустят из армии. Да любил ли он отца? Пепел сожженного Клааса стучал в сердце Тиля Уленшпигеля (чудовищная пошлость, еще по мнению Мандельштама). В большой, выстывшей на сплошном морозе, обледеленной сумке Матюшина стучит пластмассовая урночка с прахом отца, выданная ему в крематории.

Любовь, есть разные формы любви — от явленной вслух, даже подчеркнутой, разворачивающейся прилюдно, по крайней мере на чужих глазах, как в том же рассказе про трамвайный разъезд («Чижик просыпается на своей кушетке, приподнимает голову; один глаз у него залипший. Зевает.

— Эй, ты здесь еще?.. Идем в ванную. Я тебя хочу...— Встает, потягивается, ломаясь телом.— Ну, идем, идем, идем...

— Сходи ты с ним,— говорит Фанни.

И я с неожиданной прытью вскакиваю и волоку не прочухавшегося еще со сна Чижика в ванную. Там кто-то стирает. Мы выдворяем этого человека и, наспех раздевшись, плюхаемся в полную замоченным бельем купель. ...Кто-то входит и начинает чистить зубы над умывальником. Смутно различаю — Фанни»), и до любви скрытой, почти тайной, пусть хотя бы притаенной: измученный бесконечным тиранством жены старик в повести о посмертном захоронении за плитусом просит товарища: «Ты горбушки не ешь? Дай, я бабке возьму, а то ей мякиш вредно...»

Но все они — и прижизненная любовь, и любовь-память, посмертная, — происходят только в этом мире, потому что никакого иного мира нет, а этот все время присутствует, давит своими углами, обступает кругами и вытянутыми выгнутыми линиями, нет иного (потому так нелепо и выглядит смерть в романе А. Варламова, тот же гротеск, только спроецированный на небеса). Впрочем, речь о любви и о продолжении жизни.

Грех там или не грех, блуд (опять-таки как применять подобные категории к существующему в иных пределах), но герои эти лишены дара воспроизводства — или по причине насильственного и самооскопления, как в «Затонувшем ковчеге», или по утере памяти, скрепляющей род, наделяющей переданную кровь прошлым, как в «Трамвайном разъезде». Они и размножаются чуть ли не клонированием: «Понимаете, я его не помню, Алешу Куприянова. Не помню, как я его родила. Абсолютно. Разве это можно забыть? В том-то и дело. Первых же двух помню. Они настоящие были. Особенно первый. Хотя и прожил только две недели. Второй сразу мертвым родился. То есть уже там, внутри, умер. А третий... не помню. Но я лишена родительских прав каким-то образом. Значит, он существует, этот Алеша Куприянов».

Ни боли рождения, значит, ни боли утраты другого: Матюшин чувствует перед убийством тошнющую легкость. Себя, однако, жалко до слез, до страсти, до испуга.

Любовь разгорается в виду смерти, в виду смерти своей и любовь к себе, а если смерть невзправдошная, репризна, словно в цирке, то столь же невзправдош-

на, репризна и любовь, она делается случайной, ей проще не быть. Кого там любит Матюшин? Кого любит героиня «Трамвайного разезда»? А тихий мальчик Саша Савельев? Ну, себя, ну, маму. О смерти дедушки, а следовательно, о любви к нему он и не мыслит. А бабушку попросту не любит и признается в том. Зато бабушка любит его, сатанея от любви и приливов безумия: «Это он по метрике матери своей сын. По любви — нет на свете человека, который бы любил его, как я люблю. Кровью прикипело ко мне дитя это», — и умирает, а Саша молчит на похоронах.

Где же надежда, куда она делась, и куда деваться человеку без нее? Верить в посмертное воскрешение, религиозное воссоединение? Кто тогда что разберет, если и студент, приставленный на земле к разъятым телесным частям, этим самым рукам и ногам, замоченным в растворе, не понимает, а может лишь догадаться, откуда и что: «Одну руку нам студент крючком выловил, говорит, женская, наверное, потому что пальчики тонкие, изящные». Кстати, мрачный шутник А. Бирс утверждал: могила — место, в котором мертвец лежит, ожидая пришествия студента-медика. А тут и могилы нет. Из оставшегося — штамп в паспорте «Захоронению не подлежит».

Эпилог

Чувство безвыходности истомило бы, но на наше спасение человеку доступен выбор. Люди живут не одни, и, пусть у каждого поколения свои нерешаемые вопросы, есть вопросы решенные. Часто по соседству с безвыходностью существует выход. Каково бы ни было поколение, которое предшествовало нынешнему (хоть оно и находится в нетях, не появившись публично, переступило порог небытия), проблему разъединения и отъятия, искушение гротеском оно одолело, по-своему сопрягло любовь и смерть, и обязательное спасение, то, чего не дано поколению теперешних сочинителей и, возможно, никогда и не будет дано. И все это уместилось в двух с небольшим десятках строк поэта того, прошедшего, поколения — Ивана Макарова.

Краткий миг — щелчок затвора.
Ничего уже не жалко:
Взгляд холодный репортера
Погружается в «зеркалку».

Шестеренок тихий скрежет —
Неопасное увечье —
Фотография отрежет
Голову ему по плечи.

Хоть на стену, хоть в газету,
В рыжую обложку «Дело»,
Побредет лицо по свету,
Отлученное от тела.

Осень. Дым. Листва танцует
Многогранными дворами,
По плечам башка тоскует
Неподвижными глазами.

Все мы верим, как солдаты,
В вероятность возвращенья.
Все, разъятое когда-то,
Жадно ждет соединенья.

Где-то что-то есть такое, —
Где рычат, как леопарды,
Руки, ноги, все другое,
Не вместившееся в кадры.



Утраченные аллюзии

*Я смотрю назад, на мои минувшие дни,
когда я пререкался в тумане с разными
лингвистами и спорщиками...*

Уолт Уитмен. Песня о себе

Константин Вагинов в «Бамбочаде» цитирует романские строки, которые комментаторы ее переиздания (М., 1991) не атрибутируют. Мне тоже лень искать, а надо бы — проблема их авторства не дает покоя. Замечательны они тем, что ритмически амбивалентны, могут быть прочтены двояко — и эта версификационная, метрическая раздвоенность создает хронологический зазор неопределенности в несколько десятилетий. От языковско-шевыревского:

Возьми, египтянка, гитару.
Ударь по струнам, восклицай! —

до полонско-григорьевского:

Возьми, египтянка, гитару.
Ударь по струнам, восклицай!

Прав Бродский: с таким языком, как русский, ждать скорой смерти поэзии не приходится.

Обэриуты — элейцы советской эпохи. Как и тела в апориях Зенона, их эстетика не в силах сдвинуться с места: их бессмысленная и внеэмоциональная стрела никуда не летит, их многочисленные нищенствующие наследники не могут перешагнуть через старую черепаху. А вся эта картина затянувшегося недоумения напоминает глухую железнодорожную станцию из Зенонова аргумента «Стадий» — с ее прижавевшими к рельсам, обезглавленными и пустыми составами.

Гремучая смесь бенедиктовского чудовищного вальсирования с иронично-умными онегинскими балами чувствуется не только в «Столбцах» Заболоцкого, но и в современной им великолепной «Университетской поэме» Набокова:

Послушны грохоту и стону,
ступают пары по газону,
и серпантин со всех сторон.
То плачет в голос саксофон,
то молоточки и трещотки...

У Набокова, конечно, не столь страшно, как у Заболоцкого, иной тембр — дальше от Бенедиктова, ближе к Пушкину:

...будильник с искрой в куполке
прилежно тикает, под шкапом
мышь пошуршит и шуркнет прочь,
и в тишине смиренным храпом
исходит нищенская ночь.

И наконец:

...почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.

Поэма эта написана в 1927 (юбилейном) году — за год до «Свадьбы» и «Рыбной лавки» Заболоцкого. Тем удивительней, что и в ней появление слова «рыба» требует извлечения слова «нож», а затем речь неминуемо доводит нас до «сковороды» или «кастрюли»:

Там мяса розовые глыбы,
сырая вонь блестящей рыбы,
ножи, кастрюли...

Еще важнее другое — то, что от Музы и от эпохи, как от ножа, некуда убежать: найдут и на улице Красных Зорь, и на Курфюрстендам.

«...Отец был в редакции или на заседании,— и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю как выразиться — телеологическому, что ли, «целобусловленному» воздействию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать этот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу...» («Другие берега»).

Такова набоковская *культуродия*, которая не только многое проясняет в художественном опыте этого писателя, но и подводит к пониманию его — «потусторонней» якобы — «тайны». «Тайна» — до боли банальна, она не более чем осознание «волшебной силы искусства». Легко заметить сходство набоковской культуродии с иными, современными ей, внерелигиозными попытками оправдания бытия — с тем, скажем, что Манделштам называет «телеологическим теплом», а Анненский — «Тоской Идеала». Искусство, согласно таким представлениям, обладает способностью воскрешать, делать мнимое подлинным, неживое — живым.

Вот что впечатляет: в той самой степени, в какой образы умерших становятся в «Других берегах» волшебно живыми, воскрешенными и осязаемыми, запечатленные образы «еще живых» близких кажутся читающему чуть-чуть марципановыми, сладкими и обидно ходульными. Отец, мать, дядя, Россия воскрешены и прекрасны, тогда как жена, сын и «крупные клятвы» красотам вольной Америки отдают, на наш вкус, целлулоидом рекламного слайда. Задуманного автором — чересчур очевидного, белониточного — равновесия исхода и завершения по-настоящему не получается. Эти мальчики, держащие в каждой руке по родителю, не равны друг другу, и колыбель Дмитрия Владимировича отчего-то над бездною не качается — стоит прочно и внелитературно.

Что, впрочем, лишь подтверждает справедливость и стройность исповедуемой нашим прозаиком культуродии: воскрешение, вечная жизнь — катарсис страданий и гибели.

Литература — игра, разумеется. Но игра со смертью.

Заговорили о будущем, спросили: а что вы, дескать, думаете про ад — есть ли он?

Думаю, существует. Как некий лыжный курорт или аттракционный ЦПКиО внутри будничной райской жизни, как красные (горячительные!) дни запредельного календаря.

Скажем так: человек своею земной жизнью, ее интенсивностью и направленностью зарабатывает вовсе не вечное блаженство или вечные муки, а каждый свою пропорцию рая и ада, еще точнее — каждый свою порцию ада. Рай-то гарантирован и безбрежен, а вот ад, с его увеселеньями, диснейлендами и спорттренажерами, престижен и лимитирован.

Скромно надеюсь проводить там, в жарких регионах потустороннего, если и не уик-энды, то хотя бы по две-три недели два-три раза в году. Буду завидовать, как и здесь, золотеющей молодежи и алмазновласым плейбоям, умудрившимся нагрешить при жизни на круглогодичный загробный Давос или на белоснежную виллу на берегу Средиземного моря.

Прелесть стихов, как известно, состоит в их несводимости к простой семантической плоскости, в непереводаемости на язык «низких истин». Сказанное, однако, не означает, что стихи нельзя комментировать — или, лучше того, что их можно истолковывать совершенно бездумно и вольно.

В 1910 году Мандельштам опубликовал стихотворение *без названия* (подчеркну это), которое впоследствии, в 1913 году, он озаглавил «Silentium». Оно начинается так:

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Все без исключения комментаторы связывают эти стихи с тютчевским «Silentium!» («Молчи, скрывайся и таи...», 1830) и с верленовским «Art poétique» («Искусством поэзии», 1874). Соглашаюсь, поскольку речь здесь идет о любви и поэзии (*она* — Афродита-поэзия), но дополню: любви-поэзии *трагедийной*, чья проблематика восходит к работе Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1871), а от нее — к эстетике Рихарда Вагнера. «Когда музыка покинула хоровод сестер, она взяла... у своей глубокомысленной сестры, поэзии, *слово...*» — писал Вагнер («Произведение искусства будущего», 1849).

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито! —

синтезирует Мандельштам.

Происхождение этого стихотворения, мы видим, весьма сложное и запутанное. Тем рискованней необдуманно, как то делает один из комментаторов, А. Г. Мец, называть его «одноименным» тютчевскому (словно повелительное «Молчание!» и констатирующее «Молчание» — одно и то же) — и тотчас, что еще более неосмотрительно, повернувшись кругом, утверждать, будто местоимения первой и второй строк («она») относятся к этому «молчанию», к этой «первоначальной немоте» (Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 527). *Первоначальная первооснова* — и на тебе! — *еще не родилась...*

О богах не сужу. Но все эти *Антинои в снегах*, расставленные по свету императором Адрианом, должны, кажется, убедить последнего идиота: в человеке на протяжении тысячелетий ничего не меняется, руки-ноги все там же.

И когда какие-то подозрительно возбужденные подпольные господа начинают мне говорить о своевременности виртуальной реальности, а также о немедленной необходимости отказаться от членораздельности запятых и равновесия рифм, упрашивают меня стать на четвереньки, отрастить хвост и послушать их лай, то, увы, ничем, кроме глумливой ухмылки, я не могу им ответить.

Читатель, брудер (как пишет Набоков в «Лолите»), ужель и ты, Брут, с ними?

Модные, валютные имена — Батай, Делёз, Деррида...

«Банзай! — до слез хочется иногда заорать.— Деррида какая!..»

Дерюжное нечто и ерундовое.

Мало нам было Ницше и Маркса — хотим пофуковать.

Нынешняя философия похожа на *выйденное яйцо*: цыпленок давно *вышел*, вырос, стал петухом, его, наконец, уже съели.

Они, бедолаги, думают, что ежели совсем непонятно и бесструктурно, то это и есть *Рильке сегодня*. Дуино путают с Дунькой.

Милый, добрый Александр Гинзбург, прочайший Айги в Нобелевские лауреаты... и, увы, не отличающий верлибра от белого стиха.

Кажется, что «заслонять» происходит от слова «слон», но это не так. От слова «Моська». (Не найдет ли М. Золотоносов тут криминала?)

Вся картина называется — «Апокалипсис, или Иван на острове Сорос». Толстый журнал должен именоваться — «Ящик Пандоры». Все, кроме глотателей уст-

риц, питаются мертвечиной, а посему вакхансия поэта, если и не пуста, то — у стойки бара.

Пример опечатки: *които эрго сум*.

Дворцовая площадь. Революционная солдатня, греющаяся вокруг костров. Холодок штыков. «Здравствуйте, Александр Блок!»

Тут мне отчего-то приходят на ум французские собутыльники, допившиеся до белых чертиков и яичничных колоритов — «Здравствуйте, господин Гоген!», «Автопортрет с отрезанным ухом».

Глубокомысленно зададимся вопросом: не является ли поэма «Двенадцать» отрезанным ухом Блока? Или: не содержится ли ментального смысла в таком факте: во Франции отсекается ухо, в России же — нос? Не отражение ль это этнических ипостасей столь любезного нынешним модникам «страха кастрации»?

Роден — со сломанным носом — не в счет.

Кто же приплыл к нам на футуристическом «пароходе современности»? Уж не тот ли омерзительно молодящийся старикашка — с первых страниц «Смерти в Венеции», глядя на «непомерную возбужденность» которого, Ашенбах чувствует, что мир вот-вот превратится в карикатуру? Настоящий «прошляк» — сам Крученых: кукиш он показывает зеркалу.

Всяк, право, хочет жить «в обнимку с молодостью», сидеть «меж юношей безумных». Занятие, согласно Пушкину, непростое, требующее душевного напряжения, сопряженное с горькой рефлексией. А вот пахнущий тленом и гримом почти столетний «авангардизм» до сих пор *оживлен* — вроде крашенных педиков с приклеенными кудряшками.

Писания Г. О. Винокура о Хлебникове дышат подлинной футуристической страстностью. Они, особенно поздние, при этом очень трезвы и по сути верны. Но в них поражает совершенно особенный дух времени, нам уже непонятный. Эти героические (даже «классицистические») призывы пройти всю безводную пустыню корпуса будетлянина в поисках зыбких миражей и минутных оазисов — филологический отголосок викторианско-сталинского империализма. Ибо и сам Хлебников, по Винокуру, — суперимпериалист, «ожесточенный враг всего, что делает *одного* человека непохожим на другого» (Винокур Г. О. Филологические исследования. М., 1990, с. 251).

«...Какая же, в самом деле, притягательная сила поддерживает нас в этом героическом переходе через бездонные пропасти и мрачные провалы хлебниковского косноязычия?» — недоумевает лингвистический Пржевальский (там же, с. 32).

Интерес исследователя Монголии, старателя, геолога, кладоискателя. Любопытность архивиста. Феноменология Дон Жуана... Все что угодно! Но только не притяженье *любви*. Любить будущее (*незнаемое*) невозможно, любить можно лишь прошлое и настоящее.

Воображаю, как сейчас на меня заорут, но скажу (потому что — пора): *езда-то ездой*, да езда эта — морозовская какая-то: подневольная, обратнотрящая, с фанатизмом в очах и воздетым двуперстием рифмы.

Львиная доля № 14 «Нового литературного обозрения» посвящена уфологии Петербурга — литературным (?) призракам 60—70-х гг.

Забавно, что это сугубо филологическое издание, бравирующее своей точностью и научностью, не сверяет цитат. Вот, например, А. Пикач пишет: «...замечательно сказал поэт Константин Вагинов: «Не в звуках музыка. Она / В соединеньи образов дана» (с. 185). Между тем нетрудно взять прижизненное издание и прочесть: «...— она / Во измененьи образов заключена». Что, конечно, более содержательно.

В. Кулаков продолжает тут свой, санкционированный Соросом ночной смотр подпольных покойников. Ладно бы, да среди них отчего-то позатесались еще «притворяющиеся непогибшими» верлибристы во цвете лет — Валерий Земских и Арсен Мирзаев. Удивился сперва, а потом сообразил: правильно! Под верлибрами бессмысленно ставить даты: они пишутся *никогда*. Там нет ни отцов, ни детей. Только бесплодие.

Поговорим о генеалогическом дереве литературы.

Отличие его от обычного — в том, что в искусстве ничто не умирает, никакая ветвь рода не пресекается бесповоротно. Любую, даже если она кажется прекратившейся сто лет назад, можно продолжить — сегодня или послезавтра.

Другое отличие духовной генеалогии от двуполо-технической — возможность иметь двух, трех, четырех законных отцов: дети здесь во всем равноправны родителям — не то чтобы выбирают их, но, если так можно выразиться, зачинают.

Всякий пишущий знает, вернее, обязан знать, своих прямых предков. (Имеются, конечно, и обычные в таких делах подтасовки: некто именуется Габсбургом или Романовым, не будучи им по сути; у леди Чаттерли есть муж и егерь.) И отношение к прямым предкам совсем иное, нежели к забавным и надоедливим двоюродным дядюшкам. Эти «Васильи Львовичи» (для нас — русские футуристы) ничего и не вызывают, кроме тихого фамильярного отвращения. Куда, олухи, они растранижирили нашу наследственную информацию! Как глупы и уродливы эти кузены — пародия на меня! С кузинами — хотя, случается, и милы — каши не сварить.

Почитаешь Кибирова и поймешь — дальний родственник. Но как же его любить, если наши с ним линии разошлись после Державина? Говорят, Пушкин — в его роду. Нет и еще раз нет! В его роду — Воейков и Бенедиктов. И потому только он смотрит на Пушкина иронически. Его, прапраправнучатого племянничка, право.

Вячеслав Иванов пишет из Монтрё (кстати!) Алексею Скалдину, что в стихах адресата «...одного мало: Хариты». «Вот понятие,— продолжает он,— которое мне хотелось бы ввести в умственный и словесный обиход... Харита — Милость,— и милость — благостная, и миловидность, «милорадность»; улыбчивая, пленительная прелесть — и много еще другого. Так вот — нет у Вас веселого неба и стройного танца, и в стихе беспечного радования нет... Но Харита в наше время встречается реже, чем даже хороший вкус. Где же ее сыщешь? Разве у Кузмина? Но его грации слишком похожи на александрийских гетэр» (письмо от 23/10 X. 1912; Минувшее, № 10, с. 131).

Шестью годами раньше Кузмин записал в дневник: «Был Иванов, моя музыка, по-видимому, ему нравится, в восторге от детских песен... Небрежность слов и внутренняя грация» (запись от 5 мая 1906 г.; «НЛО», № 1, с. 131).

Грация, вспомним, и *харита* — одно и то же. А слова о «внутренней грации», догадаемся,— отзыв Иванова.

Впечатляет, как всегда, феноменальный ивановский слух, жадно алчущий пушкинской «прости, Господи, глуповатости» — такой для него недоступной, почти никогда не пробивающейся из-под каменных плит его ватиканских поэтических площадей.

А как он тонко и пронзительно завидовал Анненскому — тому, с кем связывали его не только общие эллинистические увлечения, но и нечто «архетипическое»: матрональная власть жен-вдовушек, какая-то странная олимпийская лень, заставлявшая этих двойников искать запретной любви, не выходя из квартиры и палисадника — у падчериц и своячениц! Не эта ли завистливая тоска оправдывает все ивановские «нечитабельные» версификационные нагромождения?

И еще то, конечно, что среди взорванной им и ковшем натасканной стихотворной породы нет-нет и сверкнут изумрудные и рубиновые крупички грядущего, верней — вечного. То что-то будетлянско-обэриутское:

Или существь слепая битва,
На вражьих трупах буйный пир,—

в стихотворении «Ночь в пустыне» (Сравните: «Ночь в окопе» — у Хлебникова, «Ночь в казарме» — у Заболоцкого).

То Мандельштам:

Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты
Желчь луга — омет и полынь,—

в стихотворении «Carmen saeculare».

То Пастернак:

Озимь живая, хмурая ель,—
Стлань парчевая — бурая прель.
(«Неведомое»)

...где дух ветров
С водой и камнем входит третьим,
Как свой в семье, под хвойный кров.
(«Бельт»)

Но, увы, много пыли, праха, бенедиктина и промахов: «Любовью *стремною* гонимой Аретузы» («Сиракузы»), «И ели набожно живую розу» («Золотые завесы»)… Почему после Есенина это звучит как *ели живую жабу?*..

Анненский, кстати сказать, воспользовавшись поэтическим прямодуманием Иванова, грациозно и ловко его обманул. Отчетливо, прозрачно и достаточно лестно изобразив его как собственного антагониста в стихотворении «Другому», Анненский тем не менее сделал так, что стихи эти на самом деле обращены не к угадываемому адресату, Иванову, а к «другому поэту» — из далекого будущего, который появляется в восьмой строфе и заставляет нас вспомнить «хоть одного пиита» пушкинского «Памятника»:

Моей мечты бесследно минет день...
Как знать? А вдруг, с душой подвижной моря,
Другой поэт ее полюбит тень
В нетронуту-торжественном уборе...



Вячеслав КУРИЦЫН

Малахитовая шкатулка

Мне довелось жить на Урале в героический период его культурной и политической истории. Параллельно с волной демократов-коммунистов ельцинского призыва поднималась волна всяческого искусства: изобразительного, кинематографического, рок-н-рольного, литературного. В конце восьмидесятых и на рубеже девяностых жизнь в Екатеринбурге-Свердловске была ключом. Выходили журналы-газеты («МИКС», «КЛИП», «Черный журнал», «Лабиринт-эксЦентр», в силе был «Урал»), издавались книги, гуманитарным людям хватало денег и перспектив. Потом стало сложнее и мрачнее: выяснилось, что тоненький культурный слой только чуть-чуть прикрывает рифейские камни. Что волна была большей частью волной, всплеском, взрывом, что для нормальной культурной жизни нужны долгие десятилетия скрупулезной работы.

И я — подобно многим вскормленным этой волной художникам, писателям, кинематографистам и музыкантам — сбежал в Москву. Мифология *уехавшего и покинувшего* всегда была важна для отечественной словесности: в теплой московской близости от фондов, редакций и прочих кормушек приятно испытывать чувство сакраментальной ответственности перед «малой родиной». Это чувство может порождать шедевры: из уральских примеров прежде всего приходит в голову «Где сходилось небо с холмами» Владимира Маканина — повесть о том, как музыкант высосал из родного поселка экстракт мелоса, сердцевину души, и симфонии музыканта отразились в жемчугах самых роскошных концертных залов, а поселок устремился к смерти. Это чувство — если оно посещает неудачника — может порождать раздражение: в литературе описаны случаи ненависти к бывшим любимым — обрыдшим, выплаканным, обволакивающим, постылым...

Уезжая в 1993 году из Екатеринбурга, я вовсе не предполагал как-то концептуализировать свои отношения с ним по схеме «столичный писатель — бывшие земляки». Тем более что родился я не на Урале: прежде чем отдать свое сердце на одиннадцать лет уральским камням, я прожил семнадцать лет в Новосибирске. Но каждый год разлуки со Свердловском — разлуки, прерываемой наездами туда при всяком удобном случае: на фестивали, на конференции, просто так — укреплял меня в странной мысли и в неведомом мне доселе чувстве. Духовное родство, тайная связь, память жанра, скованность одной цепью.

Мне всегда казалось, что крепкие уральские камни способны порождать не только жлобов, революционеров, чайфов, бандитов и бизнесменов («На Урале, где надувают бомбы и делают танки и политиков, которых всегда тошнит, видимо, от аэрофлотской болтанки», — писал Виталий Кальпиди). Вернее, иначе: мне казалось и кажется, что брутальную уральскую крутизну можно совместить с утонченной аккуратной культурой. Или даже не так: брысь, культура, прочь, пафос; мне на самом деле казалось, что я слишком многим обязан этим камням. Что именно им, а не только сибирскому происхождению я обязан своей стоеросовой энергией, позволившей мне сочинить во славу русской литературы несколько миллионов букв. И еще мне казалось, что живая связь с Уралом будет и дальше определять мою жизнь — что и я смогу сделать что-нибудь для Урала.

В самом конце прошлого года мне позвонил свердловский художник Александр Шабуров и сказал: «Тут чудачки из двух галерей хотят устроить посвященные тебе выставки, приезжай экспонатом, придумаем что-нибудь еще». Заплясала фантазия, «что-нибудь еще» придумали журнал «Матадор» и «Зяблицев-фонд», Уральский государственный университет и Уральское отделение Академии наук, и в ре-

зультате уже в конце января случилось мероприятие под несколько неожиданным названием: «Дни Вячеслава Курицына в Екатеринбурге».

На эти дни приехали из Москвы художник Кулик и поэт Пригов, искусствовед Бредихина и философ Балабанова, из Челябинска — критик Бавильский, а из Коркино, города в Челябинской области, где вырыта для добычи угля самая глубокая в Европе рукотворная дыра, со дна которой грузовик с продуктом поднимается по спирали, что ли, сутки, еще один Кулик — филолог и однофамилец московского. Десятки жителей разных городов сделали объекты для выставок, десятки местных писателей пришли выступить в литературном концерте, сотни людей посетили вернисажи, лекции и вечера гостей. Бесконечные вопросы, совсем молодые люди, новые поэты, философы и художники, свежее культурное поколение, скрип перьев и жужжание видеокамер — маленький, но вполне конкретный праздник.

Людьми нужен свой культурный контекст, свои системы ценностей и эстетического самообеспечения — контекст, который не зависит от хищной Москвы, забирающей год от года свежие культурные силы и привыкшей выступать в роли единственного центра и единственного блюда для пирога.

Ту же самую тему легко перевести в более общий план — именно рост регионального самосознания во многом определяет сегодня динамику развития современной России, и, кстати, как раз нежелание Москвы делиться управленческими функциями порождает самые напряженные политические сюжеты. Тема эта в высшей степени неоднозначна — до нормального, цивилизованного регионализма у нас очень далеко — ввиду глубокой основательности жесткого централизма и дикости и неустроенности окраин. Но тем не менее это та дорога, по которой нам предстоит идти. В конечном счете утверждение регионализма нужно и Москве, которая заинтересована в оседлости окраинных народов, в прекращении неорганизованных и часто опасных перемещений больших масс населения по стране в поисках лучшей доли — можно догадаться, сколько московских бомжей и хулиганов рекрутируется именно из этих номадических масс.

Вместе с филфаком Уральского университета мы затеяли следующее — проводить в качестве продолжения полусерьезных курицынских мероприятий раз в два года большие научные чтения, посвященные современной культуре, — с тремя секциями (филологической, философской и культурологической), на которые будем приглашать — и уже начали это делать — ученых из разных городов и стран. Очень приятно осознавать, что у тебя есть реальный шанс строить новую Россию — не только разваливанием букв по печатным страницам, но и непосредственно «на местности». Тем более что местность — на счастье — вполне плодородна: о напряженности культурной жизни Урала вы можете судить из нижеследующего обзора уральских книг и событий...

Работа над ландшафтом

Виталий Кальпиди — самый знаменитый и энергетичный уральский поэт. Его метафоры скручиваются в жгуты и хорошо ходят по спинам и чреслам читателя. «Альвеолы и небо, и в косу заплетенный язык — вот и все для работы...» В былое пьяное время он был гением, пьяницей и бунтарем. Он играл в треугольнике «Пермь — Челябинск — Екатеринбург» роль Гомера, посвятив каждому из городов немало проникновенных строк, заставляя города ревновать друг к другу за право называть Кальпиди своим.

Дальнейшая судьба Кальпиди сложилась неожиданно: он занялся культуртрегерством. Выпускал серию книг «Классики пермской поэзии». Ныне издает в Челябинске журнал «Несовременные записки», превращающийся потихоньку в самое, может быть, «крепкое» из всех региональных литературных медиа, участвует в выпуске «Уральской нови» — литературной газеты, превратившейся в последнее время в маленький журналчик (а недавно здесь возникло еще одно периодическое издание, посвященное словесности, — газета «Пятый угол» как приложение к «Вечернему Челябинску»; редактирует «Угол» Дмитрий Бавильский). Запустил серию «Первая книга» для уральских поэтических дебютантов (у меня на столе симпатичная брошюра — **Ирина Кадикова. 21 стихотворение. Фонд «Галерея», Челябинск, 1996**). У «Галереи» еще несколько серий книг: «Уральский логос», «Евразия плюс Урал», «Современная проза Урала». В Челябинске Кальпиди периодически устраивает гастроли всяких иногородних людей типа Тимура Кибирова или Ивана Жданова.

Свежий проект Кальпиди — антология «Современная уральская поэзия» (Фонд «Галерея», Челябинск, 1996). Хорошо изданная книжка в суперобложке и с приложением компакт-диска, где те же современные уральские поэты читают свои стихи. Материалы из антологии Кальпиди представлял в «Октябре» (№ 12 за прошлый год) и в газете «Сегодня». В четырехсотстраничной книге подборки тридцати авторов и трех поэтических групп из разных городов и сел уральского края. Практически все они вполне качественные и читабельны. Мне наиболее близки стихи Игоря Богданова и Владислава Дрожащих, Сандро Мокши и Антипа Одова, Вадима Месяца и Романа Тягунова: приятно, что, будучи заключенными в коробочку антологии, эти и другие авторы имеют теперь и возможность быть прочитанными широкими любителями поэзии. Антология, конечно, крепко осядет в библиотеках и библиографиях. «В библиотеке имени меня Несовершенство прогибает доски. Карриатиды города Свердловска Свободным членом делают наброски На злобу дня: по улицам Свердловска Гомер ведет Троянского коня В библиотеку имени меня» (Роман Тягунов).

При всяком антологическом случае приняты нападки на составителя: что он не включил в свой талмуд тех-то и тех-то выдающихся литераторов. Жанр нападок довольно глуп, ибо антология — предприятие всегда авторское, но по одному поводу я не удержусь и погрешу. Жаль, что Кальпиди не счел «современной уральской поэзией» прелестные частушки и прибаутки скомороха Б. У. Кашкина — автора таких минималистских шедевров, как «Коза объелась гороха, бока раздулись, ей плохо» или «Лучше уголь добывать, Чем помногу выпивать».

Интересно, что антологические претензии на Урале есть не только у поэтов, широко печатающихся и без всяких антологий в местной и центральной печати. В небольшом городе Каменск-Уральском вышел сборник «Каменск-Уральский День поэзии-95» («Калан», 1996), где опубликованы по одному-два стиха участников местного Рождественского поэтического конкурса, к организации которого имело отношение несколько солидных официальных и коммерческих структур. Предполагается, что подобные книжки будут выходить и впредь.

Плот сплотить

Поэзия, конечно, высочайшее из искусств, но вряд ли что может сравниться по свежести языка и по чистоте дискурсивного жеста с подлинной народной речью, с метким сельским словом. В 1964—1988 годах вышел в свет семитомник «Словаря русских говоров Среднего Урала», пользовавшийся заслуженной популярностью как у специалистов, так и у праздной публики. Но шли годы. В ходе экспедиционных работ и во время диалектологической практики сотрудниками кафедры русского языка и общего языкознания и студентами Уральского университета обнаруживались все новые и новые примеры полноводности фольклорной реки. Так родилась книга «Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения». Издательство УрГУ, 1996.

Вряд ли вокруг этой книги имеет смысл возводить особые концепции: примеры из живой народной речи освежают замороченное сознание лучше любых нравственных проповедей и разговоров о национальном возрождении. «Бозгаться» — значит «нянчиться, возиться с детьми». В селе Останино Алапаевского района записано: «С тех пор и бозгаюсь с ребятами-то».

Ворзакаться — заниматься каким-либо хлопотливым делом.

Воробить — заготавливать дрова на зиму.

Горсть — пучок колосьев, который захватывается в горсть при уборке хлеба вручную.

Ербезиться — егозить, ерзать.

Обздануть — поддать пару, плеснув воды на каменку в бане.

Пошворчик — молодой стройный лес...

Откройте сочинения писателей, ориентированных на «патриотическую парадигму»: увы, ни по меткости, ни по живости, ни по душевности вы ничего и близко-го не найдете.

К самоудостоверению Своего

Еще одна книжка того же издательства — **В. В. Харитонов. Возможность произведения: к поэтике философского текста.** УрГУ, 1996. Но если предыдущая посвящена сугубой эмпирике, атомарным фактам языка, то эта — ровно напротив — возможности теоретических и квазитеоретических обобщений.

Владимир Харитонов задается комплексом вопросов, связанных с достаточно часто артикулируемой проблемой любомудрия уходящего века: является ли философия текстом, описывающим себя самое? К этому не слишком завидному статусу — вещи, описывающей себя самое, — скатились в конце столетия в авторефлексиях и кинематограф, и изобразительное искусство, и литература. Борхесианские фигуры, сочувственно цитируемые Харитоновым, стали в последние десятилетия дежурным блюдом гуманитарных рассуждений и надоели настолько, что способны мыслиться как нечто, находящееся за пределами культуры (как могут отодвигаться за пределы литературы прагматические квантации и жития святых — и нужны солидные усилия, чтобы вставить их обратно).

«Возможность произведения» занята тем, что проверяет на прочность одну за другой такие ауторефлексивные фигуры речи. Например: «Указать на особое состояние сознания, в котором и возможно свершение события философии, — едва ли не единственная операция, которую можно произвести, находясь в нем». Текстуальность, способная вычленивать себя из нетекстуальности, доказывает, что она текстуальность именно через способность настаивать на этой способности, просто — через способность настаивать, настаивать-ся, иметь себя. Автор вдавлен в текст: даже рефлексия в этой философии не возвышает субъекта, а растекается по текстуальности. Грамотная работа дерридианской эпохи. Красной нитью — тема «самоописания, удвоения, повторения и самоудостоверения Своего».

Сито, составленное из тавтологий, особо эффективно, когда через него пропускается объект, и сам склонный к ауторефлексивным играм: в приложении Харитонов пропускает сквозь это сито прозу Саши Соколова — очень эффектно и интересно, но я как ревнивый уралоцентричный читатель предпочел бы Мамина-Сибиряка. Есть некоторое лукавство в том, чтобы описывать как дискурс, укорененный в самом себе, то, что и само с этим тезисом согласно. Хочется видеть и слышать, каким образом могут укореняться в себе уральские камни (на последнем екатеринбургском фестивале неигрового кино — а они здесь проводятся каждый октябрь и являются вполне заметным явлением местной культурной жизни — был представлен фильм Андрея Анчугова, целиком посвященный борьбе с валуном на дачном участке), лишённые этой воли к бесконечным автоописаниям. Дело не только в том, что автор живет на Урале, но и в том, что в новом веке философия уж точно перестанет быть текстом. А также в том, что согласно каким-то свежим сводкам с полей научной славы где-то во Франции в скале, на глубине двух километров, обнаружены органические соединения, похожие на папоротники. Это открытие пролило немало живой воды на мнение группы ученых, утверждавших, что бесплодность минерального мира является глупым и вредным мифом.

Найти шестерых спрятавшихся ребят

Схема искусственного дыхания. Карикатура из «Крокодила» про Зав. Взяткина. Внешний вид яиц кукушки, горихвостки, садовой славки, дроздовой камышовки. Карта Балтийского моря с подписью «Карта Южной Америки». Чапаев. Картинки из Камасутры. Школьные фотографии В. Дубичева и странички из дневника. Барабан для съемки панорамных надписей. Ножницы. Англоязычные карикатуры на Ельцина. Рисунок 118: обезьяна, схватившаяся за голову. Форма шишек для туловища бегкнов с отверстиями для крепления головы. Так следует срезать верхушку клубня. Губы и зубы. Иллюстрация к Камасутре. Схема для запоминания сегментного распределения чувствительности. Задача на наблюдательность: найти на картинке шестерых спрятавшихся ребят. И еще десятки и сотни картинок такого рода из настольных календарей, справочников, старых энциклопедий, журналов или просто из мусорной корзины. Таков иллюстративный ряд к книге **Вадим Дубичев. Возвращение в Болгарию.** Издательство «Лавка», Екатеринбург, 1996. Оформил книгу в своем фирменном стиле Александр Шабуров, который уже упоминался раньше в связи с особо приятным для меня поводом.

Рассказы Дубичева — на что обращала внимание в рецензии, напечатанной «Уралом», Ольга Славникова — выполнены в согласии со схожим мировоззренческим принципом. Поток жизни не поддается непротиворечивой классификации, образа единого мира нет и, по видимости, не может быть. Но жизнь не становится менее замечательной и увлекательной от того, что она распадается на фрагменты. Как Шабуров выстраивает ряд из чудесных картинок, мимоходом вдыхая в них вторую жизнь (лишенные изначальной функциональности, выбитые из прагматического контекста, эти вещи — какие-то химические склянки, ящерица типа «геккон» — имеют шанс проявить собственно «вещность»), так Дубичев вылавливает из потока бытия наиболее вкусные — или хорошо освещенные, или приятно благоухающие — фрагменты, предметы, эпизоды.

«Окно закрывалось двойной рамой помимо решетки, и когда, приложив немалые усилия, морщась от пыли, что лежала бархатной подстилкой для мух между стекол, я распахнул окно, вдруг свежий ветер, заверченный во дворе свирепым вихрем, ворвался в комнату, разбросав салфетки, лежавшие на столе, и старые газеты и заставив меня не единожды чихнуть. Ветер, разогретый старой обожженной глиной кирпичных стен, поднимал со дна двора сор, бумагу, счета, ставшие негодными еще год назад и выброшенные в мусорные ящики, стоявшие у черного входа, под окнами, из которых я пытался разглядеть весь двор».

Лопаточка для перекидывания шарика, антрацитово блестящие спортивные трусы. Ученическая тетрадь с обложкой цвета бледной розы. Гора тертого острого сыра. Тягучее оливковое масло и розовый винный уксус. В прозе Вадима Дубичева — как, собственно, и в человеке, носящем те же имя и фамилию, — мне больше всего нравится убаюкивающая несуетность, легкость отношения к урядицам и неурядицам, очень симпатичный вариант всепрятия жизни, в котором можно усмотреть и старинтelligentский отечественный пофигизм, и необходимую взыскующей стабильности России мелкобуржуазность. Не надо спешить. Не стоит сильно переживать. В жизни всегда можно найти объект для спокойной любви.

Один рассказ книги («Эпистолярный жанр») стоит особняком — он посвящен злоключениям критика Анашкина, реального лица, который — согласно рассказу и более-менее в соответствии с реальностью № 1 — никак не мог найти себе место в городском литературном и журналистском сообществе, каждые полгода меняя работу и уходя всякий раз со скандалом. Критик Анашкин — согласно рассказу — характеризуется крайней невезучестью и неуживчивостью характера, в силу чего ему приходится все время попадать в разные глупые ситуации и в силу чего он высмеивается в дубичевском тексте. Причем высмеивается, например, за привычку к пунктуальности и за то, что требует того же от других. Я, как человек, лично страдавший в Екатеринбурге от разгильдяйства писателя Дубичева и художника Шабурова, готов предъявить рассказу «Эпистолярный жанр» жестокий нравственный счет. Но в данный момент для логики рецензии важнее другое — главной мишенью Дубичева становится взбалмошное нервное поведение его героя. Вот он, герой, «буквально застонал от переполнявшей его ярости и затопал ногами. Мы не привыкли видеть топающих ногами взрослых людей, а только читали об этом в нереалистических книгах». Это гиперспокойствие автора, никогда не выходящего из себя ни в личной, ни в текстуальной жизни, составляет для меня предмет самого настроенного уважения...

Кунгур-завод, мужик Галеев

Название этой книги — «**Легенды и мифы Белинки, Екатеринбург, 1996**» — не слишком точно. Она посвящена не столько легендам и мифам, сколько занимательным текстуальным случаям из жизни главной екатеринбургской областной библиотеки им. В. Г. Белинского. Опечаткам — «племенные революционеры» вместо «пламенных», «листов в попке» вместо «в папке», газета «На спину!» вместо «На смену!», «кунгур-завод, мужик Галеев» вместо «кукурузовод Муса Галеев». Синтаграмм, с помощью которых читатели просят библиотекаря сделать отметку на листе посещения, чтобы их выпустили на волю (по-моему, операция излишняя: в Ленинке, скажем, этого делать не надо): «Стукните меня печатью», «Девушка, отметьте, что я вами не пользовался, а только по каталогам побегал», «Тюкните печаточкой!». Служебной переписке: «Прошу освободить от занимаемой должности, ибо...

из-за тесноты и духоты на седьмом ярусе развивается клаустрофобия, от постоянного мелькания перед глазами читателей — сильная идиосинкразия...»

Не хочется впадать в особый пафос. Известно, какие зарплаты получают сотрудники библиотек — и областных, и районных, и центральных. Известно, какую ценность представляет существование доступных публичных библиотек для любого из нас: закройся Ленинка — и культурная жизнь, кажется, просто возьмет да и рухнет. Низкий поклон всем сотрудникам библиотек — и Белинки в особенности. Очень приятно, что у них есть желание шутить и возможность выпускать про эти шутки книжки.

Пока дома не обратились в руины

Еще одна поэтическая антология, на сей раз не внутриуральская, а трансконтинентальная. «**Современная американская поэзия в русских переводах**». Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Екатеринбург, 1996. Последняя антология выходила, если верить предисловию, в 1982 году. Кроме того, рецензируемая книжка посвящена так называемой «неакадемической поэзии», той, что не считает нужным блюсти границу между стихом и прозой и находится в сложных, часто противоречивых отношениях с синтаксисом и пунктуацией, а также с мировой гармонией. «Дома обратятся в руины, города исчезнут, на их месте будут груды земли, рассыпаемой ветром, вместо кустов и трав вырастут деревья, стареющие и сменяющие друг друга в бесконечной череде поколений. На всем земном шаре будет царить волшебная тишина, прерываемая лишь голосами птиц и диких зверей».

Среди авторов есть вполне известные, в том числе и на нашей земле, люди — Эзра Паунд, Майкл Палмер, Лин Хеджинян, Джон Эшбери. Всего представлены сочинения двадцати одного поэта, а также эссеистика шести авторов (выделяется работа Элиота Вайнбергера «Американская поэзия с 1950 года: новаторы и аутсайдеры», позволяющая читателю войти в историю вопроса, что особо важно еще и в связи с отсутствием комментариев).

Составили антологию петербуржец Аркадий Драгомощенко и екатеринбуржец Вадим Месяц — один из наиболее заметных авторов в текущей уральской литературе (помимо поэтических, у него выходили книги рассказов, а также крайне любопытный роман «Ветер с конфетной фабрики», трепетно описывающий вкус позднезастойного и еще немножко счастливого детства). Среди переводчиков — А. Калужский и А. Скидан, Н. Искренко и А. Парщиков, В. Кучерявкин и Т. Бейлина.

А также

Готовясь к «уральскому» выпуску «Записок литературного человека», я разложил на столе еще несколько книг из тех, что были выпущены в последнее время в «опорном краю державы». Не все попали в обзор. Я не упомянул «**Эктоны**» Г. А. Месяца, председателя уральского отделения Академии наук и отца упомянутого Вадима Месяца, не упомянул сборник эссе **Николая Болдырева «Ностальгия по пейзажу»** (этот автор известен читателям «Октября»), не упомянул стихотворные сборники **Ларисы Сониной «Инициалы»** и **Максима Анкудинова «Парусное небо»** (последняя книга, правда, вышла в Москве, но автор живет в Екатеринбурге). Буквально в день сдачи этого обзора в редакцию ко мне попала книга **А. Лобок. Антропология мифа. Екатеринбург. Банк культурной информации, 1997** — фундаментальный — пятьдесят авторских листов — труд, вышедший в серии «Философский андеграунд Урала».

Но главное — практически ни слова не сказал о литературной жизни Перми и хотя бы в двух словах хочу восполнить этот пробел.

В 1994 году в Перми состоялась конференция «Пермская поэтосфера» — с зарубежными участниками, с филологами, приехавшими из разных городов, — конференция, посвященная, во-первых, в основном уральской культурной ситуации, а во-вторых — прежде всего литераторам, работающим в «постмодернистской парадигме», — в сумме эти два факта делали мероприятие уникальным. Примерно тогда же возник фонд «Юрятин» (таким именем назывался город Пермь в «Докторе Живаго»), который проводит научные исследования, издает книги и привозит в Пермь разных деятелей современной культуры — от Д. А. Пригова и Алексея Парщикова до «русских реалистов» Павла Басинского, Алексея Варламова и Олега Павлова.

Из книг «Юрятина» непременно нужно отметить такую — **«Пермяки. Антология пермской фельетонистики. Выпуск I»**, где собраны стихотворные газетные фельетоны, публиковавшиеся в местной печати в начале века, — особой популярностью у фельетонистов пользовались крысы, выбегающие на сцену городского театра во время премьеры, и тому подобные забавно-сенсационные происшествия. Совместно с Институтом современной русской культуры из Лос-Анжелеса выходит серия **«Водолей»** — поэтические сборники литераторов русского зарубежья (уже выпущены сочинения А. Волохонского, А. Очеретянского, Е. Мнацакановой, И. Близнечевой, готовится К. Кузьминский). **Нина Горланова**, финалист последнего Букера, в ближайшее время выпустит в «Юрятине» книгу **«Вся Пермь»** — рассказы из жизни местных литераторов, короткий жанр, который, на мой взгляд, получается у Горлановой убедительней всего.

И последнее. Специалисты «Юрятина» заканчивают работу над уникальным справочником **«Литературная жизнь Перми конца XIX — начала XX века (1890—1918)»**: фронтальное описание всех материалов местной прессы, посвященных литературе. На рубеже веков литературу любили: свежий рассказ Леонида Андреева мог вызвать дискуссию из пяти статей. Осенью в первом выпуске екатеринбургского «Курицынского сборника» (будет выходить параллельно чтениям в Уральском университете) предполагается публикация фрагмента из этого исследования. Пермь идет навстречу Свердловску, постмодернизм — навстречу классической библиографии. Жизнь продолжается.



С. МИТЧЕМ, Д. МЮЛЛЕР. КОМАНДИРЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА. Перевод с английского. Смоленск, «Русич», 1995.

«Десятки миллионов советских граждан, погибших в пламени второй мировой войны, заслужили, чтобы их потомки узнали, с какой страшной силой тем пришлось столкнуться». Это, может быть, излишне цветистая цитата из предисловия к вышедшему в серии «Тирания» переводу книги «Командиры Гитлера» (в дословной передаче) американских историков Самюэла Митчема и Джина Мюллера. Предмет работы — краткие биографии военачальников германских вооруженных сил, командиров от фельдмаршала до лейтенанта, прославивших или, выражаясь патриотично, оставивших себя большими боевыми делами на театрах самой кровопролитной и жестокой из войн человечества, делами, положенными на алтарь... поражения.

В семи главах основного текста книги отражен жизненный и служебный путь представителей верхушки военного командования фашистской Германии, воевавших на Восточном (в том числе на отдельно рассмотренном Сталинградском направлении) и на Западном фронтах, генералов, адмиралов и офицеров Люфтваффе (ВВС), Кригсмарине (ВМФ), Ваффен (войск) СС. В приложениях приведены эквивалентные воинские звания ВС Германии и СССР (в американском издании, естественно, Германии и США), характеристики некоторых американских, британских, советских, немецких и итальянских танков, организационная структура Люфтваффе, примечания и библиография. Заключают издание фотоиллюстрации, к сожалению, неважного качества.

Здесь самое место для критических замечаний в адрес творцов русского издания. Мы обнаружили в нем случаи некорректного перевода, подчас совершенно обескураживающие (например, географическое название United Kingdom переведено как «Объединенное Королевство» вместо общепринятого «Соединенное...»), фразеологические огрехи (типа: «дал одобрение», «репрессированная политика»), фактологические и транскрипционные ошибки, стилистические неточности, механические опски (среди последних есть такие, «благодаря» которым инверсируется смысл фраз).

Командиров в высшем чине, чине фельдмаршала (это воинское звание эквивалентно «Маршалу Советского Союза», а не «маршалу рода войск», как ошибочно указано в книге переводчиками) в фашистской Германии насчитывалось двадцать шесть (численность всех существовавших Маршалов Советского Союза — от Ворошилова до Брежнева — лишь ненамного больше — тридцать два), в книге же «действуют» только восемь. За сведениями об остальных почти двух десятках фельдмаршалов, в том числе таких высокоталантливых и своеобразных полководцах, какими были, например, Манштейн, Браухич, Роммель, Клюге, Грейм, читатели отсылаются к вышедшей годом ранее не переведенной у нас фундаментальной работе того же С. Митчема «Hitler's Field Marshalls and their Battles» и к более «пожилой», но более доступной превосходной монографии Молля (O. Moll. «Die deutschen Generalfeldmarschalle, 1939—1945». 1961).

В главе «Генералы Восточного фронта» описана Ленинградская эпопея в необычном для нас, россиян, ракурсе. 8 сентября 41-го немецкие войска блокировали город на Неве. Наши военные историки пишут: «Враг был вынужден (из-за оказанного ему отпора.— Авт.) зарыться в землю и перейти к позиционной войне» (А. М. Самсонов. Крах фашистской агрессии. 1982). А вот что читаем в рецензируемой книге: «12 сентября 1941 года поступил приказ Гитлера: Ленинград не брать. Две немецкие армии (с декабря 1942-го одна.— Авт.) оказались накрепко привязанными к городу в совершенно бесполезной осаде. <...> [Взбешенный] Лееб (командующий группой армий «Север», фельдмаршал.— Авт.) стал вслух высказывать предположения о том, не является ли Гитлер тайным союзником Сталина...» (??). Складывается впечатление: Лееб был уверен, что смог бы взять Ленинград и тем выполнить эту часть плана «Барбаросса». По нашему мнению, фельдмаршал все-таки ошибался: он не смог бы взять город, пока русские обороняли его, как было со Сталинградом. И, конечно, Ленинград потерпел бы такой же ущерб, как его волжский собрат. Любопытно, что Лееб за его «предположения» не был стерт Гитлером с лица земли — он лишь отправился в отставку, причем по собственному желанию.

Много места в книге занимает биография Фридриха Паулюса, который в России известен, несомненно, более других гитлеровских фельдмаршалов. Ни один фельдмаршал Германии ни в какие времена не попадал в плен к противнику. Паулюс, чья группировка, насчитывавшая двадцать две дивизии, была в конце концов взята в советские «клещи», попал, порушив традицию, создав прецедент. После этого фельдмаршалы Рейха шли в неволю к союзникам по антигитлеровской коалиции и на

Восточном, и — особенно охотно — на Западном фронте, что называется, «косяком».

Два слова навеки связались одно с другим: когда мы говорим «Сталинград», то подразумеваем «крах». Крах немецко-фашистских войск. Митчем и Мюллер оценивают людские потери Германии в Сталинградской кампании в триста с лишним тысяч. В советских учебниках и энциклопедиях указана впятеро (!) большая цифра — один миллион пятьсот тысяч. Данные из открытых в 1990-х годах архивов Министерства обороны РФ свидетельствуют: обе оценки предвзяты, и истина находится посередине — приблизительно восемьсот тысяч человек, из них более половины были убиты. Потери с нашей стороны составили один миллион сто тысяч, в том числе убитыми — около пятисот тысяч.

Шедший несколько лет тому назад на наших телеэкранах сериал США о ходе вооруженного противоборства СССР и гитлеровской Германии носил название, удивившее нас, россиян, — «Неизвестная война». Разумеется, по большому счету это гипербола, и отражает она малую осведомленность западноевропейцев — и особенно американцев — о «чужой» войне, о боевых действиях на Восточном фронте сравнительно с осведомленностью о «своей» войне, той, что велась нашими союзниками в Западной Европе, Африке, Азии и Океании. А удивляться не стоило — ведь события, разыгрывавшиеся на том, Западном, фронте нам — гиперболизируя — тоже «неизвестны». Они и освещены-то в нашей военной литературе довольно скупо. И — чего лукавить? — интересуют нас «постольку поскольку». Так что если к чтению главы «Генералы Западного фронта» и приступаешь с чувством «малого энтузиазма», то оно быстро исчезает: необычная форма изложения — «события через биографию» — делает чтение увлекательным.

Как и следовало ожидать, наиболее «читабельными» оказались главы, посвященные командирам Люфтваффе, Кригсмарине и Ваффен СС Германии, где описаны собственно боевые действия. Здесь авторы книги показывают, как амбициозность, недалекость, некомпетентность и косность руководителей, интриги и соперничество между ними в условиях авторитарного государства, каковым был просуществовавший двенадцать лет «Тысячелетний рейх», могут негативно повлиять на ход и результаты военного строительства. Это сказалось, когда Германии заступили дорогу поистине сильные противники — СССР, США и Великобритания. До того немцы в основном, как говорится, «брали на испуг».

Но именно это обстоятельство делает долговременные военные успехи немецко-фашистских захватчиков в 1939—1942 годах и спорадические в последующих такими впечатляющими. Отдельные командиры показали феноменальную, прямо-таки гиннесовскую результативность. В книге приведены подобные примеры по всем родам войск, мы же ограничимся одним: летчик-истребитель майор Хартман может быть назван «величайшим асом II Мировой войны, а также всех времен и народов» — он сбил неимоверное количество самолетов противника — 352 (!), из них 78 — только за один месяц (август 1944 года). Для сравнения укажем, что рекордсмен советских ВВС И. Кожедуб (впоследствии маршал авиации) уничтожил за все время, пока воевал, 62 летательных аппарата, за что удостоился трех медалей «Золотая Звезда».

Майор Хартман — кавалер высшего воинского отличия у немецких фашистов — «Бриллиантов к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями и Мечами», что-то вроде «Героя Германии». Всего такой награды в Третьем рейхе удостоились 27 человек. Среди наших фронтовиков одних только дважды Героев Советского Союза — 120, а «простых» Героев у нас — более 11 тысяч. Столь разительно отличающиеся цифры можно при желании интерпретировать с точки зрения существовавшей в СССР военных лет «наградительной вакханалии». Но не подлежит сомнению и то, что наши солдаты в отличие от германских проявили героизм поистине беззаветный и массовый.

Не можем не сделать еще одного сопоставления. По данным, имеющимся в выпущенной в 1995 году в Санкт-Петербурге Российско-Балтийским Инфоцентром монографии «Людские потери СССР в период II Мировой войны», общие потери ВС нашей страны — 8,7 млн. человек (из них 3 млн. — в одном только 1941 году); общие потери германского вермахта — 5,5 млн. человек. И, «со слезами на глазах» вспомнив недавний День Победы, добавим: 8:5 — совсем не суворовская победа. А жуковско-сталинская.

О советских командирах военного лихолетья мы знаем, конечно, немало — значительно больше, чем о немецких или о союзнических — американских, английских, французских. Наверняка в обширных отделах военной литературы государственных «публичек» добрая половина фондов — книги о ратном труде советских людей в Великую Отечественную войну. Другое дело — весь этот книжный мир трачен большевистско-чеккистской цензурой. Нужны новые книги. В частности, необходима написанная с современных позиций книга о наших (советских) командирах, аналогичная рецензируемой. Буде такую работу напишут военные историки, можно априори гарантировать ей большой успех у всех сущих поколений читателей.

Генрих ЛЯТИЕВ, Николай РАМАНИЧЕВ,
кандидат исторических наук

Владимир НАБОКОВ. АДА, ИЛИ РАДОСТИ СТРАСТИ: Семейная хроника. М., «ДИ — ДИК», 1996. 10 000 экз.

Сноб и эстет, Набоков всегда тяготился чуть ли не подростковым комплексом «неовплощенности». Отсюда его литературная поза, отсюда нарочитая усложненность его писаний, отсюда игра с читателем, внешне похожая на «прятки», в самом же деле — попытка укрыться, чтобы не выдать собственную скованность и неловкость (подлинную или мнимую), отсюда желание поразить, стать первым, в пределе — единственным. А потому мог ли Набоков, зная опыты Пруста и Джойса, не попытаться создать сверх-роман, произведение, напичканное аллюзиями, пародиями, фокусами и ловушками, сложное настолько, что читатель сможет понять самую малость смысла и застынет, скованный и неловкий, как подросток, перед величественным произведением словесности? «Ада» и есть такой роман. Автор ошибся, должно быть, в одном: читатель не любит пребывать в дураках, он попросту отодвигает трудную книгу в сторону. Впрочем, Набоков, выработавший маску холодного презрения к публике, делал вид, будто судьба собственных произведений его занимает мало. И все тот же комплекс множился, словно в граненом стекле, оставаясь по-прежнему неизбывным.

Владимир СОКОЛОВ. СТИХИ МАРИАННЕ. М., Региональный общественный фонд поддержки и развития отечественной культуры «ПРОК», 1996. 2 000 экз.

Последняя книга поэта не стала его лучшей книгой: собранная здесь любовная лирика, сколь ни хороша, подчинена одной теме, а поэзия в отличие от жизни должна быть разнообразной. Важнее другое — после смерти творца иначе звучат его строки. Обыкновенное четверостишие превращается в догадку, предвосхищение.

О Вас я думал...
А из-за ограды,
Чьи кружева белели тяжело,
Уже морозом и ветвями сада —
Бессмертным тлением вечности несло.

И точно так же чужая бестактность после смерти того, по отношению к кому она допущена, делается еще нарочитее. Почему вступление к книге, называющееся «Классик», (и совершенно лишнее) сочинил средней руки беллетрист Юрий Поляков? По той незначительной причине, что руководимый им клуб «Реалисты» принимал участие в издании? Впору снова воскликнуть о нравах и временах.

Рэй БРЭДБЕРИ. ДЕРЕВО ХЭЛЛОУИНА. М., «Новатор», 1996. 7000 экз.

Рассказы из сборников «Маленький убийца» и «Человек в картинках», превосходно переведенный роман «Надвигается беда» и повесть «Дерево Хэллоуина» показывают, что фантастика Брэдли вовсе не так оптимистична, как принято считать. Свою первую книгу писатель назвал «Мрачный карнавал». И, будто замкнув круг, в конце концов он снова вернулся к настроениям юности, когда были написаны его самые интересные вещи.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА. М., «Локид — Миф», 1996. 26 000 экз.

После публикации на русском языке работ К. Г. Юнга «Вотан» и «Эпилог», где в свете теории бессознательного толковалась психология нацизма, наступила пора внимательно рассмотреть его внешние формы и проявления. Статьи энциклопедии, посвященные и отдельным лицам, будь то политики, деятели культуры или функционеры, и событиям, так либо иначе связанным с существованием Третьего рейха, а также разным сторонам государственного устройства — от организации армии до организации культуры, — содержат обширный и чрезвычайно интересный материал, почерпнутый из многочисленных западных источников. Энциклопедия снабжена «Хронологией», подробной библиографией и обильными иллюстрациями. Издания подобного рода не назовешь занимательными, но они необходимы.

Олег ГРИГОРЬЕВ. Прямо по башке. М., «Мартин», 1997. 10 000 экз.

Симпатично иллюстрированный художником В. Дмитриюком сборник включает стихи и рассказы, казалось бы, в первую очередь адресованные детской аудитории. Но, как бывало и прежде, книгу знаменитого автора «черной лирики» раскупят, разумеется, взрослые, ведь сочинительство «для детей» являлось только прикрытием для многих писателей ленинградской школы. Да и вряд ли поймут дети, например, одно из лучших григорьевских стихотворений, «Юла»:

Ездил в Вышний Волочек,
Заводной купил волчок.
Дома, лежа на полу,
Я кручу свою юлу.
Раньше жил один я, воя,
А теперь мы воем двое.

Аркадий БЕЛИНКОВ. ЧЕРНОВИК ЧУВСТВ. М., «Александр Севастьянов», 1996. [Б. т.]

Аркадий БЕЛИНКОВ. СДАЧА И ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА. ЮРИЙ ОЛЕША. М., РИК «Культура», 1997. 5 000 экз.

Перед читателями как бы начало и конец пути литератора Белинкова. Уже само название романа говорит о том, скольким обязан сочинитель советской литературе, ибо напрямую отсылает к ранней книге В. Каверина «Черновик человека» и пьесе Ю. Олеша «Заговор чувств». Но в силу политических обстоятельств и личных склонностей Белинков, пораженный жгучим антисоветизмом, по давнему стиху, сжег то, чему поклонялся, пусть и раскланялся после с тем, что подверг сожжению. Такова монография об Олеше (хотя в заглавии могла бы стоять фамилия почти любого советского писателя). Ненавистью пронизана здесь каждая строка. Вот короткое воспоминание о встрече с героем книги за месяц до его смерти: «На балконе стоял Юрий Олеша. Я помахал ему рукой. Он помахал мне. Я сидел на железной бочке посреди писательского двора (тогда я еще не был даже членом Союза писателей!), и одиннадцать этажей писательских жен презирало меня. Олеша бросил окурок, стараясь попасть мне в глаз. Потом махнул рукой и ушел. Я уже знал, что он махнул рукой на все сразу: на Вселенную, на писательских жен, на международное положение, на книгу о нем, которую я писал, и на бочку, закатившуюся в Замошворечь». Ненависть мешает объективности, избыточная же ненависть смешна и нелепа.

Милорад ПАВИЧ. ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ («женская версия»). Киев, «София», Ltd. 1996. 3000 экз.

Милорад ПАВИЧ. ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ. Роман-лексикон. Мужская версия. СПб., «Азбука — Терра», 1997. 10 000 экз.

Прозаики конца века, стараясь заявить собственное отличие от прочих, подыскивают произведению форму не просто доселе не бывшую, но и, по видимости, универсальную, дающую максимальное количество прочтений. М. Павич тоже играет, встраивает в роман «Пейзаж, нарисованный чаем» кроссворд или выстраивает из романа лексикон на 100 000 слов (как указано на титульном листе «Хазарского словаря»). Между тем якобы свободные произведения диктуют жесткую стратегию восприятия, и романист прекрасно это знает, заявляя вслух: «...читатель — что цирковой конь: он знает, что, если будет послушен, в награду после каждого фокуса его ждет кусочек сахара». Усложняя роман, М. Павич делит свой (традиционно «чужой», по подставному издателю) лексикон на «Красную», «Зеленую» и «Желтую» книги соответственно, трактующие хазарский вопрос с точки зрения христианства, ислама и иудаизма, и создает «версии» романа, содержащие разночтения. Дабы продолжить затеянную романистом игру, следовало бы переводить на какие бы то ни было языки разные версии разным переводчикам (в русских изданиях переводчица одна, а сделанные по готовым переводам различные литературные редакции слишком упрощают ситуацию, не уловив игровых правил). Однако сказанное доселе сказано «к слову». После коротасаровской «Игры в классики» с ее двумя запрограммированными принципиально разнородными системами восприятия любые попытки конструирования жесткой читательской стратегии вторичны. Кортасар своим романом задал самую жесткую стратегию не только публике, но и романистам, следующим за ним во времени.

Всеволод НЕКРАСОВ. ПО-ЧЕСТНОМУ ИЛИ ПО-ДРУГОМУ (ПОРТРЕТ ИНФАНТЭ). М., «ЛИБР», 1996. 500 экз.

Представитель «лианозовской школы» не просто рассказывает о художнике Франциско Инфантэ, но с гражданским темпераментом, достойным великого однофамильца, пытается восстановить историческую правду. По мнению автора, «другое» русское искусство, искусство истинно авангардное, начинавшееся задолго до политических перемен в нашей стране, сменило искусство «блатное», где места и должности раздаются по знакомству и блату, потому теперь и воцарились «непролазная пригота и кабаковина» (имеются в виду деятели современной поэзии и живописи, чьи фамилии используются в качестве имен нарицательных).

КИНЕМАТОГРАФ ОТТЕПЕЛИ. Книга первая. М., «Материк», 1996. [Б. т.]

Особый интерес представляют включенные в книгу фрагменты стенограммы конференции, прошедшей в Киноцентре в 1991 году. Практически каждый, будь то М. Швейцер, С. Лунгин, М. Хуциев или М. Калик, рассказывал, с какими трудностями и жертвами создавался послесталинский кинематограф. Страшнее других рассказ Г. Полоки. По делу о денежных хищениях во время съемок ему грозили четыре статьи союзного и республиканского УК, три — с высшей мерой наказания. После суда, сменившего эти статьи на статью, предусматривающую до 13 лет лишения свободы, заключение в КПЗ.М Потом дело закрыли, режиссера реабилитировали. Но не кончились трудности. Через некоторое время Полоку изгнали из кинематографа. Тем не менее режиссер, снявший «Интервенцию» и «Республику ШКИД», произнес слова, так или иначе повторяемые почти всеми: «Я прожил самые тяжелые годы в это время, был бомжем, жил на чердаках. У меня достаточно оснований проклинать те годы, но я не могу».

*Читайте
в ближайших номерах*

Роман БОРИСА ХАЗАНОВА

«ПОСЛЕ НАС ПОТОП»

«В чем высший закон истории? В чем ее тайный смысл? Есть ли у нее какой-нибудь смысл? Что означает это коловращение веры, надежды и отчаянья, что есть время: стрела или круг, идем ли мы навстречу концу, к великой цели, или кружимся в смене эпох, подобной круговращенью погоды? Русь, дай ответ. Не дает ответа».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 1997 года «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. «Родиться в России...» Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. Повесть.

Исаак ЗИНГЕР. Рассказы.

Владимир ЗУБЧАНИНОВ. Увиденное и пережитое. Документальное повествование.

Всеволод ИВАНОВ. Дневники.

Вяч. Вс. ИВАНОВ. Воспоминания. Иосиф Бродский.

Борис Пастернак.

Юрий КАРЯКИН. Дневник русского читателя.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Письма к Господу Богу. Роман.

Юнна МОРИЦ. Рассказы.

Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений. Рассказы.

Владислав ОТРОШЕНКО. Рассказы.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки.

Михаил ПРИШВИН. Дневники.

Михаил РОЩИН. Блок 1995–1996.

Уильям САРОЯН. Рассказы.

Борис ХАЗАНОВ. После нас потоп. Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. Просто голос. Поэма. Продолжение.

Асар ЭППЕЛЬ. Рассказы.

Следите за нашей рекламой!
